

- [Светлана Шенбрунн](#)

-

- [1](#)

- [2](#)

- [3](#)

- [4](#)

- [5](#)

- [6](#)

- [7](#)

- [8](#)

- [9](#)

- [10](#)

- [11](#)

- [12](#)

- [13](#)

- [14](#)

- [15](#)

- [16](#)

- [17](#)

- [18](#)

- [19](#)

- [20](#)

- [21](#)

- [22](#)

- [23](#)

- [24](#)

- [25](#)

- [26](#)

- [27](#)

- [28](#)

- [29](#)

- [30](#)

- [31](#)

- [32](#)



Светлана Шенбрунн

Пилюли счастья

роман

Да: проснулась – очнулась после долгого сна, зевнула, потянулась под одеялом и открыла наконец совершенно глаза свои... Вот именно: ты еще и глаз не продрал, а уже все описано. Не успел родиться, а уже наперед все предсказано и рассказано. Полагаешь наивно, что живешь по воле своей, а на самом деле катишься по выбитой колее издавна составленного текста. Воспроизводишь своим присутствием текущую строку. И оглядела, разумеется – оглядела. С нежностью. Нет, теперь надо говорить: не без нежности. Домик крошечка, он на всех глядит в три окошечка... Глядит, лапушка... Подумать! – целых три окна в одной комнате. В нашу-то эпоху, когда редкой комнате выделяется более одного. И одно уже почитается за великое благо. Размер жилого помещения должен соответствовать размеру помещенного в него тела.

Всунулся на койку, как карандаш в пенал, и дрыхни. Благодарю судьбу, что отвела тебе пусть невеликое, но защищенное от житейских бурь пространство. Собственную твою экологическую нишу. Еще и с телевизором в ногах! Мечтай. Грезь об очередном отпуске.

И самое удивительное, самое восхитительное, самое непостижимое, что в этой роскошной комнате, в этой мягкой постели, благожелательно объемлющей расслабленные члены, просыпается не какой-нибудь два миллиарда пять тысяч седьмой член мирового сообщества – а именно я.

Не знаю, чем это объяснить. Поэтому и не просыпаюсь еще... Минуты с две, впрочем, лежал он неподвижно на своей постели. Минуты с две полежим неподвижно... Ну, не так уж совсем неподвижно: слегка разминаемся, подготавливаемся к дневной жизнедеятельности. Новый день... Рассвет. Слабенький пока, едва уловимый. Не потому, что рано, а потому, что северно. Что делать – за белые ночи приходится расплачиваться тусклыми днями.

Зато одеяло – что за прелесть у меня одеяло – облачко невесомое!

Букет ландышей и незабудок. Майский сад!.. Вади Кельт в пору весеннего расцвета. Подумать только – середина февраля, и уже жара.

Солнечная сказка... Город Авдат. В Израиле Негев – пустыня. В России в лучшем случае потянул бы на засушливую степь. Страсть к преувеличениям. На древнем пряничном пути из Междуречья в Египет склонны к излишней драматизации. Пряничном... Не от слова “пряник” – от слова “пряность”. Впрочем, “пряник”, наверно, и происходит от

“пряность”. Или наоборот. Сто первое ранчо. Не сто первый километр, а Сто первое ранчо! Не потому, что ему предшествуют сто других – первое и последнее, единственное на весь пряничный путь, но так интереснее. Символичнее. Сто первое – номер воинского подразделения, в котором несчастный парень, открывший с горя ранчо в пустыне, служил под началом Арика Шарона. “И пряников сладких...” Великий стратег Ариэль Шарон. Говорят, его бои изучают в военных академиях всего мира. Толстый человек с тоненьким голосом, сорванным на полях сражений. И смешным кроличьим носом. Аллергия, наверно. А поди ж ты!

Царь-царевич, король-королевич, сапожник, портной...

Весенняя пустыня. Очей очарованье... Невесомые, блаженные дни.

Дениска был совсем маленький – как теперь Хед. И мы с ним кормили львиц бифштексами на Сто первом ранчо. Кормите львиц бифштексами!..

Опускаешь свеженький бифштекс (сырой!) в скользкий желобок, и львица слизывает его горячим языком на той стороне клетки.

Неизвестный художник по тканям, как это ты умудрился, вовсе не ведая о моем существовании, соорудить для меня столь прекрасное одеяло? И почему бы не напечатать где-нибудь в уголке твое имя? Я бы невзначай запомнила. Могли бы заодно повесить показатели сбыта – авторский экземпляр. Алые капли трепещущих маков...

Пора, однако ж, выпрастываться из солнечной вечности... Серенькие будни. Нет, почему же будни? Праздничный день. Может, не выглядит особо торжественным, но все-таки не мутный и не грязный. Ни в коем случае. Обыкновенненький протестантский денек. Ненавязчиво готовящий собственное рождение. Осознающий свои права. А также обязанности...

Все – сосредоточиться и одним скачком выпрыгнуть из постели! Не скачком, положим, – подумаешь, какие скорые скакуны! Попрыгунчики, умеющие единым духом перемахнуть из ночи в день и попасть в нужную идею. Нет, Яков Петрович, нет!.. Никаких наскоков, никаких штурмов, никакой прыти. Приподымаемся потихонечку, более всего стараясь не потревожить сотканых смутным сонным сознанием трепетных паутинок – более всего! Не оттого ли, Яков Петрович, и приключилась с вами беда, что вскочили вы, как встрепанный, не прислушавшись к тихому наставлению ночи? Ах, Яков Петрович!..

Из сна следует высвободиться осторожно. Как крабик выползает из чужой раковины, как водолаз подымается с большой глубины. Особенно тот, который уже отведал однажды кессонной болезни. Не спеши, радость моя, выпрастывайся потихонечку. Из влекущих грез, из густых липучих водорослей, льнущих к вялому телу... Не догадывался Яков

Петрович, простак, что бойкие двойники просовывают свои мерзкие юркие рожи именно в этот час – на стыке сна и бодрствования, когда воля расслаблена и сознание располовинено. Но мы-то теперь все знаем. “Кто любили тебя до меня, к кому впервые?” Почему – любили?

Одного любящего нашей барышне не хватило?

Подумать только – мы с Федором Михайловичем жили в одном и том же городе. Более того, если не ошибаюсь, в одном и том же Дзержинском районе. Хотя при Федоре Михайловиче он, надо полагать, звался иначе.

Все равно странно...

А небольшое кругленькое зеркальце на комодке имеется, это верно подмечено. Кругленькие зеркальца продолжают свое скромное существование, пренебрегши социальным прогрессом и открытием полупроводников. Но мы не станем в них заглядываться. Яков Петрович оказался не по летам доверчив. И, главное, что такого замечательного он там увидел? Заспанную, подслеповатую и довольно оплешивевшую фигуру. Почему не физиономию? В маленькое кругленькое зеркальце – и всю фигуру? Ладно, что уж теперь придирааться, автору в его обстоятельствах было не до таких пустяков – к карточному вертепу спешили, Федор Михайлович, а потому писали впопыхах. Издатель, кровопийца, наседавал, произведений требовал – за свои авансы... Яков

Петрович, не за письменным столом ты был рожден, а за игорным!

Впрочем, все predetermined, но выбор предоставлен. Немец-доктор, конечно, был predetermined, но Яков Петрович, пораскинь он слегка мозгами, мог поостеречься. Оставалась еще возможность поостеречься.

Иначе мог распорядиться своим утром. Сереньким петербургским утром.

Ну и что, что северно? Зато леса, зато парк под окнами – какой парк!

– прозрачный, углубленный. Сквозь ретушь веток – муниципальный каток. Совершенно пустой в этот час. Ничего и никого, кроме обнаженных деревьев. Снежинки залетают в окно, тычутся в грудь и теплый со сна живот. Хорошо – стоять вот так у распахнутого окна против голых деревьев. Тягучий и плотный, налитый сыростью воздух объемлет млеющее тело. Задумчивая влажность, разлитая во всей фигуре ее...

Твоего автора, Яков Петрович, следовало бы предварять надписью – как пузырек с летучей кислотой: “Осторожно, к глазам не подносить!”

Опасный тип. Противоипритная мазь номер пять. Поднесешь – по наивности, по младенческому неведению – к глазам своим, и все: приклеится всякая дрянь к внутренней полости слабого, неподготовленного сознания. Не в тихом почтенном размышлении складывалась твоя судьба –

в промежутках между нелепыми ставками, между сводящими с ума проигрышами. Вселенское сострадание! Как бы не так... Безумный порыв, темная страсть и неизбежно вытекающее из них отчаяние. Во всем дойти до последнего гульдена... Ветошка ты, Яков

Петрович, смешное недоразумение, мерзко тебе, муторно, и слезы твои грязны и мутны, но любо тебе зачем-то мерзнуть и трепетать, вымалывать внимания тех, кто заведомо подлее и гаже тебя. Рвешься ты предстать перед пустячной Кларой Олсуфьевной и злыми ее гостями, сам призываешь спустить тебя с лестницы. И только ли Федор Михайлович загнал тебя в эту яму, в парадную залу? Не сам ли ты приказал

Петрушке нанять карету? Где границы собственной воли и власти неумолимого творца?

Интересно – а что, собственно, означает сия фамилия: До-сто-евский?

Ел до ста? Досыта, что ли?

Между прочим, сегодня праздник, каникулы, дети не должны идти в школу, так что имеем полное право уделить четверть часа полезной для здоровья утренней зарядке. Наклон вперед, откид назад, сгибание вбок, руки на уровне плеч... Комплекс ГТО. Вдох – выдох – вдох!..

Половицы поскрипывают под ковром. Может ли получиться полноценная гимнастика, когда под ногами у вас персидский ковер? Мартин уверяет, что настоящий персидский. Во всяком случае, удивительно пушистый и пружинистый. Щекочет босые ступни. Особенно ямочку в подъеме.

Пора, однако, прикрыть окно. Мартин не одобряет, когда я перенапрягаю отопительную систему (камин электрический, но совсем-совсем как настоящий). А что за рамы у нас, что за стекла!

Как в лучших домах стольного града Петербурга. И запах хвои в придачу. Мартин с мальчиками вчера вечером поставили в гостиной елку.

Теперь – освежающий и бодрящий душ. Широкий выбор шампуней, кремов и полоскательных микстур. Убрать постель и включить пылесос. Квартира оборудована центральным пылесосом, – десять минут легкого жужжания, и наша окружающая среда чиста и свежа, как дыхание младенца!.. Это верно, это я точно знаю, поскольку сама занимаюсь переводами инструкций к пользованию удивительными техническими новинками, выпускаемыми нашей передовой в области мировых стандартов промышленностью.

Высокая технология! Говорят, голубой компьютер уже обыграл чемпиона мира по шахматам. А может, не обыграл еще, но вот-вот обыграет. За полную достоверность не ручаюсь – черпаю эти сведения из

телерепортажей, которые Мартин аккуратно прослушивает в вечерние часы, но поскольку местный язык все еще сложен для моего восприятия, могу кое в чем и ошибиться.

Половицы поскрипывают под персидским ковром – ностальгируют о прошлых веках. Если бы планировщики удосужились поинтересоваться моим мнением, я предпочла бы обойтись без этих излишеств, но нельзя: скрип – одно из тончайших доказательств натуральности нашего жилища.

(Жутко, жутко дорогая квартира, поскрипывание, разумеется, тоже включено в стоимость.)

С улицы наш дом представляет собой обыкновенное восьмиэтажное здание, но изнутри персонально для нас создана полная иллюзия солидных барских апартаментов. Бельэтаж старинного особняка.

Выглядывая, например, из окон – закрутив немного тело штопором и задрав голову вверх, – удостоверяемся в наличии ласточкиных гнезд под застрехой. Не важно, что это не крыша, а лишь карниз на уровне третьего этажа, – все равно отличная выдумка. Приятная для наших чувств мистификация. Благодаря карнизу верхние этажи вместе с их жильцами для нас как бы не существуют. Да и вход туда с противоположной стороны, так что мы их не видим, не слышим и не замечаем. Их квартиры значительно дешевле нашей. Полы там обыкновенные деревянные, а не пластиковые, как у нас (наши, заметьте, абсолютно неотличимы от настоящих паркетных), и ковры у них не персидские, и нет у них широкой просторной лестницы, ведущей из холла первого этажа во второй, нет покойных ступеней, застеленных дородной дорожкой, не говоря уж о темных лакированных перилах с изящной бороздкой по сторонам. Мы, заходя в квартиру, открываем резную, как бы дубовую дверь, а они – обыкновенную стальную, обтянутую для самого поверхностного приличия невесть каким скаем.

Что ж, и в этой зажиточной стране, и в этом обществе всеобщего благосостояния имеются отдельные не вполне богатые люди. Но и перед ними открыты все возможности, и они преодолевают свою судьбу.

Отправляются в праздник на острова. Повосхищаться кусточком, аллеей и гротом. Благо островов тут рассыпано невероятно щедро. Как картофеля из дырявого мешка. Эндрю, сын Мартина от первого брака, в прошлом году переселился в собственный дом на том берегу залива. Не самый современный дом, не по последнему слову моды и техники, но очень, очень солидный и добротный. В зимнее время залив покрыт льдом. Можно пройти на ту сторону пешком. Но кто же сегодня ходит пешком? Да и зачем идти туда? Вряд ли эти престижные дома удобнее нашей квартиры,

не могут они быть удобнее, куда ж еще удобнее? А ведь удобство-то – главное. Все продумано и предусмотрено. От простенькой полосатенькой дорожки, устилающей пол в коридоре, до миленьких разноцветных – желтеньких, розовеньких и фиолетовых – лампочек по стене.

Более всего продуманы мы сами. Чудесная семья. Прекрасные родители и три очаровательных мальчика. Глянцевая обложка женского журнала.

Дверь в детскую приоткрыта, и оттуда несутся звонкие голоса моих сыновей, залиvistое тьяканье Лапы и глухие увесистые удары. Все четверо скачут по тахте, мальчишки сражаются подушками, Лапа на лету пытается ухватить – хоть подушку, хоть чью-нибудь розовую пятку.

Удивительно послушные мальчишки: как только я напоминаю, что пора умываться и завтракать, старший, Эрик, без возражений отшвыривает оружие боя и на одной ноге скачет в ванную. Маленький, Фредерик

(дома Фред), не дожидаясь указаний с моей стороны, лезет застилать постель. Средний, Хедвиг (Хед), стоит минутку в раздумье: ванна занята старшим братом, младший препятствует в данный момент уборке постели, что ему остается? Сверкнул глазенками и ринулся мне под мышку, обхватил разгоряченными от сна и сражения ручонками. Светлая головка подсунулась под рукав халата. Хедушка!.. Кареглазка...

Карие глаза в здешних краях все еще редкость. Хотя теперь и в северных странах имеются негритянские кварталы, и белобрысые скандинавки рожают порой смуглых мулатиков, но это происходит не на нашей улице. Карие глаза и светлые волосы – неожиданное и приятное сочетание. У моей мамы были карие глаза. Но волосы не такие светлые

– волосы у нее были вьющиеся, с рыжинкой. Под конец от всей ее красоты только и осталось что эти бронзовые всклокоченные кудри. Целебный напиток из еловых и пихтовых ветвей не помог. Не спас... Позднее утверждали, что он разрушительно действовал и на почки, и на печень.

Но тогда он считался панацеей от авитаминоза. Вселял надежду.

Надежды маленький оркестрик... Последняя соломинка, через которую тянут отвратительный смертоносный напиток...

Трехэтажная кровать, по моему скромному мнению, не самое замечательное изобретение века. Конечно, благодаря ей в детской остается много свободного места, но и неудобств предостаточно: попробуйте, например, поменять простыни, особенно на среднем уровне

– не знаю, может, это я такая исключительно неуклюжая, но всякий раз мой лоб и затылок успевают треснуть об раму верхнего уровня. О том,

чтобы присесть возле своего теплого, сладкого, сонного малыша, не может быть и речи. А самое сложное – когда ребенок болен. И ведь случается, что одновременно болеют двое. А то и все трое. Санитарный вагон... Впрочем, у мальчишек свои взгляды на жизнь, им даже нравится карабкаться вверх-вниз по лесенке. Похоже, что раскладывание по спальным полочкам не травмирует их души.

Что-то замечательно вкусненькое благоухает на столе. Мартин всегда поднимается раньше меня и создает свои кулинарные изыски. Не забыв объявить, разумеется, что мы лентяи и лежебоки. Мы обожаем его хрустящие гренки с сыром и с медом, пышные вафли и все прочее.

Сегодня я должна быть особенно внимательна к нему – с вечера он, бедняга, был совершенно убит подлым, бесчестным поступком Ганса

Стольсиуса. Не знаю, что там у них приключилось, но горечь и обида столь явственно читались на лице моего прямодушного Мартина, что не заметить их было бы неприлично. Поначалу в ответ на мои расспросы он только отнекивался: “Нет, дорогая, все в порядке, ничего не случилось”, но потом не выдержал: самое отвратительное заключено не в потере денег – да, вся эта история обернется порядочным убытком (к убыткам он успел притерпеться!), самое отвратительное – это осознать вдруг, после стольких лет знакомства и делового сотрудничества, что человек способен так вот бесстыже, бессовестно, преднамеренно тебя подвести, нет, не подвести, а обвести вокруг пальца!

Возможно, я не стала бы с таким упорством добиваться причины его дурного настроения, если б знала, что во всем виноват господин

Стольсиус. Но я почему-то вообразила – и втайне уже успела слегка тому порадоваться, – что тут с какого-то боку замешана моя драгоценная невестушка, жена Эндрю. Как говорится, пустячок, но приятно, если б между ними пробежала черная кошка. Однако надежда на семейную распрю не оправдалась, а услышать, что непорядочной свиньей оказался Ганс Стольсиус, не такая уж великая находка.

Я целую Мартина в щеку. Минуточку, дорогая, – он еще не закончил хлопотать у плиты, еще надо включить однажды уже вскипевший чайник и вытащить из буфета и водрузить на стол прозрачные кубышки с вареньем и шоколадной пастой. Посреди синей клетчатой скатерти вздымается зеленовато-розовое блюдо с горкой домашних печений. Мы усаживаемся за стол. Этот славный викинг – мой муж. Похоже, что вчерашняя досада за ночь каким-то образом рассеялась. Огромная кружка черного кофе в правой руке – до чего же у него изящные, будто высеченные из мрамора руки! И откуда эта роскошь у крестьянского парня? Слева от тарелки дожидается

газета. Сегодня кроме газеты имеется и открытка от дочери, проживающей в Америке – в одном из северных штатов. Дочка регулярно поздравляет отца с праздниками и желает всех благ ему, а заодно и нам. Мы с ней никогда не виделись, я знаю лишь, что ее зовут Мина, что у нее двое детей и с мужем она рассталась, когда младшей девочке не исполнилось еще и года. По образованию она историк, но в настоящее время заведует домом престарелых. Очевидно, заведовать домом престарелых в Америке доходнее, нежели на родине отряхать от хартий пыль веков. А может, была какая-то иная причина для отъезда. Я, разумеется, не намерена хлопотать о Миминой репатриации.

Мартин долго вертит в руках, читает и перечитывает открытку, потом передает ее детям, чтобы они тоже порадовались привету от старшей сестры и американских племянников, и распахивает наконец газету. За завтраком он, как правило, ничего не ест, разве что похрустит задумчиво каким-нибудь крекером или отщипнет ломтик сыра.

Моя мама почему-то уверяла, что самое главное для человека – поесть утром. На завтрак у нас всегда была каша. Я обожала пшеничную кашу.

Особенно чуть-чуть подгоревшую. Подумать только, с тех пор, как я покинула пределы России, мне ни разу не довелось отведать пшеничной каши! Мои мальчики даже вкуса ее не знают. Здесь в принципе не водится такого блюда. И желудевый кофе тоже неизвестен. Вкусный и питательный желудевый кофе, выпьешь утром стакан – и весь день сыт!

Мартин говорит, что во время войны у них тоже невозможно было достать натуральный кофе, приходилось обходиться эрзацами. “Нет, когда началась война, стало уже легче, – честно уточняет он. – Хуже всего было во время кризиса”.

Из-под газеты выскальзывает письмо.

– О, дорогая, извини, чуть не забыл! – восклицает он с искренним раскаянием. – Это для тебя.

Не от Дениса. От Любы.

“Ниночек, родненький, здравствуй!” Вот уже пятнадцать лет всякое свое послание ко мне она начинает этим: “Ниночек, родненький”. Так ей, наверно, кажется правильным. “Ты уж меня извини, что не сразу ответила”. Нечего извиняться, я никогда не отвечаю сразу. “Болела, да и сейчас еле ползаю – ноги совсем ослабли. Правая пухнет, левая ломит – такая вот, поверишь ли, тоска зеленая. За два месяца только и высунулась из дому что в поликлинику да разочек к нашим на кладбище съездила. Спасибо, хоть Амира Георгиевна как идет в магазин, так и мне, что надо, берет, а то бы иной день и вовсе без хлеба сидела. Такая вот я стала...”

Комната Амиры Георгиевны – справа за кухней. Высокая кровать, геометрически выверенная пирамида белейших подушек и сама она – высокая, сухая, чернобровая. Не особенная любительница коммунального общения, но нам, детям, позволяла иногда постоять у себя на пороге.

Подумать только – Люба лет на десять, если не двенадцать, ее младше, а вот поди ж ты, как судьба распорядилась – кто кому ходит в магазин... Нет, сейчас не могу читать – мои на редкость разумные и сознательные дети ерзают, нервничают, мечтают бежать на каток. Потом дочитаю, когда вернемся.

– Все в порядке? – интересуется Мартин.

– Наверно, – говорю я.

Конечно, в порядке – в порядке вещей. Что делать? Годы идут, люди не молодеют. Отчего это к Любе вяжутся всякие хворобы? Витаминов, что ли, не хватает? Надо написать, чтобы принимала поливитамины. И овощей чтобы побольше ела. Фруктов тоже. “Голубчик мой, Любовь

Алексеевна, ты смотри мне там не разваливайся, – сочиняю я между делом будущее письмо. – Принимай давай поливитамины и держи хвост пистолетом...” Такой у нас с ней стиль общения. В трогательном ключе. “Маточка Любовь Алексеевна! Что это вы, маточка...”

Маточка-паточка... Гаденькое, в сущности, словечко. Сам небось выдумал. Чтобы подчеркнуть нашу униженность и оскорбленность. Мышка вы, маточка, да и вы мышка, любезный Макар Алексеевич, серые мышки-норушки, угодившие в помойное ведро, и начхать бы на вас со всеми вашими нежностями и взаимными утешениями, однако ж влечет заглянуть иной раз в вашу пакостную трущобу, в протухшую кухню, где сидите вы там в уголке за занавесочкой с милостивым государем

Девушкиным и не смеете высунуть насморочного носа. Что ж, при всеобщем насморке и конъюнктивите и собственное счастье отчетливей, и нечаянный проигрыш не столь убийственен. “Дорогая, поверь, расчет мой был абсолютно верен, если бы только не делать мне третьей ставки. Только в этом и заключается вся досадная ошибка. Но я совершенно на тебя не сержусь и полностью прощаю. Только, ради всего святого, не забудь: сегодня же немедленно сходи и попроси в банке авансу две тысячи. И перешли мне срочно, без отлагательства”.

Щепетильный человек. Не просит лишнего. От двух-то тысяч мог бы и Макару Алексеевичу уделить толику – рублика три или четыре до ближайшего жалованья. До полочки. Уделил ведь однажды бедной английской девочке полшиллинга.

Мальчишки с Лапой бегут впереди, мы с Мартином вышагиваем

следом.

Небо сделалось совершенно суконно-потолочным. Кто это, интересно, выдумал суконные потолки? Зато земля вокруг бела. Снежинки загустели, палисадники – как подушки в комнате у Амиры Георгиевны. Я беру Мартина под руку и прижимаюсь виском к его плечу – тому самому, через которое перекинута длинная беговая коньки. Красавец.

Супермен. Пусть не самой первой молодости, но сложен отлично. И куртка, и пестренькая задорная шапочка. Мы отличная пара. Отличная пара направляется на каток со своими очаровательными сыновьями.

Коньки сверкают, несмотря на то что ни единый луч солнца не в силах пробиться сквозь плотные низкие тучи.

Следы детей тянутся тремя черными пересекающимися цепочками. Хед атакует Эрика снежками, но тот делает вид, что ничего не замечает: маленький, но уже викинг – даже головы не повернет, величественно вышагивает дальше. Фред тоже пытается слепить снежок, однако снег рассыпается в неумелых рукавичках. Это не мешает ему чувствовать себя безмерно удачливым и счастливым: он вертится и скачет, почти как Лапа, визжит, машет ручонками. Хед тем временем успевает обстрелять его градом снежков.

Краснобокая, как снегирь, снегоуборочная машина педантично расчищает каток. Средняя часть уже блестит гладкой голубизной, железные щупальца описывают аккуратные круги, оттесняя валик снега к бортам.

Эрик надевает коньки и первым выплывает на нетронутый лед. На коньках он, разумеется, выглядит выше, чем на самом деле, но все равно – большой, совсем большой мальчик. Девять лет... Неужели мы с

Мartiном уже десять лет как женаты? Надо написать Любе, чтобы прислала свою фотографию. Я ей все время шлю наши карточки, пусть хоть раз пришлет свою. Жалуеться, что растолстела... Что ж, неудивительно – если человек не двигается, даже из дому не выходит...

Хеду с Фредом никак не удастся справиться с переодеванием, зато они без передыху обмениваются взволнованными замечаниями относительно остроты коньков, качества льда и ожидаемого прибытия одноклассников.

Мы с Мартином присаживаемся на скамейку и молча любимся стылым парком. Эрик скользит по льду, не глядя в нашу сторону. Хед наконец влез в коньки и, смешно задирая ноги, пытается преодолеть снежный вал (совсем не такой уж непреодолимо высокий). Фред, кругленький в своей нарядной курточке, ждет, пока машина закончит расчистку и уступит ему дорогу. До чего же славные дети...

Мартин кряжисто подымается, постукивает коньками по краю

бетонной плиты, помогает Фреду выбраться на лед и сам присоединяется к сыновьям. Я по привычке пересчитываю немногих конькобежцев. Это, верно, мамины математические гены бродят во мне, не востребованные.

Вечно мне требуется что-нибудь или кого-нибудь учесть, а затем прикинуть, какие убытки, допустим, терпит транспортный кооператив, если большую часть суток городские автобусы движутся полупустые?

Мартин возвращается, весело отдуваясь, плюхается на скамейку и принимается объяснять, какой это восхитительный моцион: прокатиться вот так по утреннему свежему льду, размять застывшие члены, подышать вволю чистым морозным воздухом!

– Напрасно, дорогая, напрасно ты лишаешь себя такого удовольствия!..

– выдыхает он, натужно откашливаясь от избытка полезнейшего воздуха.

Мы оба понимаем, что его увещевания – не более чем дань традиции, у меня и коньков-то нет. Однако разговор полезен уже тем, что избавляет от необходимости снова ринуться на лед. Можно отдышаться и собраться с силами. По опыту я знаю, что следующие полтора часа мы так и проведем – как два голубка, рядом на лавке, обмениваясь необременительными и полезными замечаниями.

Прибывающие знакомые вносят свою лепту в беседу и понуждают и далее откладывать выход на лед. Каждый непременно сворачивает в нашу сторону – поприветствовать и перекинуться несколькими вечно свежими и актуальными фразами. Половина нашего города состоит с моим мужем в каком-то особом взаимоотношении. Со мной у них, разумеется, не может быть столь радостного контакта. Я тут человек чужой, языком владею худо, и хотя мне из приличия задаются кой-какие вопросы – о детях, о самочувствии, ответы выслушиваются рассеянно.

Бравый вид Мартина непреложно свидетельствует о том, что в каждое отдельно взятое мгновение он готов вскочить и птицей понестись по кругу. Давно бы уже вскочил и понесся, если бы не дань общению...

Да, кстати: нам предстоит еще обсудить, чего недостает к завтрашнему семейному обеду, и зайти на обратном пути в магазин. Если же в приветствиях и разговорах вдруг возникает пауза – если она непредвиденно затягивается, – можно снова ласково попенять:

– Очень жаль, дорогая, очень жаль, что ты не хочешь к нам присоединиться...

Он знает, что я не великий мастер конькобежного спорта. Хотя, как ни странно, свои юные лета – юные свои зимы – провела именно на катке.

Все девочки после школы отправлялись на каток. А куда еще нам было

отправляться? Подозреваю, что мои подружки и вправду обожали коньками звучно резать лед, хотя наши вылазки не стоило путать с веселыми катаниями начала века, столь сочно и красочно описанными в русской литературе. Я всегда двигалась последней – дрожа от холода и страшась неизбежной встречи с районными хулиганами, не забывавшими подставить девочкам вообще, а мне в особенности коварную подножку.

Каток у нас, надо признать, был первоклассный, нисколько не хуже здешнего – правда, появляться на нем таким, как мы, запрещалось, он предназначался исключительно для соревнований и тренировок настоящих разрядников, но мы проникали: ныряли в дырку в заборе или проскальзывали под носом у ленивого сторожа – портить зеркально-гладкий чемпионский лед.

Коньки всегда были тупые, поскольку приходилось шагать в них (шкандыбать, по выражению мамы) по посыпанным солью и песком тротуарам. Ни о каких переодеваниях не могло быть и речи – попробуй-ка оставь на снегу пальто или ботинки, не успеешь оглянуться, как им “приделают ножки”! Обратная дорога была не столь уж дальней – перелезть через забор, пересечь трамвайную линию, миновать школу и два жилых дома, – но как же я успевала задрогнуть и промерзнуть в своей фуфайке! Собственно, это была не фуфайка, а серенький немецкий свитерок (“трофейный”, как тогда говорили, – отец привез его “с фронта”, то есть из поверженной Германии).

На катке не бывает холодно, но уже через минуту по выходе тело обращается в бесчувственную ледышку. Тот, кто не оттаивал в тепле с мороза, не знает, что такое боль. Я подставляла руки под струю холодной воды, казавшейся кипятком, терла ноги, тряслась и скулила, но назавтра снова, как обреченная – как приговоренная к этой муке, – проделывала тот же путь. Впрочем, не один только страх быть покинутой и отверженной гнал меня, была еще одна причина, чрезвычайно важная: коньки. Сколько я о них мечтала! Сколько ночей они мне снились – сверкающие стальные ножи, на которых можно птицей летать по льду!..

У всех девочек во дворе и в школе были коньки, только у меня их почему-то не было. И вот, когда я уже смирилась, уверилась, что мне не суждено их иметь, отец вдруг принес “хоккеи” (существовали еще фигурные и “норвеги”, но не для таких неуклюжих девочек, как я). Всю ночь я не спала и все утро потом разглядывала свою ногу в новеньком крепком ботинке! Мне представлялось, что теперь я стану такой же сильной, высокой и ловкой, как самые выдающиеся мои одноклассницы, как Ира Каверина и Таня Громова. Как же после этого не ходить на каток?

Да хоть бы пришлось замерзнуть там насмерть!..

– О, вы уже тут! – восклицает фру Брандберг. – Ах, вы всегда приходите первыми! – Ее радует, что мы уже тут и что мы всегда приходим первыми.

Не исключено, что она добрая женщина. Осведомившись о моем здоровье, она вгрызается в Мартина. Неисчислимо число тем – наши дети, внуки

Мартина, ее внуки, дети и внуки вообще, погода, а теперь и наступившие каникулы, обязывающие к каким-то особым волнениям, покупкам и поездкам.

Я не сильна в местном языке, но так как одни и те же фразы повторяются от знакомого к знакомому – пока один съезжает на лед, как возле нашей стоянки тут же возникает следующий, – то в конце концов и я успеваю составить достаточно верное представление о злобе дня. Здесь все одинаково друг с другом любезны, но нетрудно заметить, что ни к кому люди не обращаются столь охотно и не устремляются с такими лучезарными лицами, как к моему мужу. У него на редкость общительный, открытый характер.

– Вы будете сегодня у Сивертцев? – интересуется фру Брандберг, особа сухопарая, подтянутая, спортивная, но явно перешагнувшая роковой для женщины сорокадевятiletний возраст. Даже пышная прическа не в силах замаскировать этого факта. Прическа, особенная, единственная в своем роде, совершенно в этой стране не принятая и немислимая, подобающая разве что королеве, – некий горделивый вызов и пуританскому обществу, и собственному возрасту. Честно говоря, я подозреваю, что фру Брандберг будет постарше моего Мартина.

Досужие языки успели довести до моего сведения – не прямо, но путем прозрачайших намеков, – что между ними некогда велось нечто большее, чем простые беседы. Я не пыталась уточнить, когда именно имела место эта связь – то ли в ранней юности Мартина, еще до женитьбы на Юханне, то ли уже в период вдовства. Как бы там ни было, сегодня фру Брандберг годится в соперницы разве что безносой с косой.

Некоторое время Мартин на паях с супругами Брандберг владел небольшим книжным магазином, но потом уступил им свою долю. Магазин существует и поныне, и фру Брандберг иногда можно увидеть за прилавком – она в меру своих сил помогает сыну. Другой ее сын проживает в Амстердаме и является (эти сведения у меня, разумеется, также не из первых уст, но от всеведущих общих знакомых) – является владельцем, представьте, некоего крупного увеселительного заведения, включающего в

себя ночной клуб, игорный дом и все прочее, необходимое для полноценного отдыха матросов-филиппинцев. Почему именно филиппинцев? У каждого своя жизненная стезя и экологическая ниша. Как выяснилось, филиппинцы любят проводить свой матросский досуг в кругу близких им по крови и культуре, а также приемам борьбы. Так им уютнее. Этот второй сын, с одной стороны, как бы большая печаль фру Брандберг, несмываемое пятно на ее безупречной репутации, хотя, с другой стороны, в его занятиях нет ничего противозаконного. Теперь такие вещи официально дозволены и приносят солидные доходы; подобные и не снились высококонраственным владельцам книжных магазинов.

А началось все с того, что мальчик плохо учился, хотя был шустр и сообразителен. Его старший брат учился прекрасно. Никто не мог взять в толк, почему один брат учится так хорошо, а другой так плохо, поскольку в те годы еще не слыхивали о существовании дислексии.

Какая малость решает судьбу человека! Теперь-то педагоги отнеслись бы к обиженному судьбой ребенку с осторожностью и сочувствием, предложили бы для него какую-нибудь особую программу, учитывающую дефект развития, но тогда его объявили злостным лентяем, упрямым и тупицей и с позором изгнали из школы. Родители, как видно, тоже не выказали должного понимания, так что шестнадцатилетний Ларс

Брандберг, скверный мальчишка, бежал из дому и нанялся вышибалой в подпольный публичный дом. В те годы закон не поощрял подобных занятий. Господин Брандберг-отец, как утверждает молва, вскоре скончался, не вынеся позора. Зато теперь, как утверждает та же молва, младший брат, не получивший даже среднего образования, материально поддерживает старшего, добившегося с годами степени доктора каких-то наук.

Фру Брандберг, разумеется, принята в обществе – она-то в чем виновата? Но приличная публика все же соблюдает некоторую дистанцию

– допустим, приспичило вам купить книжку, так ведь не сошелся же свет клином на магазине Брандбергов! В городе есть и другие. Но Ларс

Брандберг, судя по всему, долго еще не позволит брату обанкротиться.

Если уж судьба сыграла с ним такую подлую шутку и не допустила стать никчемнейшим доктором уважаемых наук, так пусть не пострадавший от дислексии брат помучается хотя бы с этим дурацким магазином. Люди полагают, что магазин нужен, чтобы материально обеспечивать научные изыскания доктора наук. На самом же деле магазин поддерживают, чтобы

Ларс Брандберг лучше чувствовал себя в Амстердаме.

Будем ли мы сегодня у Сивертцев? Мартин собирается ответить, но, глянув на каток, начинает покатываться со смеху: Лапа скачет между

Фредом и Хедом, пытается не отстать от них обоим сразу, каждую секунду меняет направление, преуморительно скользит, путается у всех под ногами, рискуя попасть под чей-нибудь резвый конек. Вот она перекувыркивается в воздухе, проезжает метра три на брюхе и, кое-как затормозив, обнаруживает, что безнадежно упустила дорогих хозяев.

Мартин хохочет, указывая на славную сценку. Фру Брандберг согласна: эта собачонка – премилое и презабавное существо.

Действительно, трудно представить себе более ласковое и компанейское создание, да еще с такими чудесными развесистыми рыжими ушами.

Однако на льду появляется кое-кто еще, способный не менее Лапы привлечь внимание публики: это наша соседка, двенадцатилетняя Линда

Юнсон. Линда с родителями, старшей сестренкой и младшим братиком проживают на четвертом этаже нашего дома, прямо над нами. Только застреха с ласточками разделяет наши окна. Линда выезжает на середину катка и принимается неторопливо кружить, давая зрителям время заметить себя и подтянуться, а затем выполняет несколько простых, но изумительно грациозных упражнений.

В запасе у Линды имеются и настоящие сложные номера. Она гордость нашего катка и всего нашего района. Удивительно все-таки, как такая изящная фигурка может сочетаться со столь простеньким, бесцветным и костистым личиком, напрочь лишенным всякой девичьей миловидности.

Может, с годами это как-то исправится? Линда выполняет все более сложные фигуры и все более уверенно. Зрители с восторгом, хотя и не без зависти, наблюдают за ней.

Мартин неожиданно подымается и покидает нас с фру Брандберг, – правда, в последнюю секунду он спохватывается и успевает пробормотать: “Извини, дорогая”. Он движется в центр круга. Линда еще не видит дядю Мартина, головка ее запрокинута в небо, коньки завиваются серебряным серпантинном, коротенькое платьице переливается всеми цветами радуги. Мартин лихо подкатывает, ребячья стена невольно раздвигается, и он оказывается под самым носом у несколько озадаченной Линды.

В фигуристы он не годится, его наивные попытки соответствовать юной звезде напоминают Лапины выкрутасы. Я замечаю, как страдальчески хмурится Эрик – стыдится дурашливости пожилого отца. Но публика, состоящая из смешливых мальчишек и девчонок, благодарна

исполнителю.

В самом деле, для настоящего веселого праздника здесь не хватало именно румяного клоуна. Малыши с упоением хлопают в ладоши. Трудно себе представить, чтобы на нашем ленинградском катке кто-то вздумал хлопать в ладоши. Усталость, однако, заставляет Мартина покинуть арену. Даже издали заметно, как тяжело он дышит.

– Она чудесная! – сообщает Мартин, плюхаясь на лавку. – Ты заметила, дорогая? Она как пушинка! Мы еще увидим эту девочку на зимней олимпиаде! Я уверен, что она принесет нам медали.

“Кому это – нам?” – хочу я спросить, но удерживаюсь.

Фру Брандберг в третий раз повторяет свой вопрос: будем ли мы вечером у Сивертцев? Конечно, мы будем. Как мы можем не быть, если там будут все?

Мягкий снежок сыплет и сыплет с неба. Я с интересом наблюдаю за тем, как пухлые хлопья ложатся на бетонную плиту под ногами. Однако пора двигаться. То да сё, завтрашний семейный обед...

У выхода с катка, сразу же за железными поручнями, мы сталкиваемся с

Гансом Стольсиусом. Заметив Мартина – слишком поздно заметив, – поганец пугливо отшатывается, но тут же берет себя в руки и громко и вызывающе шмыгает носом. Невольно отводя при этом взгляд в сторону.

На лице у него написано намерение выстоять и пренебречь. Не допустить обсуждений. Но тут происходит нечто странное: Мартин приветливо окликает обидчика. Окликает того самого гадкого недобросовестного типа, с которым только вчера клялся навеки прервать всякие отношения. В приветствии не заметно ни малейшего подвоха – добрый знакомый и коллега привычно осведомляется о сегодняшнем самочувствии господина Стольсиуса.

Насколько я знаю Мартина, он не способен на подобный изыск – ласковыми словами завлечь врага в сети с целью его изничтожения. Я поражена поведением мужа не менее самого Стольсиуса: честный и прямодушный Мартин не может с такой легкостью простить многолетнему партнеру неблагоприятного поступка. Да еще так скоро... Мы оба, хотя и с разными чувствами, смотрим Мартину в лицо – я и господин

Стольсиус. Ничего, никаких признаков гнева или волнения – обычное слегка разругавшееся от мороза лицо. Неужели... он все позабыл?

Странно, чрезвычайно странно.

– Фред, Хед! – зову я, чтобы покончить с этой неловкостью. – Не отставайте, дети! Идите побыстрее.

В конце концов, мне-то что за разница?..

У Сивертцев собирается все книжно-издательское общество нашего города. Традиция – эдакий легкий рождественский бал не только для сотрудников, но и для коллег-издателей. Конкуренция конкуренцией, а взаимная любезность и определенная координация действий тоже вреда не нанесут. Надо полагать, именно правильно отлаженные связи позволяют Сивертцам быть в курсе всех сделок и планов конкурентов.

Правда, и те в свою очередь потихоньку вынюхивают конъюнктуру, ну так что ж? Совмещение приятного с взаимовыгодным.

Мартина со стариком Сивертцем связывают отношения столь давние и прочные, что их уже невозможно назвать иначе как дружбой. Кстати, они и родом из одних и тех же мест. Дружить на сегодняшний день им легко и просто, поскольку оба уже не вполне у дел: издательствами фактически управляют сыновья, отцы лишь почетно возглавляют фирму.

Мы, конечно, не смеем сравниваться с “Сивертц-эт-Сивертц” – наш оборот раз в десять меньше, однако Эндрю из шкуры вон лезет, чтобы сократить этот разрыв. И – надо отдать ему должное – не без успеха.

Если бы не его энергия и настойчивость, мы и сегодня довольствовались бы печатаньем приглашений на свадьбы и этикеток к пузырькам с березовым соком. Это Эндрю превратил весьма скромную типографию отца в настоящее солидное издательство. Разумеется, девяносто процентов наших изданий – отнюдь не классика мировой литературы: сборники кулинарных рецептов и инструкции по окрашиванию волос. Деньги, как известно, не пахнут, а уж аромат домашних печений и модной косметики никому не в тягость. Я очень надеюсь, что к тому моменту, когда Эрик окажется способен войти в дело, оно будет процветать.

Зал наполняется гостями, и – ба! знакомые все лица! И что особо примечательно, совершенно с годами не меняющиеся. Не стареющие.

Десять лет я участвую в этих встречах, и десять лет подряд, скользнув по мне праздным взглядом, господа издатели вдруг смутно припоминают, что где-то тут по соседству позванивает кандалами

“железный занавес”. Со светской небрежностью и светской же снисходительностью мне задают несколько вопросов: как это мне удалось оттуда вырваться? Неужели это возможно? Но у вас осталась там семья? И что, можно отправлять туда письма, посылки? Доходит корреспонденция?!

Неужели? Я скромно улыбаюсь и отвечаю, что выбраться мне было несложно, поскольку я не представляла ни малейшей ценности для советской власти. Не имела никакой, даже самой ничтожной секретности. Семьи и родственников по себе не оставила. А посылки отправлять можно, но получателю придется заплатить пошлину.

Не такую уж сокрушительную. И есть скидки для пенсионеров. Между нами, “занавес” не совсем непроницаем, кой-какая торговлишка ведется

(сдается мне, даже довольно бойкая) – Советский Союз заинтересован в освоении западных технологий. Не зря же, в конце концов, мне заказывают переводы технических инструкций.

Вопросы не меняются, ответы тоже. Впрочем, разъяснить все до конца про гибкую политику СССР я, как правило, не успеваю: разговор перекидывается на более приятные и занимательные предметы.

Пока Мартин кружит по залу, наслаждаясь взаимными приветствиями с беспрерывно прибывающими знакомыми, я обеспечиваю себя бокалом виноградного сока и усаживаюсь на крутоногий, обитый парчой диванчик. Рядом в креслах организовался женский кружок. Дамы предаются заслуженному отдыху от издательских и домашних дел и делятся соображениями по поводу все более дерзких и успешных пластических операций.

– О, объясните мне! – говорит одна голосом миленькой старшеклассницы. – Зачем же нам плохо выглядеть, если можно выглядеть хорошо? Правда? Кристи, я тебя обожаю! Пускай наши враги выглядят старухами, мы не должны выглядеть старухами!

– Ах, бросьте! – любезно восклицает другая. – Вы еще, слава богу, и без всяких операций хоть куда!

– Все равно, все равно, я вам скажу, – волнуется третья, – никакие кремы и никакие массажи по результату не сравнятся с удачной операцией!

Теперь вся надежда на хирургов. Ловкие хирурги обязаны скроить что-нибудь замечательное из их обвислых и дряблых физиономий. Кто знает, до чего еще докатится наука. Новое личико? Пожалуйста: поскромнее – двести тысяч, поинтереснее – двести пятьдесят.

Новенькое тельце? Четыреста тысяч! А если мадам желает отдельно – только грудь, например, или зад...

– Нина! Где ты? Нина! – призывает Мартин. – Дорогая, познакомься, пожалуйста, с господином Сандгремом.

Я уже три раза знакомилась с господином Сандгремом – в прошлые рождественские приемы, – издателем самых дешевых и потому, очевидно, самых популярных в стране комиксов и детективов. Ему же принадлежат

рекламный шлягер “А моя книга во мне за полчаса!”, одна из ведущих ежедневных газет и еще какой-то, кажется пятый, телевизионный канал.

А начинал господин Сандгрем почти так же, как Мартин, – со скучной типографии и дешевеньких брошюр. Эндрю частенько ставит его отцу в пример: вот, правильно оценил обстановку, увидел перспективу и преуспел. Череп у господина Сандгрема похож на верстовой столб, а лоб запросто может заменить противотанковый бруствер.

– О, Мартин, старый мошенник! – восклицает господин Сандгрем, привычно улыбаясь тонкими белесыми губами. – Так это твоя жена? Ты просто скотина, Мартин! Почему ты нигде ее не показываешь? – Он энергичнейшим образом потряхивает мои руки. – Знаешь, когда я вижу такую женщину, мне хочется написать какое-нибудь хорошее стихотворение!

Что ж, если у человека много денег, он может позволить себе некоторую развязность. Он хохочет, клоочет, он в восторге от себя, крохотные сиреневенькие глазки морщатся в глубине темных глазниц.

Я не обольщаюсь комплиментом. До следующего года господин Сандгрем успеет прочно меня позабыть, и нам обоим вновь представится приятная возможность познакомиться.

Пока мы беседуем, то есть мужчины разговаривают, а я лилейно улыбаюсь, появляются наконец Эндрю с Агнес.

– А, вы тут! – бросает Агнес небрежно. – Как дела? – Это говорится уже наполовину в сторону – ответы не требуются. – Как дети? Едете куда-нибудь на праздники? А что... – опять забыла, как зовут моего старшего сына. – Этот твой – как его... Дэни! Все еще болтается по свету? Что он там делает?

– Все здоровы, все замечательно, – рапортую я, не задавая встречных вопросов, и потихонечку отчаливаю к столу с закусками.

В зал въезжает Натан Эпштейн. Инвалидное кресло толкает не брат милосердия, а один из сотрудников. Эпштейн не издатель, он владелец крупнейшей не только в этом городе, но и во всей стране сети книжных магазинов. Ребенком он побывал в Освенциме, но ноги умудрился потерять позднее – не то в автомобильной, не то в авиакатастрофе.

Кажется, он единственный в этом изысканном обществе может позволить себе не тревожиться по поводу своей внешности, не принимать омолаживающих таблеток и не подкрашивать седеющих волос. С высоты инвалидного кресла и более чем солидного капитала можно поплевывать на суету сует.

Хотя нет, имеется еще Паулина. Паулина не придает значения

состоянию и внешнему виду своей брэнной плоти по религиозным соображениям.

Паулина ревностная христианка и не менее ревностная опекунша советских диссидентов: она гораздо более меня находится в курсе всех российских дел, нарушений прав человека, арестов, посадок, голодовок, демонстраций и петиций. Один из аспектов ее многогранной и неусыпной деятельности – издание запрещенной литературы и ее доставка в Россию. Каждый раз, когда я вижу Паулину, меня начинает мучить совесть за собственную индифферентность, инертность, незаинтересованность в судьбах демократии и равнодушие к участи мучеников. Движимая раскаянием, я слегка помогаю ей переводами и составлением обращений к мировой общественности. Она, правда, и сама неплохо владеет русским языком, но она не в состоянии все успеть и охватить, потому мое участие приветствуется.

В России Паулина никогда не бывала. Родители вывезли ее из Таллина, где она появилась на свет, в полугодовалом возрасте. Красная Армия вступила в Эстонию 24 ноября 1944 года, а в начале декабря молодая семья, воспользовавшись ночным туманом и не вполне еще отлаженной системой береговой охраны, на утлой рыбацкой лодке пересекла

Балтийское море. Нет, они плыли не в предательские Хельсинки – в свободный Стокгольм! Свыше четырехсот километров по бурному зимнему морю и, надо понимать, без особых навигационных приборов. Чудеса на свете случаются. Правда, отцу Паулины недолго пришлось наслаждаться свободой, спустя пару лет он то ли погиб при странных обстоятельствах, то ли скончался от какого-то таинственного заболевания.

Паулина с матерью (отец был эстонец, а мать русская) перебрались в этот городок и долго жили тишайшим образом – до тех самых пор, пока советским властям не вздумалось выслать Александра Солженицына. Этот акт политического произвола перевернул чуткую душу Паулины (с сочинениями Солженицына она познакомилась у себя в библиотеке, где так много книг и почти не бывает читателей). Начав с “Ивана

Денисовича”, она с головой окунулась во все прочие российские горести, стала яростным борцом с тоталитаризмом и даже умудрилась вовлечь в свою деятельность старушку мать (скончавшуюся три года назад).

В обществе, насколько я успела заметить, Паулину считают чужеземкой и чудачкой и не слишком поддерживают ее благородные порывы. То есть абсолютно не поддерживают, а, напротив, воспринимают как вздорные и отчасти даже опасные. В этой стране, при всей ее

горделивой политической и гражданской терпимости, существует мнение, что восточного соседа не следует задевать по пустякам – подумаешь, выслали Солженицына! Ему же и лучше, пусть скажет спасибо... Но и порицать бедняжку открыто никто не решается – что делать, такая набожная и такая некрасивая... И к тому же русская.

– А, Нина!.. – наталкивается на меня фру Брандберг. – Скажите: у вас осталась в России семья?

Мы с ней встречаемся регулярно на протяжении всего года – то в магазине, то в издательстве, иногда даже у нас дома, сегодня утром, например, виделись на катке, – но почему-то только в этом рождественском собрании она удосуживается поинтересоваться моей семьей. Между бокалом легкого белого вина и порцией заливной рыбы в ней вдруг пробуждается интерес к моей покинутой родине.

– Как – вообще никого-никого?! – ужасается она в десятый раз. – Что вы говорите!..

Паулина между тем обходит гостей – нечто вроде подписного листа: сбор пожертвований на преследуемых русских интеллектуалов. Нет, денег она, разумеется, ни с кого не берет, это лишь подготовительная стадия, эдакий невинный психологический захват – на званом вечере, да еще в стремлении поскорее от нее отделаться, человек не удержится и что-нибудь пообещает. А потом уж неловко отступить – придется раскошелиться на дурацких неумных русских.

Не могу сказать, чтобы мы как-то особенно близко сошлись за эти десять лет, но некое взаимное участие, что ли, заставляет нас общаться. Обычно я забегаю к ней в библиотеку – заодно можно разжиться какой-нибудь книжкой или порыться в каталогах новых изданий. Живет Паулина далеко, на противоположном конце города – между прочим, когда я впервые попала туда, квартира поразила меня своей величавой добротностью. Я не решилась спросить: это что же, социальные службы в этой стране предоставляют бедным вдовам с младенцами такие апартаменты? Не может быть, чтобы скромная библиотекарьша могла позволить себе приобрести или снимать столь роскошное жилье.

Теперь, по вселении Пятиведерникова, я стараюсь бывать у нее пореже, но мы по-прежнему общаемся в библиотеке. Пятиведерников явился неизбежным производным от христианского милосердия и трепетной поддержки русских диссидентов. Рано или поздно в ее жизни должен был возникнуть тот или иной Пятиведерников – одинокая и к тому же беспредельно наивная женщина обязана была пасть жертвой своих добродетелей. У меня есть Мартин, наши мальчики, Денис, Люба, даже

Эндрю, – а у Паулины на всем белом свете нет никого.

Не знаю, обращали ли когда-нибудь критики и ценители великого писателя внимание на то, что Варвара Алексеевна Доброселова снабжена хоть и покойными, но все же родителями: бедной матушкой и шлимазлом батюшкой, – подлой и коварной, но все же родственной Анной

Федоровной. Что же до Макара Алексеевича Девушкина, то тот так и соткался из тлетворного петербургского воздуха, никогда не имевши не только плотских родителей, но даже и захудалого какого-нибудь дядюшки.

Пятиведерников сел в семнадцать лет за убийство. Что это было за убийство, я не знаю и не интересуюсь, но скорее всего, не старухи-процентщицы. Очутившись же в лагере, он по некоторому наитию или влечению натуры (но, может, отчасти и по расчету) сошелся не с братьями-уголовниками, а с диссидентами и полностью включился в их лагерную борьбу за предоставление свиданий и прочие нарушаемые властями права. В тридцать два года он кончил срок – без профессии, без высшего и, кажется, даже без законченного среднего образования, зато с четко сформировавшимся мировоззрением, которое побудило его не удовольствоваться относительной свободой “большой зоны”, а взыскать полного раскрепощения. Он покинул пределы СССР по израильской визе и очутился в транзитном пункте под Римом. Ни одна свободная страна не пожелала видеть понесшего наказание убийцу своим гражданином. Оставшись без всяких средств к существованию, без опеки каких-либо благотворительных организаций и без малейшей надежды на перемены к лучшему, он готов был ехать даже в малопривлекательный

Израиль, но и Израиль вывернулся у него из-под ног, объявив, что виза его просрочена, а поскольку евреем он не является, то и под действие закона о возвращении не подпадает.

“Не понимаю, – писал он друзьям в Иерусалим, – у вас там какие-то блажные кибуцники запускают празднующихся приезжих к себе в столовую и потчуют среди ночи курами? Только потому, что те изволили заблудиться? Милая детская мечта! Я тут совершенно непредумышленно пересек угол чьего-то поместья (не огороженного к тому же!), так на меня спустили собак и едва не пристрелили для острастки. Красиво эти италяшки выглядят только в кино, но кино, как вы, верно, догадываетесь, я не посещаю. Следующей зимы мне не пережить – прошлую провел в основном под мостом – ничейный гражданин, коему не положено от просвещенного человечества даже таблетки аспирина.

Перенес воспаление легких, а почему не сдох, не знаю”.

Письмо было размножено, разослано с припиской “SOS!” по всем

возможным адресам (подозреваю, что не столько само бедственное положение Пятиведерникова ужаснуло эмигрантскую общественность, сколько мысль о позорном разоблачении преимуществ избранного ими западного образа жизни). Неисповедимыми, но тонко продуманными путями попало оно в руки невиннейшей Паулины. Испытав все прочие способы спасения гибнущего в Италии русского диссидента и убедившись в преступной государственной косности и людской черствости, она решилась на крайнее, зато верное средство – поехала в Рим и обвенчалась с Пятиведерниковым по православному обряду.

Бросив таким образом вызов бессердечному миру, она на вполне уже законном основании ввезла молодого мужа в страну и поселила у себя в квартире.

Не думаю, чтобы тридцатичетырехлетняя Паулина питала какие-то тайные надежды – благочестивая стыдливость давно заставила ее смириться со своей участью старой девы. Мечтать, что спасенный проникнется к спасительнице нежными чувствами, она бы не посмела. Но, без сомнения, в бедной своей отверженной душе она выстроила сладостную модель дружеского совместного подвига, общей плодотворной борьбы и интеллектуального взаимопонимания. Предполагалось, что

Пятиведерников станет ближайшим соратником и единомышленником. Он же стал единственно тем, чем мог и должен был стать: тяжким ее крестом.

После всего пережитого он и помыслить не мог о какой-то полезной деятельности. Утомленный и разбитый всей своей предыдущей жизнью, успевший в лагере смертно возненавидеть советскую власть, а в Риме не менее яро – зловонную западную демократию, он жаждал только одного – отдохновения, полного и никем не нарушаемого покоя! “Приди, о Лень! приди в мою пустыню...”

Я побывала у Паулины после ее замужества (фиктивного, разумеется).

Пятиведерников в полуодетом и каком-то немыто-нечесаном виде валялся в гостиной на диване, а вокруг по всей комнате в разбросанном состоянии пребывали его же носки, бумаги, все виды печатной продукции: книги, брошюры, газеты (которые Паулина специально выписывала из Москвы и Парижа), вывернутые наизнанку штанины и грязные тарелки. Мое вторжение в уже обжитой им мирок он воспринял хмуро, позы не переменил, а на предложение жены познакомиться буркнул себе под нос нечто не вполне разборчивое и, кажется, даже не вполне приличное. Но когда я уходила, вдруг вскочил, прошлепал по паркету босыми ногами и протянул мне руку. Я пожалала ее, но постаралась намекнуть ему, что я не

Паулина. Он криво усмехнулся и плюхнулся обратно на диван.

Временами моя приятельница не выдерживает и со слезами на глазах жалуется (кому, кроме меня, она может пожаловаться?), что

Пятиведерников совершенно изгадил и изуродовал ее жизнь, что он не просто бездельник, но злостный гнусный паразит и кровопийца, что он не моется, не соблюдает элементарных приличий, требует от нее денег и в нетрезвом состоянии угрожает вышибить из нее мозги. Развод в этой стране – дело чрезвычайно сложное и дорогостоящее, а кроме того, Пятиведерников выведает, что фиктивный брак уголовно наказуем, и шантажирует свою непорочную супругу угрозой разоблачения.

– Вы не представляете, какие слова я от него слышу! – шепчет

Паулина, бледнея от стыда, и грустно качает преждевременно седеющей головой.

Чем я могу помочь ей?..

– Не уходите еще? – интересуется Агнес, отряхивая с губ крошки песочного пирожного, чем предумышленно усугубляет торопливо-пренебрежительный тон. – Что ж... Мы пошли. Ничего такого, чтобы стоило... Не могу представить, как люди часами оставляют детей с бибиситером! Я никогда ни минуты не бываю спокойна. Ах да, мы, кажется, завтра у вас обедаем?

Похоже, что так...

Мы еще не уходим, поскольку в эту минуту Мартин удостоился беседы с одним из тузов издательского дела Куртом Бетбергом. Самые великолепные рекламные журналы, обожаемые женщинами не только нашей страны, но всего континента, выходят из типографий Бетберга: бумага самого высшего качества, самые модные модельеры и модельерши с помощью самых искусных фотографов демонстрируют все самое-самое желанное – от кругосветных путешествий и собственных яхт до изысканного цветочного вазона на тесном городском балкончике. Краем уха я улавливаю: Бетберг повествует о своей последней поездке в

Австралию. Мартин одобрительно хохочет. Не исключено, что это в самом деле была премилая поездка. Обставленная, разумеется, тысячью предосторожностей. Курт Бетберг отчаянно боится всего на свете, носит себя как хрупкую вазу, как сосуд, наполненный драгоценным бальзамом. Маленький невзрачный человечек с птичьим личиком, он не пьет, не курит, разумеется, ничем не злоупотребляет, даже лекарствами, поскольку и лекарства могут отрицательно сказаться на здоровье. Он обладатель удивительной памяти. Помнит наименования всех книг, вообще всех печатных изданий, когда-либо выпущенных в свет нашей цивилизацией.

Может безошибочно назвать год и место, тираж, автора, переводчика, редактора, порядковый номер издания, и при этом, утверждает молва, он в жизни не прочел ни единой строчки – его интересуют выпускные данные, и только. Безупречный всемирный книжный каталог. Способствует ли это его жизненному успеху? Во всяком случае, не вредит.

Как у всякого человека, у Бетберга имеются слабости. Он, например, рисует. Птичек. Птички получаются длинноклювые – похожие на автора, и всегда любопытно-ошарашенные. Бетберг выпускает свои рисунки в виде альбомов. При его капиталах он может позволить себе такую невинную блажь – дарить друзьям и знакомым авторские альбомы.

Впрочем, я не уверена, что у него есть друзья. Знакомых множество.

Вторая слабость господина Бетберга – дородные негритянки.

Рассказывают, что на одной из них он был женат. Девушка явилась на туманный север в качестве студентки местного университета. В отличие от большинства проникающих в страну чернокожих, ее привел сюда не поиск заработка, а жажда познания – ужасно хотелось повидать заморские края. В собственном своем государстве она ни в чем не нуждалась, поскольку была одной из дочерей местного правителя – коммуниста и миллионера. Бетберг женился на ней и, упоенный страстью, даже провел пару месяцев у нее на родине – бросая безумный вызов судьбе и отчаянно рискуя своей ценнейшей головой в диком мире крокодилов и марксистов. Произведя на свет двоих детей – мальчика и девочку, супруга Бетберга сделалась каким-то министром, кажется просвещения, а потом испарилась вместе с папашей и всем безжалостно низвергнутым режимом. Бетберг утешился изданием еще более великолепных иллюстрированных журналов. Его дети, получающие теперь образование в Англии, периодически навещают его, я сама два или три раза их видела, так что история с женой-негритянкой, скорее всего, правдива.

– Знаете, я решил выстроить дом на Таллийском побережье! – сообщает

Бетберг. – А если я решил, я это делаю. Следующей весной он будет готов. И вы непременно окажетесь в числе моих гостей – да, я намерен пригласить к себе всех добрых знакомых. На все лето! Багамские острова мне осточертели. Я поклялся прожить целое лето в глуши, в собственном доме, в кругу близких мне людей!

Мартин благодарит за приглашение и за то, что господин Бетберг включает нас в число хороших и близких людей. Впрочем, зал с каждой минутой пустеет, разговоры и смех становятся излишне отчетливыми.

Я случайно оказываюсь перед инвалидным креслом Натана Эпштейна.

Он подымает на меня взгляд и как будто пытается припомнить, кто я такая. У него большие продолговатые карие глаза, крупный нос и нежный, изящно очерченный рот. Мною вдруг овладевает нелепейшее рождественское желание сделать шаг в его сторону и сказать: “Моих бабушку и дедушку убили в Несвижском гетто. А я, представьте, даже не знаю их имен. Не знаю, как звали моих бабушку и дедушку! Никто не догадался назвать мне их имена...”

Так оно и было – в маминых рассказах, скупых и редких, они фигурировали просто как “мама” и “папа”. Упоминались еще какие-то тетя Соня и тетя Роза, их дети и внуки, я выслушивала все, чем ей вдруг хотелось поделиться, но вопросов не задавала. На дедушкино имя слегка намекало мамино отчество: Николаевна, но по-настоящему деда звали, конечно, не Николаем, может, тоже Натаном, как Эпштейна, а может, и как-то иначе – евреи по велению эпохи русифицировали свои имена. Нельзя сказать, чтобы мама отрекалась от своего еврейства, но, мягко выражаясь, не особенно его афишировала. Что вполне понятно по тем временам. “Мне горько, мне ужасно горько теперь, что я не знаю их имен!” – могла бы я признаться Эпштейну.

Но я, разумеется, удерживаюсь.

Собственно, и об отцовских родителях я знаю не так уж много. Хотя эту бабушку, бабу Нюру, отцовскую мать, застала в живых. Пару раз она приезжала к нам в Ленинград. Баба Нюра поразила меня тем, что никогда не снимала с головы белого платочка, ни днем, ни ночью, а выходя на улицу, теплый серый платок повязывала поверх этого тонкого. Раз она похвасталась, что старики у них на селе хранят книгу: передают от отца к сыну и никому чужому не показывают. “Какую книгу?” – спросила я. “Где все описано – от древнейших времен”, – сообщила баба Нюра торжественно. Я не поверила. А если, допустим, и описано – наверняка какие-нибудь глупости, невежественные выдумки.

Что я, не знаю: настоящие важные книги хранятся в библиотеках. В государственных фондах. А у них на селе старички от своей безграмотности и пережитков феодализма насочиняли какую-то чепуху.

Поэтому и показывать стесняются – догадываются, чего она стоит, их книга!..

Все кануло в Лету. Не в Лету – в океан всеобщей глупости, усталости и страха. Теперь уже не у кого спрашивать... Как называлось село?

Кажется, Старостино. Да, точно – Старостино.

Я позволяю себе слегка улыбнуться Эпштейну – все-таки самую

капельку мы знакомы – и отступаю в сторону. Но маленький паучок, хитренький ткач, успевает прошмыгнуть между нами – так мне почему-то кажется, – протянуть серебряную ниточку невнятной симпатии. “Лезет в голову всякая чушь”, – сказала бы мама.

Вечер окончен. Спускаясь по широким блистающим ступеням к лифту, я продолжаю думать об Эпштейне, о нелепой аварии, лишившей его ног, о

Паулине, о русских диссидентах, а также о том, что Люба простит мне невольное отступничество от родства – не пускаться же, в самом деле, в сбивчивые объяснения касательно наших отношений перед рождественской фру Брандберг, и без того обремененной убыточным книжным магазином и неприличным сыном в Амстердаме...

Лифт уполз под самым нашим носом и не возвращается. Застрял на пятом этаже. Видно, кто-то держит дверцу.

Забавно: злосчастное письмо Пятиведерникова (вернее, одна из его копий с грифом SOS), роковым образом изменившее судьбу Паулины, попало мне на глаза задолго до того, как я познакомилась с ними обоими. Невозможно знать, чему ты станешь причастен. Иерусалим, окраина Иудейской пустыни, беленький, только что выстроенный район

Неве-Яків (в произношении русской братии – Ново-Яков), соседский “салон”, битком набитый растерянными русскоязычными интеллектуалами, дружная компания дружно покинувших бывшую родину антисоветчиков и диссидентов обсуждает нескладную ситуацию: Пятиведерников терпит бедствие в роскошном Риме! И поэт еще жив и обсуждает вместе со всеми. Помнится, сошлись во мнении, что Пятиведерников дурак, год назад мог благополучно прибыть в Израиль.

Теперь ничего нельзя поделаться... Остался ли еще кто-нибудь там, в Неве-Якове? Из всей могучей, блестящей кучки? Израиль не мог осознать, каких людей ему подкинула судьба. Кого-то оценила

“Свобода”, кого-то призрела Би-би-си, а кто-то...

Лифт наконец приползает – набитый до отказа гигантскими пухлыми мешками с оставшимся от празднества мусором. Одноразовые стаканчики цветными пупырышками выпирают под прозрачной шкуркой голубоватого полиэтилена. Мартин хмурится. Можно подумать, что в этом здании нет грузового лифта! Конечно есть, но какой-нибудь ленивый грек или турок, впущенный в страну следить за чистотой и аккуратностью, не пожелал далеко тащиться. Зато мы, слава богу, пока не инвалиды и можем спуститься по блистающей лестнице собственными ногами. Тем более что не так уж и высоко.

– Дорогая, ты видишь? – Мартин подхватывает меня под руку. -

Северное сияние!

Я не вижу. Верчу головой во все стороны и не вижу ничего такого, что бы хоть как-то могло сойти за сияние. Пусть даже такое слабенькое, какое иногда случалось у нас в Ленинграде.

– Где? – спрашиваю я.

– Да вот же! Вот!

Нет, ничего не вижу, кроме переливов многометровых реклам. Наверно, именно эти отсветы Мартин и принял за любимое сияние. Но не стоит разуверять его. Мартин родился на противоположном конце этой вытянутой вдоль меридиана страны, у самого полярного круга, где небесные сияния щедро полыхают всю долгую полярную ночь. Почему бы нам не съездить туда? Анна-Кристина, его сестра, теперь осталась совсем одна – после смерти матери. Один раз я у них побывала. Мартин счел своим долгом представить матери и сестре новую жену. Сестра вековала в старых девах, я не интересовалась причиной. А мать сумела пережить четверых детей – двух сыновей и двух дочерей – и скончалась совсем недавно, на девяносто пятом году. Мальчикам, я думаю, понравилось бы съездить к полярному кругу. Почему бы, собственно, не отправиться прямо сейчас, в эти каникулы? Лучше, чем каждый день посещать муниципальный каток.

– Да, дорогая, конечно! Обязательно, – обещает Мартин. – Только не теперь, – добавляет он несколько смущенно. – Необходимо утрясти кой-какие дела.

Разумеется, Рождество – не время для путешествий. Рождественские праздники положено проводить дома. Такова священная традиция. Все выверено и регламентировано. Обычай, который могущественнее закона.

– Ты знаешь, – продолжает он, расчувствовавшись, – северное сияние на Рождество – это к счастью. К приятным известиям! К удачному году!

– и в приливе нежности обнимает меня за плечи, закутанные в шелковистую шубку из искусственной норки.

Искусственной не из-за того, упаси бог, что у нас нет денег, и не потому, что их жалко, а потому, что жалко настоящих норок. Но денег, возможно, тоже.

– Непременно, дорогая, непременно поедем, как только потеплеет...

Да, но когда потеплеет, северные сияния покинут небосвод.

Мы усаживаемся в свой роскошный, отливающий темно-синим металликом лимузин. Паулина в эту же самую минуту отъезжает на потрепанном желтушном “саабчике”. Мартин любезно уступает ей дорогу. Вообще-то наша машина тоже не последнего года выпуска, но она очень-

очень внушительная и практически новехонькая – мы редко ею пользуемся.

Мартин обычно ездит в издательство на велосипеде, разумеется, не потому, что экономит бензин, – велосипедные прогулки полезны для здоровья и вообще приятны.

Автоматические ворота раздвигаются, мы въезжаем на свою стоянку,

Мартин аккуратно заводит машину на положенное место, прижимает бампером к бетонному парапету и придерживает дверцу, помогая мне выйти. Три десятка шагов по гулким плитам – и мы в лифте.

Наконец-то. Тихая полночь. День окончен. Мы оба устали – два запоздалых путника...

Один мой ленинградский приятель, служивший в очень-очень секретных войсках за полярным кругом, рассказывал, что у них в части два грузовика столкнулись лоб в лоб на льду Северного Ледовитого океана.

Безбрежного и абсолютно пустого Ледовитого океана! Что касается нас с Марином, то мы столкнулись на Иерусалимской книжной ярмарке.

– Да, дорогая, – повторяет он, – обязательно поедем... – прижимает мою голову к своей груди и целует меня в макушку.

3

Эндрю с Агнес придут к обеду. Нужно придать некоторый блеск жилищу, накрыть на стол, главное – не забыть сварить овощи...

Между прочим, если не ошибаюсь, за все десять лет они приглашали нас к себе трижды: первый раз – когда мы с Мартином только поженились, второй – вскоре после первого, так, в числе нескольких друзей дома

(детей у них тогда еще не было и Агнес еще не бросила своих занятий живописью), и, наконец, в прошлом году на новоселье, которое было отмечено почему-то лишь сладким столом. Гостей оказалось человек пятьдесят, если не семьдесят, так что преувеличением было бы назвать этот случай обедом в кругу семьи. Зато они навещают нас и в праздник, и в будни, по любому поводу и без повода, заглядывают, когда только вздумается.

То есть я, конечно, ничего не имею против – нормально, даже прекрасно, что сын не забывает отца. Но почему бы и отцу хотя бы изредка не удостоиться пообедать у сына? Впрочем, я это так, для отвода чувств – что я там у них забыла? Лишний раз любоваться гусиной физиономией Агнес?

В прежней квартире все стены у нее были увешаны картинами собственного производства – эдакий незатейливый модерн на скорую руку, смесь базарного примитива и журнального китча. Но в новом доме из всей коллекции задержалась лишь парочка малых полотен, да и то в уголках потемнее. Осознала, видимо, что она не Пирсманншвили и не

Кандинский. Не сомневаюсь, что, кроме насмешек, ей это самовыражение ничего не стяжало. Все-таки к Эндрю как издателю случается навещать и профессиональным художникам – может, и сами не великие Ван Дейки, но кое в чем все-таки разбираются.

– Дорогая, мы уходим, мы идем на каток! – объявляет Мартин, заглядывая из коридора – голова в веселенькой спортивной шапочке.

Идите, идите, мои милые, не стану удерживать, на каток так на каток, по крайней мере в ближайшие полтора часа в квартире будет тихо. Хотя сомневаюсь, что сегодня удастся кататься – погода совсем раскислилась, за окном прочный серенький сумрак, вместо вчерашнего снежка с неба сыплет насморочный дождик.

Не успеваю я поставить кастрюлю на плиту, как раздается телефонный звонок – Паулина. Ей очень, очень неудобно, но больше не к кому

обратиться и не с кем посоветоваться: Пятиведерников вчера явился домой среди ночи – абсолютно пьяный. В стельку. “Что ж, – думаю я, – неудивительно. Надо сидеть с мужем дома, а не таскаться по званым вечерам. Или по крайней мере брать его с собой”. Да, абсолютно в стельку пьяный! Он в последнее время пристрастился посещать сомнительные заведения. “Чего и следовало ожидать, – мысленно комментирую я. – А что, если пристроить его в Амстердам? В помощники к Ларсу Брандбергу? Неплохая идея. Мартин может составить протекцию...”

– Представьте, упал на лестнице и вместо того, чтобы немедленно подняться, остался лежать и распевать, как свинья, русские песни!

“Ну почему же – как свинья?” – невольно обижаюсь я за русские песни.

– Перебудил всех соседей и поскандалил с господином Бэнсоном!

“Довольно-таки некстати он проделал это именно нынешней ночью, – вздыхаю я потихоньку. – Мог бы распевать русские песни завтра. Или послезавтра. Нет, непременно теперь, когда нет ни минутки времени!..” Но не выслушать Паулину невозможно.

– И это еще не все! – Она задыхается от переживаний и еле сдерживаемых рыданий. В ее скромненькой жизни это большое происшествие. – Представьте, когда я его буквально силой ввела... втащила в квартиру...

Русские песни! В Амстердаме это может оказаться истинная находка!

Золотое дно! Хотя, с другой стороны, они ведь не европейцы – они филиппинцы... Филиппинцы вряд ли проникнутся... Но, может, не к филиппинцам, может, к кому-нибудь другому? Цыганский погребок, например... Невозможно знать, где вектор судьбы. Вообще-то матросский фольклор должен быть интернационален...

– Кстати, Нина, простите, что это значит: целка? Мне кажется, я не встречала такого слова... Когда он особенно злится, он говорит

“пролетарская целка”! В словаре этого нет.

– Это “целкач” в женском роде, – разъясняю я.

– А что значит “целкач”?

– Целковый. Рубль.

– Да? Но почему же в женском роде?

К счастью, она не в силах дожидаться дальнейших, более основательных толкований.

– Взял, представьте, половую щетку, навесил на нее свои грязные брюки, насквозь мокрые, сплошь в какой-то гадости, поверх них, прошу прощения, нацепил исподние... Как правильно сказать: исподние или

исподнее? И представьте, выставил этот стяг в форточку! – Голос ее то волнообразно нарастает, то вовсе пресекается. – И как раз в том окне, что на улицу!

Она, конечно, не могла этого предвидеть, тем более пресечь – кто бы мог предположить подобную выходку? Утром явился полицейский и вручил ей квитанцию на штраф – за нарушение соседского покоя, а также за недозволенные обвешивания городского здания неприличными предметами интимного гардероба.

– И без всякой совести продолжает теперь спать! – всхлипывает в трубке Паулина.

– Не вздумайте только уплатить этот штраф! – вставляю я мудрое наставление. Трубка прижата плечом к уху: чищу морковь. – Пусть сам расхлебывает свои безобразия!

– Вы смеетесь? – возражает она обиженно. – Чем же он может расхлебывать? Вы же знаете, у него ни копейки денег!

– Да? А на что же он, извините, пьет?

Вопрос мой ее несколько озадачивает.

– Не знаю... Возможно, какой-нибудь мерзавец его угостил.

Угостил!.. Как бы не так! На твои же денежки таскается по кабакам и по бабам.

– Пускай выпутывается как знает. Паулина, вы не должны в этом участвовать.

– О, я представляю, как он будет выпутываться! Он просто не заплатит!

– Тем лучше. Тогда его арестуют.

– Вы шутите?! – ужасается она.

– Почему же?

– Вы хотите, чтобы завтра весь мир кричал, что у нас в стране арестовали русского диссидента?

– Паулина! Он давно никакой не диссидент, и всему миру на него начхать.

Нет, нет, она не готова к такому вульгарному способу разрешения своих ужасных затруднений.

– Он озлобится еще больше...

– А на каком это языке он изволил скандалить с господином Бэнсоном?

– пытаюсь я пошутить.

– Не знаю, не помню, – отвечает Паулина сокрушенно. – Наверно, на русском. Нет, вы, пожалуйста, не думайте – когда ему нужно, он прекрасно умеет объясниться. В конце концов, он уже семь лет в стране.

– Он не в стране, Паулина, он у вас на диване! – зачем-то дразню я несчастную. – Вы должны взять эту самую щетку и гнать его взащей. -

Все же не просто одновременно крошить лучок, утирать набегающие слезы да еще беседовать по телефону. – Пускай устраивается на работу. Здоровенный наглый бугай! Вы тратите на него свои последние деньги. Не умеет ничего лучшего – пусть идет моет вагоны! Там никакого языка не требуется.

– Но почему же – не может? – вступается Паулина за своего мучителя.

– Он, в сущности, очень способный человек. Вполне прилично выучил итальянский язык, хотя там никто от него этого не требовал. Вы знаете, он до сих пор читает по-итальянски!

– Что же он читает? “Божественную комедию”?

Пусть поступает как хочет. Некогда мне с ней препираться, да и незачем. И потом, кто знает, кто ведает?.. Что останется в ее бедной жизни, если вдруг исчезнет паршивец Пятиведерников со всеми своими безобразиями?

Некоторое время она молчит, собираясь с духом, но потом все же решается изложить свой план:

– Нина, простите меня, ради бога, я знаю, что требую лишнего, но я уже пробовала со всех сторон, может быть... Может, вы согласитесь переговорить с ним? Мне кажется, он должен прислушаться к вам... Вы имеете правильный подступ к такой сложной натуре!

Нет, этого я уж точно не сделаю. Ни в коем разе не стану заниматься перевоспитанием господина Пятиведерникова. Пропади он пропадом. Но я обещаю Паулине, что, когда она достаточно созреет для самообороны и решится наконец обратиться в полицию с требованием принятия надлежащих мер против своего мнимого супруга, я выступлю ее свидетелем. На этом наша беседа заканчивается.

Мартин возвращается с катка запыхавшийся, утомленный и с многочисленными свертками в руках – кататься действительно было невозможно, лед течет. Он надеется, что на следующий год у нас уже будет наконец каток с искусственным льдом... Зато он успел заскочить в магазин и выбрать детям подарки. В куче пакетов я замечаю и большой круглый торт – это к чаю, объясняет Мартин.

Эндрю появляется с дочками, но без Агнес – наша невестушка просит извинить ее, она неважно себя чувствует. Бедняжечка. С чего бы это?

Выпила вчера лишнего? Или объелась сладостями? Скорее всего, просто закапризничала. Нам без разницы. Даже лучше. Бывает некоторым такая везуха! Всю жизнь ни черта не делает, ни одного дня нигде не

работала и при этом постоянно жалуется на всяческие недомогания и переутомления. Первую доченьку родила в сорок два года. Не потому, что не могла родить раньше, но опасалась, что беременность испортит ценную фигуру, а дети, чего доброго, воспрепятствуют светскому времяпрепровождению. И занятиям живописца. Но коль скоро изящные искусства все равно заброшены... всю беременность, все девять месяцев, провалялась, корова, задравши кверху ноги! И врач, разумеется, неотступно наблюдал за драгоценным здоровьем будущей не слишком юной матери. Спустя четыре года решила повторить эксперимент и забеременела вновь, чтобы вновь во всей полноте насладиться дурным самочувствием. Разумеется, и вторую дочку родила не без помощи и участия ведущих медицинских светил. Тонкая такая натура – то занеможет, то занедужит. В доме, между прочим, две прислуги: негритянка убирает, а местная пожилая матрона готовит обеды. Вот бы

Пятиведерникову родиться в образе Агнес! Не пришлось бы дразнить полицию вывешиванием мокрых подштанников, и так бы пылинки сдували.

Странный, однако же, закон природы – Эндрю женятся на Агнесах, а Паулинам достаются Пятиведерниковы.

Кстати, в отсутствии спесивой женушки Эндрю совершенно другой человек – общительный и даже остроумный. И девочки у них, в общем-то, симпатичные. Не особенно пока напоминают мамашу. Минуточку

– жаркое пора вытаскивать из духовки, а то зачерствеет, как подошва.

Куда бы временно приткнуть противень?..

У входной двери раздается звонок. Неужели Агнес по какой-то причине решила все-таки осчастливить нас своим визитом? Нет, оказывается, это семейство Юнсонов – папа, мама, юная фигуристка Линда и ее младший братик.

– Дорогая, чуть не забыл тебе сказать! – торопливо шепчет Мартин. - Я пригласил их!.. Детям будет веселее...

Разумеется, будет веселее. Почему бы, собственно, и нет? Чем Юнсоны хуже остальных наших знакомых? Фру Брандберг, например, или мошенника Стольсиуса? Ничем... Я изображаю на лице приветливую улыбку и быстренько ставлю на стол четыре дополнительных прибора.

Надеюсь, еды хватит. Торты, во всяком случае, определенно хватит.

Теперь понятно, зачем куплен такой огромный и шикарный торт – для угощения маленькой знаменитости. Ради собственных детей и внуков

Мартин вряд ли бы решился так транжириться – он человек прекрасный во всех отношениях, но, между нами, капельку прижимист. Как

говорится: не скуп, но бережлив. Что поделаешь, не бывает людей без недостатков. Мартин, при всех своих достоинствах, не терпит напрасных трат: зачем, к примеру, покупать импортные груши, когда можно с тем же удовольствием скушать яблочко из местных садов? Я, разумеется, не перечу. Да и грех мне было бы...

Эндрю несколько удивлен появлением Юнсонов, впрочем, он по натуре непривередлив и к тому же всецело занят своими дочерьми, главным образом младшей. Пытается добиться, чтобы малышка доела лежащий у нее на тарелке салат и слоеный пирожок и при этом не слишком запачкала свое нарядное платьице. Время от времени он интересуется также, не нужно ли ей на горшок – поскольку девочке уже два года и два месяца, пора отучать ее от памперсов.

Фру Юнсон – особа прямая и жизнерадостная. Она явно польщена приглашением и старается поддержать приличный разговор. Сообщает, что старшая ее дочь, сестра Линды (не раз оставшаяся без присмотра при наших мальчишках), собирается выучиться на медсестру, а может, даже на зубного врача. Мы узнаём также, что квартиру в нашем доме им посчастливилось купить благодаря наследству, которое господин Юнсон получил от своего бездетного дядюшки, да будет земля ему пухом.

Господин Юнсон кивает и помалкивает, очевидно во всем полагаясь на жену, опрокидывает рюмочку за рюмочкой и старается не ударить в грязь лицом – правильно орудовать ножом и вилок. Малышка Линда почти ничего не ест и откровенно скучает.

Господин Юнсон приподымается с рюмкой в руке. Он обязан теперь произнести речь в честь хозяйки дома. Супруга помогает ему понадежнее утвердиться на ногах.

– Вот мы тут и попили, и поели, – начинает он. – И так сказать...

Весьма поражены талантами милой хозяйки по части сварить и поджарить...

Фру Юнсон выручает его и скоренько перечисляет остальные мои достоинства.

Наступает черед торта. Я делю его круглую душистую мякоть на увесистые куски и раскладываю по тарелочкам.

Компот!.. Компот – вот истинное мучение. Я опять не удосужилась загодя разлить его по вазочкам. Сколько раз уже убеждалась!.. В

России мы, по простоте своей, сопровождали торт чаем, в крайнем случае – кофе. В последние годы у нас в издательстве даже сделалось обычаем с полочки заваливаться всем коллективом в кафе. Заказать по пирожному с чашечкой кофе и целых полчаса наслаждаться сладкой

жизнью. Погружаться в иную стихию... И компания была как на подбор: все брошенные жены и не обретшие своей судьбы тридцатилетние вековухи. Не теряющие, впрочем, надежды. Рубль – рубль двадцать – не так уж страшно. Хотя потом – проверено – именно этого рубля не хватит до полочки. Да что наперед расстраиваться – снова живем...

А тут почему-то принято к торту подавать компот. Компот у нас собственного изготовления. Мартин варит его по особому рецепту из чернослива и вишни – ничего, вкусно получается. Но что подавать сперва – компот или торт? Если компот, его тут же и выпьют, и придется потом уминать торт всухомятку. Еще раз разливать компот?

Нет, лучше вначале торт. Получат по куску и пусть дожидаются компота. Кушайте, дорогие гости, кушайте и пейте на здоровье! Будем веселиться! Не упустить при всяком удобном случае произнести какую-нибудь любезность:

– Нет-нет, не беспокойтесь... Замечательные цветы, в жизни не видела таких красивых цветов... Перестаньте, перестаньте, я убеждена, что вы на себя клеветеете... У ваших девочек изумительный цвет лица. Ой, нет, осторожненько!..

Хед умудрился-таки вывернуть свой кусок на скатерть!

– Ничего, ничего, ничего страшного!.. – утешают все дружно.

Конечно ничего – ничего страшного, наоборот, все замечательно. Я должна присесть наконец. Из-за всей этой суеты вокруг стола не удалось даже поболтать с Эндрю. А мне все-таки следует быть в курсе, что там новенького-хорошенького происходит в нашем бизнесе. Не мешало бы узнать, что он думает по поводу странного происшествия с

Гансом Стольсиусом. Передвигаясь вдоль стола, я успеваю уловить, как сын заявляет отцу вполголоса:

– Я категорически против!

Против чего? Спросить невозможно, получится, что я вообще ничего не знаю и пытаюсь выведать за спиной у мужа его секреты. А может, это вообще не о том.

– Извини меня, отец!.. Ты уже мог бы почувствовать... – Эндрю замолкает. Безнадежный выразительный жест – чтобы Мартин да кого-то послушался!.. Чтобы он извлек хоть какой-то урок из всех своих злоключений!..

Мартин успокаивает сына: все обойдется. Все будет о'кей. Похоже, что Эндрю не разделяет его оптимизма. Но Мартин не собирается отравлять наш веселый праздник мрачными мыслями. Он уже поднялся из-за стола и затевает игры с детьми. Главная из них, “заяц”, когда-то была

мне известна. Теперь я подзабыла правила. Пока играет музыка, нужно бежать вокруг составленных в кружок стульев – их на один меньше, чем играющих. Как только музыка прекращается, каждый должен мгновенно плюхнуться на ближайший стул. Самый неловкий ребенок остается безбилетником – “зайцем”. Эта роль, как правило, доставалась мне. Но в чем именно заключается неудобство заячьего положения, я уже не помню.

Линда не хочет участвовать в этих глупеньких играх – считает себя слишком взрослой. Мартин из кожи вон лезет, пытаясь вовлечь ее в какую-нибудь веселую забаву, но она упрямо забивается в уголок дивана, поджимает под себя ноги и потихонечку включает телевизор.

Младшая дочка Эндрю тем временем задремывает у него на плече, старшая, нечестно побежденная мальчишками в состязании по угадыванию “конфета или фантик”, принимается хныкать и требовать справедливости. Эндрю объявляет, что им пора.

Мартин вытаскивает из огромного, празднично раскрашенного бумажного пакета подарки – предварительно немного помучив детей неизвестностью. Наконец мальчишки получают по блестящему красному вертолету, а девочки – по кукле. Мы передаем Агнес приветы и поцелуи. Мартин вручает сыну кусок торта, упакованный в заранее приготовленную для этой цели коробочку. Эндрю не смеет отказаться.

На фоне всех остальных, достаточно скромных, подарочков вдруг как-то неприлично шикарно выступает чудесная и явно дорогая кукла, предназначенная Линде. Я вижу, что и родители при всей их простоте несколько шокированы необъяснимой щедростью соседа. Мартин принимается уверять, что это ничего, ерунда, что ввиду праздника куклу отдали за полцены.

Я заглядываю в детскую, куда перебрались мои сыновья и Линдин младший братик. Игрушки, годами спокойно пребывавшие в своих коробках и ящиках, по случаю появления свежего товарища извлечены оттуда и разбросаны по всему полу.

– Вы все это потом сложите на место! – говорю я для порядка строгим голосом, не особенно, впрочем, надеясь на исполнение.

Бог с ними, пусть не убирают. В конце концов, не каждый день праздник. Должны же дети когда-то быть просто детьми...

Линда потихонечку сползает с дивана и перебирается в гостиную, где установлена елка. Я ей сочувствую – двенадцатилетней девочке должно быть тяжело между четырьмя взрослыми и четырьмя глупенькими мальчишками. Чтобы убить время, она снимает с елочной лапы звездочку из фольги, кладет себе на ладонь и принимается дуть на нее.

Звездочка взмывает в воздух, Линда ловит ее, подставляя узенькую ладошку. Мартин с восторженной завистью наблюдает за этим занятием – если бы не мама и папа Юнсоны, он, верно, и сам принял бы участие в таком замечательном развлечении.

Фру Юнсон с воодушевлением объясняет нам, в каком ленде находится ее родной поселок и какой сорт яблок там выращивают.

– Однажды – это я еще девушкой была! – сообщает она задиристо, будто заранее предвидит, что мы ей не поверим, – выдался такой урожай!

Столько было яблок! Ну, столько – просто что-то необыкновенное. Мы уж их и варили, и мариновали, и мочили, и что только не делали... У нас уже просто не хватало бочек! А возить на рынок не имело никакого смысла – цены так упали. Мы в тот год, помнится, свиней одними яблоками кормили.

– Ну да? – удивляется господин Юнсон. – Разве свинья станет жрать яблоки?

– Как это она не станет? – возмущается в свою очередь его супруга.

– Яблоки для свиньи не пища.

– Ты скажешь! Ну ты скажешь!.. Да свинья все сожрет, что ты ей ни дай! И, если хочешь знать, наши яблоки как раз были очень сладкие, – защищает фру Юнсон родовую честь. – У нас одна яблоня была, так с нее с одной по целому возу яблок снимали. И какие крупные! А мясо у свиньи, если хочешь знать, когда ее яблоками кормят, яблочным духом пропитывается – замечательно вкусное получается мясо! Теперь ты такого нигде не купишь. Теперь одна химия кругом.

Как же мне хочется удалиться в свою комнату! Но до этого блаженного момента еще далеко. Когда же наконец он кончится – этот обед, этот прием, этот визит доброй воли? Лечь и закрыть глаза. И чтобы прохладный воздух вливался в окно...

– А я однажды... Это давно, до войны еще было! – требует Мартин своей доли внимания. Лицо его озаряется хитровой улыбкой, будто он собирается поведать нам о каком-то необыкновенном происшествии, какой-то невероятно залихватской проделке. – Мы с одним товарищем...

Ниссе его звали... – Рассказ прерывается паузами – не так-то просто припомнить теперь все подробности тех славных событий. – Наняли мы с этим Ниссе участок леса. На два месяца. Тогда это было можно – нанимаешь участок на месяц или на два, как кому удобно, и рубишь, сколько успеешь. Частные лесоразработки.

Частные лесоразработки... Не турпоходы на байдарках и не поиск смысла жизни в Индии и Японии, а занятия куда более простые и ясные:

рубка леса.

– Можно сказать, все свои денежки вложили в это предприятие, – повествует Мартин. – Еще и троих рабочих с собой прихватили.

Здоровые были парни – тоже из наших мест. А участок этот нам один приятель помог получить. Отличный был участок! Два месяца рубили как черти!.. Ниссе вообще-то собирался в Америку. Тогда многие эмигрировали – кризис. Но я его отговорил: кому, говорю, ты там нужен? Там тоже кризис! Убедил вложить его денежки – которые у него на билет были отложены – в это дело. – Мартин усмехается. – Какая там Америка! Ничего не осталось. Домой вернуться не осталось!..

Пешком топали. А ведь мы с Юханной эти денежки по грошику откладывали, каждую копейку считали...

История отношений с Юханной: целых два года они были обручены, но ее родители были категорически против – жених им не нравился.

– Да как это может быть – чтобы вы могли кому-то не нравиться! – возмущается фру Юнсон отчасти искренне, отчасти из вежливости. –

Такой парень – и чтобы не понравился?

– Дело не во мне! – разъясняет Мартин. – Дело в деньгах. Я был гол как сокол. Отец мой богатства не нажил, а нажил шестерых детей. А

Юханна у своих родителей – единственная дочка и с хорошим приданым.

Нет, не то чтобы они запрещали ей со мной встречаться – запретить они, конечно, не могли, но и помогать нам не собирались. Тогда все было иначе, не так, как теперь.

Вот уж верно... У нас в гостиной висит увеличенная свадебная фотография Мартина и Юханны. В прежней квартире она висела у Мартина в спальне, но он справедливо рассудил, что при новой жене фотографии лучше находиться в гостиной. Красавицей, судя по этому выцветшему черно-белому снимку, Юханна не была – солидная, серьезная женщина.

После ее смерти безутешные родители все свое состояние завещали внукам: Эндрю и Мине. Мартину – ни копейки! А так как внуки могли войти в права наследования лишь по достижении совершеннолетия, им еще пришлось отведать весьма скромной и невеселой жизни у своего невезучего и небогатого отца. Чего Эндрю, как я успела заметить, до сего дня не может простить не зловерным дедушке с бабушкой, а бедному кругом положительному и старательному отцу.

– А на этих разработках такой был порядок, – продолжает Мартин, – что нарубил – твое. Без ограничения. Только чтобы в срок уложиться – в

свой срок хоть весь лес сведи, но после окончания сучка не имеешь права тронуть. И вот представьте: последний наш день! И в этот день, я вам скажу, мы работали просто как сумасшедшие! Такой азарт охватил

– рубим как заведенные, еще, еще! Если уж все равно последний день, то и надорваться не беда. И представьте, к вечеру... – Голос у него становится серьезный и торжественный. – К вечеру, представьте...

Вдруг чувствуем: тянет гарью! Ниссе первый учуял. Пожар. Великая все-таки вещь, я вам скажу, – лесной пожар. Начинается с пустяка, с одной спички, но это нужно было видеть! Светопреставление! Целую неделю бушевало, вся страна не могла одолеть его. Всю округу сожрал, десять поселков подчистую! Что уж там говорить про наши заготовки...

А знаете, от чего он занялся?

Нет, даже фру Юнсон не в силах догадаться, от чего занялся такой знатный пожар.

– Там в лесу была сторожка. Надо же где-то приткнуться. В первое время мы еще и горячего чего готовили, но потом только ночевали – каждой минуты было жалко. А вместо печи железная плита стояла. И вот, представьте, в последний наш день в эту сторожку забрался бродяжка. Бог его знает, откуда он взялся – принесла нелегкая на нашу голову. Еще день – и духу нашего там бы не было. И этот парень, представьте, вздумал сварить себе кофе. Соскучился без кофе! А спички у нас лежали, конечно, открыто, на этой самой плите и лежали.

Кто же мог подумать, что черт его принесет! Весь лес в двух лендах!

Развел огонь, а сам, видно, заснул – пьяный был или кто его знает, но что главное: все, все погорело! – наши вещи, лес, все живое на двести километров в округе – он один, проклятый, остался целехонек!

Супруги Юнсоны деликатно ахают и в меру ужасаются. Мартин преображается, молодеет на глазах и, кажется, сию минуту подымется и вновь устремится на двухмесячный лесоповал.

– Старики не могли припомнить такого пожара!.. А он, этот поганец, бродяжка этот, представьте – цел и невредим! Даже во всем признался

– давно, видите ли, кофе не пил, так задумал сварить себе кофе. В тот день сильнейший ветер дул, какой обычно только осенью случается.

Нам-то это только на руку было – нежарко работать, но как запольхало! Думали: все, конец. Всем крышка. Страшное дело! Огненный смерч! Столетние деревья как просмоленные спички вспыхивали!.. Все наши сбережения, все надежды. Жалко, тогда не снимали на телевидение. И еще надо было расплатиться с рабочими. Нас под суд хотели отдать – преступная халатность. А в чем халатность? Будто бы он не мог принести

спички в кармане! Мы тут были совершенно ни при чем. Пострадавшие. Разве что дверь не заперли, но кто ж в таких сторожках дверь запирает? Там и замка-то, я думаю, сроду не водилось. На двести километров – ни души! Самый гигантский пожар в двадцатом веке. Даже во время войны ничего подобного не случилось.

Между прочим, еще и сегодня можно найти следы. Тогда все газеты об этом писали. Но что, вы думаете, сказала Юханна, когда про это услышала? Слава богу, что ты остался жив, – вот что она сказала! И все! После того, как мы с ней два года во всем себе отказывали, откладывали каждую копейку! В праздник кружки пива не выпили. Такая была женщина... Что правда, то правда – такой женщины во всем свете не сыщешь. Даже в последние свои дни, когда уже не было никакой надежды... – Он сникает, кажется, даже плачет. – Я все не верил...

Врачи откровенно говорили. А я думал: не может быть, чтобы моя Юханна сдалась... До самого конца...

Фру Юнсон вздыхает и принимается утешать.

– Это всегда случается именно там, где в семье любовь, – замечает она дипломатично.

– Да, – подтверждает Мартин. – Никогда, ни единого раза за все двенадцать лет – ни единой размолвки, ни единой ссоры – никогда!..

Гости отводят взгляды в сторону – они несколько смущены такими безудержными похвалами в адрес бывшей супруги в присутствии нынешней. Господин Юнсон откашливается и пытается переменить разговор.

– Да уж!.. Если нет удачи... – начинает он рассудительно, но Мартин не позволяет ему развить эту мысль:

– Ни единой ссоры, ни одного даже самого пустячного спора! Нет, один раз... Один раз все-таки поругались, – признается он, не в силах преступить собственной честности. – Из-за повозки. Это когда мы в лесничестве жили. Удалось устроиться на работу в лесничество. Да, счастье еще, что не весь лес в стране сторел окончательно. Кое-что осталось, чтобы я мог устроиться лесничим. И это были самые счастливые наши годы – поженились, вопреки родительской воле, и стали жить в лесничестве. Запрягаю я однажды лошадь, а она говорит: куда это ты собрался? Куда? В город! А она говорит: я предупредила тебя, что сегодня я еду в город! Это Мне как раз годик исполнился, она с Миной хотела ехать. Я говорю: ничего не случится, если поедешь в другой раз, допустим, завтра. А она говорит: нет, я поеду сегодня, а ты, если хочешь, поедешь, куда тебе надо, завтра! И так разругались, целую неделю потом не

разговаривали. Хотя я ей, конечно, уступил.

– Вы могли поехать вместе! – замечает фру Юнсон – толковая женщина.

– Не могли, – крутит Мартин головой. – Кто-то должен был оставаться. После того случая... Не хватало нам еще одного пожара! Поссорились. Мне что было обидно? Я ведь с товарищами сговорился. Не станут же они до завтра меня дожидаться! Раз в кои-то веки захотелось выбраться, посидеть с друзьями... А она тоже имела какие-то свои планы... Но это был единственный раз. За все двенадцать лет.

– Если нет удачи, – пытается, воспользовавшись паузой, господин Юнсон довести до конца свое рассуждение, – то уж ничего не получится. Хоть убейся, хоть что хочешь сделай!..

Я смотрю на экран телевизора, по которому сквозь сказочный лес – как в детских книжках – движутся длинноволосые голубоглазые воины, крепко и прямо восседающие на своих тяжеловесных конях. Каждого из них где-нибудь ждет его Юханна. Неповторимая женщина. Мартин, верно, потому и женился на мне, а не на одной из своих соотечественниц, чтобы не возникло соблазна сравнивать.

– А у нас однажды, – подхватывает эстафету воспоминаний фру Юнсон, – шторм случился. Такой шторм!.. Буря!.. Поселок наш стоял в трех километрах от берега, но и у нас деревья валились, как досточки.

Крыши с домов срывало!

Спасает нас Линда. Ей, видно, не впервой слышать историю со штормом и летающими крышами, и она деликатно напоминает, что им должна позвонить иногородняя бабушка. Фру Юнсон подхватывается и уводит свое семейство. Мартин провожает их до дверей и убеждает заходить почаще.

– Да, дорогая!.. – произносит он, возвращаясь в столовую и без сил валясь в свое любимое кресло. – Один-единственный раз...

Единственный случай... В газетах писали: сто лет не было такого пожара...

Я понимаю: прием гостей, да еще с детьми, – дело нешуточное даже для такого неугомого человека, как Мартин. Так и задремал в кресле.

Правда, когда я принимаюсь убирать со стола, он тут же привычно скидывается:

– Нет, нет, дорогая... Иди ложись... Отдыхай. Я сам...

– Ты тоже устал, – вяло сопротивляюсь я. Все-таки жалко его. Да, но, в конце концов, не я это все затеяла. И нужно еще уложить ребят – они в таком возбуждении от всех этих игр. Не так-то просто будет их

утихомирить.

Все замечательно, говорю я себе, опускаясь на тахту, в конце концов, не так уж плохо провели время. Юнсоны – вполне симпатичные и, надо полагать, порядочные люди. Куда приятнее иных гордецов... Можно подумать, что я всю жизнь вращалась в светском обществе... В академических кругах... Ничего подобного. Вспомнить только – мои ленинградские сослуживицы... Те еще интеллектуалки! А вышестоящие начальнички? Надутые болваны с партбилетами в кармане. Набитые жиром мешки с двумя подбородками и тремя цитатами из товарища

Маркса-Брежнева. А я, между прочим, при встрече почтительно с ними здоровалась. Хоть и невысокая власть, но опасно близкая. Ежедневно ощутимая. Серая мышка должна проскользнуть незаметненько. Чтобы пуговка, не дай бог, не оборвалась. Кивали – величественно. Но отчасти даже и благосклонно. Милые мои Людмилы Аркадьевны и Татьяны

Степановны! Акакии Акакиевичи женского пола... Заветная мечта – норковый воротник в рассрочку! Представьте, как повезло товарищу

Бадейкиной – ухватила очередь на ковер! Блаженны... Блаженны нищие духом... Нужно будет осведомиться у Паулины, пусть разъяснит, как христианские мужи трактуют это высказывание. Нищие духом – это ведь не те нищие, что стоят на паперти. Это скромные люди, живущие на советскую зарплату. Утомленные бытовыми проблемами женщины, мечтающие об итальянских сапогах. О нечаянном прекрасном кавалере, который возьмет и пригласит в кафе “Север”. Блаженны товарищ

Бадейкина и Краснопольская...

Что-то вдруг толкает меня изнутри: забыла, не сделала чего-то!..

Любино письмо! Где оно? Нужно встать... Куда я его сунула? Неужели так и осталось на кухне? Мартин обычно откладывает всякие бумажки на полку. Нужно пойти посмотреть. Да, но, с другой стороны, никуда оно до утра не денется. Завтра прочту. А Мартин – вот ведь человек – раб прилежности и аккуратности! Гремит тарелками, наводит порядок.

Сдается мне, посуда могла бы постоять до утра... Но нет, он этого не переживет. Ни за что не допустит... Наверно, и Юханна была такая же рачительная аккуратистка. “Ни единой размолвки”... У нас с ним тоже ни единой размолвки. Даже из-за повозки ни разу не поругались. Мы, правда, не двенадцать лет женаты, всего лишь десять. Как говорится, все еще впереди. Исторический пожар... Величайшее событие всей жизни. Даже более потрясающее, чем смерть Юханны. Женщины, хоть и молодые, время от времени умирают, а пожар – раз в сто лет... Весь лес в двух лендах...

Под Ленинградом у нас лес мрачный, сырой. Сыр-бор... Вряд ли

сумел бы столь стремительно воспламениться. Требовалось немалое мастерство, чтобы разжечь нашу общую дореволюционную кухонную плиту.

Вначале подкладывали под тоненько наколотые и в течение недели или двух просыхавшие в коридоре полешки березовую щепу и только потом уже осторожно подсыпали из ведра уголь. Амира Григорьевна, как правило, руководила операцией. Мерзлячка. Вечно ходила закутанная в платок. Зимой хорошо в лесу... Снег и никаких комаров. Мы с Любой идем с саночками за елкой... Рискованная и сложная операция. Но у нас, в случае чего, надежный защитник – дядя Петя. Люба тянет саночки, а я бегу сзади и поддерживаю макушку. Чтобы не обтрепалась о снег...

До чего же громадная квартира! Сколько же семей тут проживает? Нет, не все семейные, есть и одинокие. Макар Деушкин, например. Амира Григорьевна. Кухня – настоящий стадион. От буфета до стола – только Любушка смогла! И этот торт... На деревенских праздниках выставляют такие торты. Не в России, конечно. В России ничего не выставляют.

Кроме самогона и портретов вождей. Торт для Книги Гиннеса. Как только Мартин его дотащил? Снежная баба, гора!.. И главное, как прикажете его резать? Тут не нож, тут пила требуется. Сабля...

Первый кусок Люсеньке – милой моей Люсеньке. Долгожданная гостя!..

Сколько ж это лет мы не виделись? Наконец-то выбралась заглянуть...

А то, понимаете, все дом, работа... Шляются, Люсенька, тут всякие, донимают расспросами: как вам удалось вырваться из России? Надоели.

Какая им разница, как... Молодец, что пришла. А это кто же?

Фринляндкин? И Фринляндкина своего притащила? Умница! Он ведь у тебя гордец, нас, мелкоты, сторонился. Пренебрегал нашим обществом.

Большая честь – познакомиться с блистательным Фринляндкиным, кумиром питерских студентов и вольнодумцев. В основном студенток. Разных педагогических, библиотечных и полиграфических вузов. Люсенька полиграфический кончала. Фринляндкин однажды увидел ее – в кружке любителей русской словесности – и полюбил. Ну, может, не так уж сильно полюбил, однако приветил. За то безмерное обожание, что светилось в ее голубых глазах. Даже стихи ее похвалил...

Интересный тип этот Фринляндкин. То есть не такой уж потрясающе обворожительный, как нам представлялось: довольно даже потрепанный – заспанная, подслеповатая и довольно оплешивевшая фигура. Нет, не врубелевский Демон, никак... А это кто?.. Неужели Люсенькины

близнецы? Такие огромные, совсем взрослые?!. Впрочем, что ж я удивляюсь – столько лет утекло...

– Дорогая, – хмурится Мартин, – надеюсь, мы получим сегодня компот?

Что за язвительный тон? Как ему не стыдно! Неужели он не видит, что я и так с ног сбилась? Нет, все – в последний раз все эти гости, торты, компоты! Сидят, ухмыляются, языками чешут! Стол – стадион, до кухни – километр, и ни малейшей помощи! Кстати, как их зовут -

Люсиных мальчиков?.. Яша и Петя? Да: Яша и Петя. Яша и Петя Голядкины! Почему – Голядкины?..

– Не мог же я дать им фамилию Фринляндкин! – рокошет папаша близнецов. – В этом мире злобы и лжи!

Люсенька опускает глаза – прекрасные свои и вечно испуганные голубые глаза.

– Это мама, – объясняет она тоненьким звенящим голоском, – мама посоветовала нам, чтобы мы записали детей на мою фамилию.

– Да, – подтверждает Фринляндкин глухо, – незачем давать детям, родившимся в России, фамилию Фринляндкин. Это латышская фамилия, а никак не русская.

– Вообще-то, мне кажется, это еврейская фамилия, – уточняет Амира Григорьевна степенно.

– Да, – соглашается Люсенька робко. – И я, конечно, не хотела, чтобы дети страдали от антисемитизма...

– Голядкина! – фыркает Агнес. – Глупости, враки! Ее фамилия Голубкина.

– К вашему сведению, высокоуважаемая, это одно и то же, – цедит Фринляндкин сквозь зубы. – “Голяд” – это по-латышски голубь!

– Вот как? – Агнес не проведешь, Агнес – это вам не доверчивая Люсенька. – Откуда вы знаете? Вы что, латышский стрелок?

Мне удастся наконец отделить от торта бесконечно длинный, липкий, истончающийся к концу ломоть.

– Мне! Мне! Мне первому! – кричат, подскакивая на стульях и притопывая ногами, Петя и Яша.

Видно, что им нравится у нас – братьям

Фринляндкиным-Голубкиным-Голядкиным. Даже затевают, расшалившись, потасовку – пихаются плечами, локтями, выхватывают друг у друга из-под носа вазочки с компотом, сражаются вилками, каждый хочет завладеть блюдом и отхватить побольше от сладкой горы.

Конечно, детский праздник, но не такие уж они и дети... Люсенька

могла бы укротить своих отпрысков. Хотя, с другой стороны... Какая разница? Пусть себе...

– Теперь-то ты понимаешь, ты видишь, как я тебя любила! – обнимает Люсенька Фринляндкина за шею и жарко дышит ему в ухо. Потасканного и потрепанного, не слишком даже опрятного Фринляндкина. – Как душа моя тебя жаждала!.. – И тут же за столом, в присутствии всех, в том числе и собственных детей, принимается целовать его лицо, шею, грудь. Странно, странно... Страшное у нее лицо – одутловатое, желтое, глянцевитое. Но жутко молодое. До чего же молодо она выглядит! Такие взрослые дети, настоящие Митрофанушки, а она нисколько не постарела, даже напротив...

Тут какое-то недоразумение, думаю я. Какая-то подтасовка. Это совершенно на нее не похоже! Люсенька, вечная скромница... И до чего же... До чего молода!

Этот торт – он отвратителен! Я увязла, погибла в нем!.. Мартину непременно требуется потрясти гостей, а мучиться с этим несчастьем приходится мне! Нож застревает, гнется, и расстояния, расстояния!..

Братья Голядкины обстреливают друг дружку, а заодно и гостей косточками от сливы и от вишни.

– Да что же это такое?! – не выдерживаю я и швыряю нож на стол. - Это невыносимо, это дерзость, бесстыдство!..

И просыпаюсь от собственного крика. Вернее, хрипа. Мне плохо, тяжело, душно... Веревка, удавка... Я судорожно вожу рукой по груди, по шее, пытаюсь расслабить веревку – проклятую несуществующую веревку...

Люсенька. Как же я не вспомнила?.. Как я могла не вспомнить?

Неудивительно, что такая же молодая... Семнадцать лет прошло. Люся, ты теперь на семнадцать лет моложе меня... А ведь дети-то были не два мальчика – мальчик и девочка. Мальчик тоже умер – года за два до нее. С ним от рождения было что-то неладно. А они с матерью все же успели получить двухкомнатную квартиру. Барабашев, как только узнал, что Люся родила двойню, тут же распорядился предоставить двухкомнатную квартиру вне очереди. У черта на рогах, где-то за

Автово, но все равно: собственная двухкомнатная квартира! Боже, как возмутился весь наш сплоченный коллектив. Какие всколыхнулись страсти! Как вдруг все возненавидели безвиннейшую тишайшую Люсеньку

– нахалка, прохиндейка! Нарочно подстроила себе близнецов. Конечно, разница не столь уж существенная – четыре человека проживают на двенадцати метрах или пять. Родила бы, как все, одного, так еще лет

десять стояла бы на очереди. А так – всех обскакала.

Фринляндкин не выдержал отцовства – не мог такой великий человек выносить вопли двоих младенцев! И тещу в придачу... Он и раньше не особенно баловал Люсеньку своим присутствием, заявлялся, в основном, когда оставался на жизненной мели. И всякий раз – независимо от того, уходил или возвращался, – давал понять, что полностью и безнадежно ею не понят. Трагически не понят. В лучших своих, возвышеннейших устремлениях. Однажды, помнится – Люсенька была уже на сносях, забрал всю ее зарплату и купил своей приятельнице тридцать алых роз на день рождения. Мы потом собирали ей пятнадцать рублей до получки.

Хотя, в сущности, глядя со стороны – что уж такого страшного? Ну, допустим, не повезло с замужеством. А другим повезло? Жила ведь, трудилась – не хуже людей, семья: дочь, мать. И работа чистенькая, приличная, неутомительная. Чего ей не хватало? И не забудьте – отдельная двухкомнатная квартира! Не могли же отобрать у нее квартиру только из-за того, что муж ушел, а мальчик умер.

Люсенька, голубчик мой, херувимчик, ангел небесный!.. Это только по ночам, только по ночам глаза живых наполняются слезами... И то, если правду сказать, не так уж часто. Душа немеет, забывает тех, которых не стало. Но почему – веревка? Не было никакой веревки! Она умерла естественной смертью. Хотя действительно неожиданно. Скончалась от приступа астмы. Так, во всяком случае, нам объявили... Разве у нее была астма? Кто знает, все может быть. У каждого может случиться астма.

А торт, говорят, во сне видеть – хорошо: к достатку. К богатству!

Как же всколыхнулся, как разыгрался весь подлый издательский люд, какой возмущенный ропот стоял на похоронах – вы подумайте, это надо же: двухкомнатная квартира остается старухе с девчонкой! На двоих – двухкомнатная квартира!.. Хотя, впрочем, – Фринляндкин. Фринляндкин все еще числился прописанным на той же жилплощади. Почему -

/Фринляндкин?/ Фридлянд была его фамилия. Люсенька всегда звала его по фамилии. Так что и он мог претендовать. На вполне законном основании.

Любино письмо как сквозь землю провалилось! Ни на полках, ни в ящиках, ни на кухне, ни в комнате, ни на письменном столе, ни на комодке, ни в комодке, ни на подоконнике, ни в туалете – что за напасть! Куда оно могло подеваться?

– Не знаю, – бормочет Мартин, – не знаю, дорогая... – Даже несколько неодобрительно бормочет – нету у него возможности следить за чужими письмами, и так хлопот полон рот. Каждый должен сам заботиться о своих бумагах.

Разумеется – смешно было и спрашивать. Он никогда ничего не знает.

Не знает и не помнит. Кроме своего великого пожара на два ленда.

Неужели мальчишки утащили? Зачем? Нет, не похоже на них...

Я в десятый раз выдвигаю все ящики – все то же самое: дурацкие бумаженции, счета, квитанции, заказы на переводы, квиточки чеков, банковские отчеты. Есть и письма – и от Любы, и от Дениса, – но старые. Несколько открыток от ленинградских приятельниц, несколько от иерусалимских знакомых. Мамин дневник, благодаря голландскому посольству спасенный от небытия. Обыкновенная ученическая тетрадка.

Общая. У меня были почти такие же. В старших классах. В линейку и в клеточку. В клеточку мне больше нравились. Я по всем предметам писала в клеточку, в старших классах это разрешается. Обложка совсем уже скукожилась – коричневая дерматиновая обложка... Непонятно – казалось бы, лежит себе в ящике, вдали от разрушительного действия света и влаги, а все равно коробится и трескается. И бумага желтеет, и записи бледнеют. Зачем она записывала? Считала своим долгом фиксировать происходящие события? От горя? От одиночества? Оставить память? Не уйти бесследно? К кому она обращалась? К дочери, внукам, потомкам? Надеюсь, он помогал ей, этот дневник... Люди тогда иначе мыслили и иначе чувствовали. Покажите мне сегодня чудака, который бы вел дневник! Разве что какая-нибудь девчонка двенадцатилетняя, да и то такая, которая не умеет кататься на коньках. Взрослым сегодня некогда. Может, следовало бы издать его? Но, с другой стороны, для чего? Для кого?..

Сколько их велось, таких дневников, во дни бедствия и гибели?

Десятки? Тысячи? Где они теперь? Заглядывает в них кто-нибудь?

Мне было пятнадцать лет, когда я впервые увидела эту тетрадку. Люба взялась наводить порядок и нашла на дне комода. А меня от прикосновения

к этим листам будто током прожгло. Будто вдруг почувствовала ее рядом. Все затрепетало, забилося внутри. Встреча...

Будто припала к ней, будто она обняла... Мама, мамочка...

Много воды утекло с тех пор – и в Неве, и в прочих реках.

Не совсем, конечно, дневник – дат не хватает, многие записи явно сделаны позже. Многого дополнено в те последние два года, когда она уже не вставала.

Может быть, издам когда-нибудь и укажу: /Благодаря любезной помощи голландского посольства... /Благородные люди. Воистину заслужили всякия почести и благодарности. Никто их не принуждал. По собственной доброй воле взваливали на себя дипломатические неудобства и хлопоты, помогали нам выбраться из окаянной пропасти беспамятства, очнуться от дурного/ /сомнения. А кто мы им? Не родственники и даже не однофамильцы...

“9 октября 1941 г.

Иду сегодня в техникум и вдруг вижу на дереве яичницу.

Яичницу-глазунью – из одного яйца, но самую настоящую. Свеженькая такая, висит в ветвях. И знаю ведь, что на дереве не может быть яичницы, яичницы даже в мирное время не растут на ветвях, но мысленно примеряюсь, как до нее добраться. И оглядываюсь в страхе – чтобы кто-нибудь не опередил. Потом, конечно, сообразила, что это желтый лист, застрявший в серебристой осенней паутинке, но так жалко было расставаться с этим обманом зрения...”

Мамин почерк. Почерк важен, особенно для дневника. Угловатый, нервный почерк человека, поставленного в крайние обстоятельства. Но еще не сдавшегося. Еще грезящего яичницей. Почерк – часть личности, ее отпечаток. Человек уходит, а почерк живет, свидетельствует.

Бледнеет, выцветает, но живет. “Я ведь не вздор говорю; я согласен, во всем Петербурге не найдешь такого почерка, как твой почерк...”

Такого, может, и не найдешь, но есть нечто общее для каждой эпохи, нечто позволяющее безошибочно установить место и время. Отчего у них в Петербурге были такие вот великолепно отточенные почерки, а у нас уже совершенно необязательные? Другая система обучения? Новая мода?

Хотя какие сегодня почерки! Сегодня вообще уже нет почерков: эйбизмовские машинки, компьютерные шрифты, сплошная нивелировка.

Перо не дрожит, и душа не трепещет. И никаких вам черновики для любопытных потомков. Каждая страница стандартна и непогрешима. Даже если сочинитель сто раз переделывал какую-нибудь фразу – никаких следов. А прежде не то что у летописцев и сочинителей, у каждого писаря

имелся свой “стиль”. Производственный секрет. “Ускорил перо!”

“26 октября 1941 г.

Антонина Савельевна говорит, что из Киева, Одессы и других мест доходят скверные слухи...”

Да уж, куда сквернее!..

“2 ноября 1941 г.

Хочется зажать уши, закрыть глаза, ничего не слышать, не видеть, не читать. Для меня теперь важно только одно – удержать наш треугольничек: Сережа, я, Ниночка, – Сережа и Ниночка, а я посередке, чтобы они существовали, не исчезли. Только бы с ними все было благополучно, а на большее уже не остается сил. На большее нельзя претендовать. Надеюсь...”

Часть записей сделана чернилами, часть – карандашом, то химическим, то простым. Некоторые страницы потускнели больше других. И тут неравенство. Иногда чернила сменяются карандашом буквально на полуслове – может, писала на уроке, пока студенты решали задачи, а потом продолжала дома. А может, и на другой день. Обстрелы тоже мешали...

“16 ноября 1941 г.

Когда близко падают бомбы, кажется, что сейчас наступит конец, все рухнет. Дом шевелится, как живой, будто хочет бежать от этого всего.

Иногда даже как будто согласна – мгновенная смерть, и все. Чем такая жизнь. Жалко только ребенка. Конечно, нельзя падать духом, нужно держаться, нужно верить в победу, другим труднее...”

“25 ноября 1941 г.

Из ночи в ночь преследует один и тот же сон: будто бы точно знаю, что это вранье, неправда: Бадаевские склады вовсе не сгорели, ничего подобного, все цело, но по какой-то причине нас обманывают, не подпускают к ним, а может, они на территории, оккупированной немцами. Решаюсь пробраться потихоньку, проскользнуть, ползу ночью, как разведчик, по грязи, по снегу, и всегда один и тот же конец: натыкаюсь на колючую проволоку, начинаю подкапываться под нее снизу, ни лопаты с собой, ни ножа, ничего, рою руками, уже просовываю в дыру голову, и в это время на меня кидается огромная собака. Иногда просыпаюсь от ужаса, а иногда продолжаю с ней бороться: пытаюсь задушить, слышу, как она хрипит, но дальше все равно не удастся продвинуться. А еще говорят: видеть во сне собаку – обрести друга.

Если бы все эти сны оправдывались, сколько бы друзей уже было!”

“28 ноября 1941 г.

Только бы не пропало окончательно молоко – пока есть хоть какие-то капли, есть надежда, что ребенок выживет. Ведь материнское молоко для него не только питание, но и витамины. С одной стороны, советуют побольше пить, а с другой – предупреждают, что избыток воды в организме ничего не дает, только разжижает кровь. Не знаешь, кому верить...”

“5 декабря 1941 г.

Все время неотступно мучает мысль: почему не сделала запасов? Ведь можно было, можно! Дома у нас всегда что-то хранилось, мама и бабушка заготавливали на зиму соленья, варенья, а помимо этого всегда имелся куль муки, куль крупы. Почему мы стали так беспечны?

Привыкли – со студенческих времен – перебиваться со дня на день, как пташки небесные, по дороге с работы забежишь в магазин, что-то купишь, полкило хлеба, 200 грамм колбасы, к утру, глядишь, все подметено-подъедено, в доме ни крошки, хоть шаром покати. Тонко, звонко и прозрачно. А ведь можно было на чем-то сэкономить, ведь есть продукты, которые могут лежать месяцами, годами, – крупа, сахар, жиры. Непостижимое легкомыслие, непростительная глупость!

Перед самым началом войны купила себе модельные туфли. И еще радовалась, как малое дитя, что достала. Кому они теперь нужны? За них ничего невозможно получить. Ни деньги, ни вещи не имеют никакой цены, разве что золото и драгоценности. Люди умирают, вещи остаются.

Говорят, умерших уже перестали регистрировать – то ли некому, то ли это стало неинтересно. А у меня развилась мания: во время урока – дам учащимся задание, а сама сижу и высчитываю, на сколько дней мне хватило бы двух или трех килограммов муки, если бы в день расходовать по 200 грамм, по 150, по 100. По карточкам теперь дают

125 грамм хлеба. И вот я сижу и думаю: если бы у меня было три кило муки, то по 125 грамм в день...”

125 граммов. Я тоже помню эту цифру: школьное начальство позаботилось отправить нас, первоклассников, в музей на выставку

“Ленинград – город-герой”. И там очень наглядно демонстрировались эти сто двадцать пять граммов – тощенький темный ломтик. Это, как видно, тоже входило в общую картину героизма – что люди могли обходиться вот этим ломтиком дрянного, несъедобного хлеба да при этом еще трудиться на оборону. На особом стенде приводился состав

“муки”, из которой этот “хлеб” выпекался: мука ржаная дефектная – 50 процентов. “Дефектная” – прекрасное слово. Как видно, загаженная мышами или какими-нибудь иными вредителями, возможно, даже ядовитая, но другой не было. Не предполагали, конечно, никого ею

кормить, потому-то она и уцелела – вне знаменитых Бадаевских складов.

Хранили, может, клей сварить или еще что-нибудь в этом роде.

Большинство моих одноклассниц были либо из числа эвакуированных и вернувшихся в город уже после войны, либо вообще из семей “новых” ленинградцев. Их везли тогда целыми эшелонами – из Пскова, Луги,

Старой Руссы (городов сытых, хоть и побывавших под немцами), – им слово “блокада” ничего не говорило.

Еще один ингредиент из состава той же “муки”: отбойная пыль. Пять процентов отбойной пыли... Из чего и как ее отбивали?..

“...Если бы было, допустим, три кило муки, то по 125 грамм это выйдет на 24 дня. Значит, в течение 24 дней можно было бы съесть двойную порцию. А если бы у меня, допустим, было 23 кило муки, то этого количества хватило бы на целых полгода! А ведь это хоть и звучит фантастически, но в принципе не так уж невозможно – заготовить полтора пуда муки. Хотя тот, у кого есть полтора пуда муки, вряд ли станет ограничивать себя 125 граммами. Я тоже при таком богатстве не смогла бы удержаться, наверняка съедала бы больше

– грамм по 300 – 400 в день. Говорят, что столько получают члены райкомов. Но это правильно, так и должно быть, потому что в таких обстоятельствах самое страшное – это полное безвластие и бесконтрольность. Если не будет власти, то разнесут и булочные, и больницы, и ведомственные столовые, и вообще все. Кто-то должен руководить, и этим руководителям требуются силы. Но страшно подумать, что в конечном счете в пустом городе останутся только они...”

“9 декабря 1941 г.

Говорят, Япония напала на Америку. Звучит дико: неужели где-то есть Япония, Америка?.. Есть где-то что-то помимо нашего Ленинграда? Не могу себе представить”.

“25 декабря 1941 г.

Говорят, что, как только на Ладоге укрепится лед, наш техникум эвакуируют. Но когда это будет? Каждый прожитый день бесконечен.

Хотя норму хлеба вдруг прибавили: нам, преподавателям, выдают теперь

250 грамм. А я ведь именно об этом и мечтала. Может, это оттого, что столько народу уже умерло и не нуждается больше ни в чем?”

25 декабря – Рождество. Маме это, конечно, было невдомек и абсолютно не важно. Никто не устраивал в блокадном Ленинграде рождественских балов. Тем более, что и Рождество-то не православное, западное.

В России не так уж много католиков. Да и те, наверно, не дураки – все, как один, писались атеистами. Но все-таки интересно: /в те дни в это время... /Ровно сорок пять лет назад.

“3 января 1942 г.

Умерла Екатерина Васильевна. Я пришла домой и застала ее на кухне, она сидела вся застывшая, кажется, не узнала меня. Хотя глаза еще смотрели. Я видела, что для нее все кончено, но все-таки потащила ее зачем-то в больницу, она уже не могла передвигать ноги, а я не могла допустить, чтобы она умерла в моем присутствии без всякой помощи.

Дотащила на собственном горбу, но и в больнице никто ничем не поспособствовал. Там она и скончалась. А я пошла обратно и по дороге нашла довольно большую и сухую доску, очевидно, кто-то отодрал от забора, но потерял, может, сил не стало донести. Теперь нужно ее распилить, целиком она в нашу печурку не влезет. Топить необходимо, это и тепло для ребенка, и сухие пеленки. В квартире почти такой же мороз, как на улице, и сутками ничего не сохнет...”

“Вчера видела сон: будто прихожу в техникум, а там никого. С трудом нахожу какую-то уборщицу, спрашиваю, а где же все? Студенты, преподаватели? А она говорит: как это где? Третьёва дня всех отправили. Эвакуировали. Как?! А я? Как же я? Почему мне не сказали?

Не поставили в известность? А этого, говорит, мы знать не можем.

Бегу в кабинет к директору, директора нет, но за столом сидит

Лебедев, заведующий кадрами. Спрашиваю: как же так? Почему всех эвакуировали, а про меня забыли, не вспомнили? Мы, говорит, не забыли, а на вас не заполнен эвакуационный лист. Как это, говорю, не заполнен? Почему? Заполнен, говорит, но неправильно. И показывает мне – вот, смотрите: талоны продуктовые вам выдают на Тихвину Любовь

Николаевну, а тут вы значите Любовь Николаевна Техвина! Но что же, говорю, а сама не могу уже удержаться от слез, плачу, рыдаю, причем громко, в голос, как только во сне бывает, кричу в исступлении: что же, нельзя было вовремя в этом разобраться? Нельзя было исправить одну несчастную букву? Тут он вроде сжалился надо мной и подает новый лист, а там уже проставлена фамилия и написано: Любовь

Гренфильд. Я понимаю, что это моя девичья фамилия, но опять с ошибкой, даже с двумя: должно быть Гринфельд. Пытаюсь объяснить ему, а он начинает злиться, кричит на меня, вы, говорит, предумышленно ввели отдел кадров в заблуждение! Я плачу, умоляю его: помогите, сжальтесь, у меня дома грудной ребенок! В конце концов он вычеркивает “Гренфильд” и пишет “Гренка” – Гренка Любовь Николаевна.

Протягивает мне этот лист и говорит: пожалуйста, если вам эдак спокойнее! Так и проснулась, можно сказать, с этим листом в руках.

“Если вам эдак спокойнее!” И тут вспомнила, что у Сережи на курсе был украинец по фамилии Гречка. Тоже съедобная фамилия. Одно только съедобное в голову лезет...”

“5 января 1942 г.

Пришло письмо от Сережи, но очень давнее. Во всяком случае, полтора месяца назад он был жив. Где он теперь?..”

“8 января 1942 г.

Морозы стоят ужасные. В соседний дом попал снаряд, и вылетели почти все стекла. Но, кажется, квартир больше, чем людей. Во всяком случае, много пустых, из которых все жильцы либо эвакуированы, либо вымерли. А наша эвакуация по какой-то причине откладывается...”

“9 января 1942 г.

Ходят упорные слухи, что в Мурманске стоят эшелоны с продуктами для

Ленинграда...”

“28 января 1942 г.

Воды в трубах нет. От Невы до хлебозавода поставили цепочкой тысячи комсомольцев, лишь бы не прекращать выпечки хлеба. Кстати, моих учащихся тоже, все передавали воду ведрами из рук в руки. Некоторые от истощения падали, теряли сознание, а наша Женечка (она тоже была там) выронила полное ведро и окатила ледяной водой себе ноги. Но побоялась пожаловаться или выйти из шеренги, подруги привели ее вечером, можно сказать, без ног...”

“2 февраля 1942 г.

Говорят, что не только в Мурманске, но и в Тихвине, и в Волхове собраны эшелоны с продуктами для Ленинграда. Деревянных заборов больше не увидишь, разобрали на дрова, а старые деревья все еще стоят – верно, ни у кого нет сил пилить, а может, не разрешают...”

“22 февраля 1942 г.

Опять видела яичницу, почти на том же самом месте, хотя деревья стоят совершенно голые и прозрачные, нет вроде бы ничего такого, что могло бы ввести в заблуждение. Может, солнечный блик? Мороз свирепый, все от него костенеет, даже воздух. На этот раз точно понимала, что это всего лишь галлюцинация, но все-таки постояла, полюбовалась. Но она была не такая хорошенькая, не такая свеженькая и кругленькая, как три месяца назад, какая-то ссохшаяся и с одного боку словно обгрызенная...”

“Сегодня узнала, что умер Борис Петрович Вейнберг. Я когда-то

слушала его лекции. Он изучал проблемы земного магнетизма...”

“Говорят, со временем ученые создадут питательные пилюли – проглотить одну такую пилюлю, и она обеспечит организм всем, что ему необходимо в течение суток, – жирами, белками, углеводами. И чувства голода тоже не будет. Жалко, что и нас уже, верно, не будет...”

“2 марта 1942 г.

С организмом происходит что-то странное: всю ночь снилось, что жую что-то отвратительное, несъедобное, какие-то опилки, что ли, залитые мазутом, через великую силу глотаю эту гадость, но продолжаю набивать рот, не смею отказаться. Проснулась с мерзким вкусом во рту. И это уже не в первый раз. Впечатление такое, что желчь во сне подступает к горлу. Ниночке вчера исполнилось 10 месяцев. Она совсем не растет, головка маленькая, желтая, сморщенная. Сережа горевал, что родилась девочка, он хотел сына, а теперь я радуюсь, что девочка. Все говорят, что девочки выносливее, у них больше шансов выжить. Неужели через два месяца будет весна? Она ведь родилась весной...”

Желтая и сморщенная... Счастье, что тогда не было телеслужб и кинорепортажей – мир не имел удовольствия полюбоваться моей желтой и сморщенной головкой.

А вот оптимистическая запись:

“Теперь всем дают огородные участки, все скверы и пустыри будут возделываться, рассаду обещают обеспечить. Постараюсь как мать с грудным младенцем выпросить участок поближе к дому, не уверена только, что хватит сил вскопать, но, может, ученики помогут...”

“26 апреля 1942 г.

Днем бывает уже совсем тепло. Нужно открывать окно, чтобы вытянуло зимнюю сырость. Очень важно выносить Ниночку на воздух.
Кира

Владимировна так слаба, что боюсь доверить ей – еще, чего доброго, уронит. Я же сама в лучшие солнечные часы, как на грех, торчу в техникуме...”

“Снаряд попал в двенадцатый номер трамвая. Я оказалась неподалеку, возле булочной, вначале невольно зажмурилась от страха, а когда открыла глаза, увидела эту картину: было много убитых и раненых, раненые жутко кричали. Все валялось вперемешку: люди, кошелки, бидоны, корзины, лопаты, оторванные конечности. Не успели еще унести раненых, а некоторые уже кинулись подбирать морковь, редиску, пучки лука – их, видно, везли с огородов, они были залиты совсем еще свежей кровью. Пихали в сумки, даже в карманы, кто куда мог. Если подумать, то, конечно,

овощ – не хлеб, его можно отмыть...”

“23 августа 1942 г.

Яичница все на том же месте, где и в прошлом году, но теперь совсем никудышная: ссохшаяся, скукожившаяся, в середине какое-то темное пятно, даже не хочется смотреть...”

“Я должна рассказать про наших девочек...”

Должна! Про девочек должна рассказать, а про собственных родителей, брата, сестру – “стараюсь не думать”. Странно устроен человек.

“...про Женечку, Веру с Танечкой и Славушку. Если не я, то кто же про них расскажет? Не останется никакой памяти. Все четыре были такие милые, такие хорошенькие. Жене, Вере и Славушке исполнилось семнадцать, а Танечке, Вериной сестре, в начале войны было пятнадцать. Отцы ушли на фронт, а матери... Тяжело писать.

Совершенно нету сил, пальцы отказываются удерживать карандаш. И временами кажется: зачем, какая разница? Все становится безразлично.

Но постараюсь продолжить. Женина мама Марья Семеновна и бабушка

Клара Исааковна – обе, как на грех, оказались иждивенками и на второй же месяц умерли от голода, причем Марья Семеновна умерла раньше пожилой матери, я подозреваю, что она как-нибудь обманом отдавала дочери свой хлеб (100 грамм). Клара Исааковна протянула после нее недели две. А Верину и Танину мать Ирину Станиславовну убило во время обстрела, вернее, не убило, а ранило, но у раненых, как правило, уже не хватало сил поправиться. Умирили даже от самых пустячных царапин, а у нее, если не ошибаюсь, была оторвана кисть правой руки. Славушка жила не в нашем доме, так что я не в курсе ее обстоятельств. Столько людей умирало ежедневно, это сделалось обыденностью. Одно знаю точно: к тому времени, когда девочки собрались в нашей квартире, у них никого из близких не оставалось.

Все, кроме Тани, работали на предприятиях. Держались мужественно, как настоящие комсомолки...”

“Как настоящие комсомолки”! Подумать только!.. И это на фоне всеобщей бесславной гибели, происходившей по вине родных партии и комсомола. По вине своры головоотяпов и преступников, засевших на всех уровнях власти и не сумевших не только предотвратить блокаду, но даже элементарно спасти от уничтожения имевшиеся в городе продукты. Без стыда и совести продолжавших и после бадаевского пожара выписывать себе повышенные пайки и литеры! Мама, неужели ты действительно до такой степени была глупа и оболванена?

“До войны Женя, Вера и Слава учились в одном классе. Они дали слово не бросать друг друга ни в какой беде и действительно поддерживали сколько могли. Договорились, что у них все будет общее: любая еда, любой кусок хлеба, все, что только удастся получить или раздобыть. Я ими любовалась, восхищалась их выдержкой, их верой в победу. Рабочие на оборонных заводах получали усиленное питание, но это тоже было ничтожно мало, совершенно недостаточно для молодого организма, да еще при многочасовом рабочем дне. А когда перестали ходить трамваи, изматывала дорога. Вере на работу и обратно приходилось делать в день по десять, если не больше, километров. В такой жуткий мороз.

Так что, конечно, ничего удивительного, что все кончилось печально.

Но первой умерла не Вера, а Женя – окатила себе ноги ледяной невской водой. Это когда комсомольцев направили любой ценой доставить воду на хлебозавод. Простояла на морозе несколько часов с мокрыми обледеневшими ногами, пока не упала без чувств. Дома мы привели ее в сознание, но спасти ее было невозможно. Она сказала, что никак не могла выйти из цепочки, потому что ей было очень стыдно перед товарищами за то, что она не удержала этого ведра – ведь столько человек, еле держась от слабости на ногах, подняли его от Невы и передавали из рук в руки целый километр или даже больше, а она, расплескав эту драгоценную воду, свела на нет все их усилия... Вот о чем она думала. Двое суток в бреду все мучилась от своей неловкости и просила извинить ее, не сердиться.

Но я забегаю вперед. Я сначала хотела рассказать о том времени, когда девочки еще были живы. У нас, на нашей же лестничной площадке, в квартире напротив, незадолго до войны поселилась молодая семья – офицер с женой, перевелись к нам откуда-то с Дальнего Востока. Очень заметная пара: она – яркая пышная блондинка, а он – высокий сухощавый шатен с усиками. Но его я видела всего лишь считанные разы, он вскоре был отправлен на фронт, она осталась одна, но, как выяснилось, беременная на пятом месяце. Ничего ужаснее невозможно себе представить. Видимо, это ее положение и толкало ее на всяческие хитрости: она прилепилась к нашим девочкам, не знаю уж как, но сделалась завсегдатаем в нашей квартире, восхищалась их дружбой и всячески втиралась в доверие. Трудно поверить, но они приняли ее в свою компанию и стали делиться хлебом и всем, что у них было. Причем она без устали уверяла, что будет необычайно им полезна и вот-вот вложит свою долю в общий котел. Рассказы ее были столь подробны и красочны, что я сама в какие-то моменты невольно им поддавалась.

Она, например, утверждала, что на Выборгской стороне живет ее

тетка, с которой они летом успели наварить двадцать, если не больше, трехлитровых бутылей клюквенного и крыжовенного варенья, и половина всего этого богатства по праву принадлежит ей, и она дожидалась только снега, чтобы перевезти их к себе на саночках, и надеется, что девочки ей в этом деле помогут. И тут же прибавляла: „Это, правда, такой простреливаемый район, страшно туда и сунуться. Но обязательно надо пойти, а то тетка, старая зараза, чего доброго, вообразит, что я уступила ей свою часть”. А потом к этому варенью стали прибавляться и сухари, и сало – все каким-то образом от той же тетки, будто бы оставленные там на хранение. Многие в ее рассказах путалось и вызывало сомнение, но девочки всему верили. Она еще сетовала, что тетка, дескать, женщина пожилая и темная, не понимает, что варенье – это витамины, особенно клюквенное, а витамины – это поважнее, чем любой хлеб или крупы. Возьмет, чего доброго, и сменяет. И тут же приводила пример: вот Петровские в том месяце сменяли большую и довольно еще упитанную собаку на двадцать пять порошков аскорбинки. Вот что такое витамины! И без конца рассуждала, как следует все эти банки и бутылки завернуть и укутать, чтобы не разбились и, не приведи бог, не полопались от мороза, дорога ведь дальняя и трудная. И так далее в том же духе, каждый вечер почти в одних и тех же выражениях. Мы все были как-то зачарованы этими бутылками с вареньем и охотно собирались послушать, а девочки, хоть и смертельно усталые, просто не отрывали от нее взглядов. А хитрая рассказчица тем временем, как бы между прочим, успевала запихнуть себе в рот несколько кубиков драгоценного чужого хлеба или две-три ложки какой-нибудь похлебки. Все это видели. У Танечки от ее рассказов зеленые глаза сами делались как спелый крыжовник. Но она же в конце концов первая опомнилась и потребовала немедленно представить эту тетку с вареньем и прочие посулы. Тут мошенница почему-то растерялась – трудно понять почему, ведь если подумать, могла как-нибудь и дальше тянуть свою игру и находить новые достаточно правдоподобные отговорки. Но когда Танечка в тот день сказала: „Вы лжете! У вас нет никакой тетки! И никакого варенья нет!

Вы просто приходите к нам питаться!”, она не придумала ничего лучшего, как кинуться к себе в квартиру и минут через пять вернулась с поллитровой баночкой, в которой на дне плескалось нечто подозрительное и мутное. Я уверена, что она просто плеснула в банку немного воды и разболтала в ней горсть штукатурки – штукатурка у нас постоянно сыпалась во время обстрелов. Эту банку она стала пихать

Тане в руки и кричать: „Нет?! Нет, да? А это что?” Не знаю,

действительно она сошла с ума или только притворялась, чтобы девочки оставили ее в покое. Но если учесть ее живот – острый, как будто под юбку подложили утюг, – и кровавые цинготные мешки под глазами, то впечатление, конечно, было мрачное.

Самое удивительное, что она все-таки родила своего ребенка, кажется, мальчика. После варенья у нее появилась новая идея: она все время уверяла, что не может быть, чтобы люди умирали, успев съесть окончательно все припасы. По ее словам, в пустых квартирах, если порыться как следует, наверняка можно обнаружить припрятанные продукты. Дескать, человек не верит в возможность смерти, даже на краю могилы надеется на что-то лучшее, и как раз жажда выжить заставляет его быть осторожным, не съедать всего до конца, а откладывать хоть каплю на завтра. Нужно ходить и искать! Этим она и занималась с упорством маньяка – ходила по разбитым домам и искала.

Целыми днями, забывая совершенно про оставленного дома младенца.

Возможно, иногда что-то и находила. Во всяком случае, факт, что она пережила всех девочек. Я, честно признаться, ее не на шутку побаивалась...”

“Чувствую, что пишу нескладно. Нет сил – ни физических, ни душевных.

Но я обязана рассказать...”

Никому ты, мама, ничего не обязана...

“Все началось с того, что, когда я была у мамы в Несвиже – летом сорокового года, мы с Сережей тогда только поженились, – она чуть ли не силой заставила меня забрать бабушкины сережки с бриллиантками.

Я не понимала зачем, была уверена, что в жизни их не надену – кто же в наше время носит бриллиантовые серьги? Но она настояла на своем:

„Ты не наденешь – твоя дочь наденет”. Как будто предвидела, что у меня будет дочь. То есть нет, как будто она знала, что ей самой эти серьги в любом случае уже не помогут. Я постеснялась признаться

Сереже в существовании этих серег, мне было стыдно, что у меня такая буржуазная семья. От мамы же у меня имелись и золотые часики с эмалью – подарок на свадьбу, но часы – это хотя бы полезная вещь и преподавателю действительно необходимая.

И вот в конце августа я зашла в техникум – занятий еще не было, в коридорах пусто, – подходит ко мне наша завхозиха и начинает ни с того ни с сего нахваливать мои часики, какие они, дескать, изящные и старинные, и вдруг спрашивает: „Не желаете ли, Любовь Николаевна, сменить их на продукты?” У нее, дескать, есть возможность посодействовать. Я,

помнится, в первый момент ужасно испугалась – зачем мне встречать в какую-то сомнительную сделку? И вообще, голода тогда еще не было, никто и предположить не мог, что мы увязнем в этой войне так глубоко и надолго, а неприятности вполне могли выйти, и весьма серьезные. К тому же и часов было жалко – как-никак мамин подарок. „Нет-нет, – говорю, – что вы! С какой стати?..” Но вернулась домой и всю ночь не могла уснуть от ее слов. Ночью вдруг все представилось совершенно в ином свете. А под утро пришло словно озарение какое-то: война – это война, как бы быстро она ни кончилась, но хозяйство разрушено, продукты будут дорожать. Кто знает? Сегодня мне за них дадут больше, чем через месяц или два.

Стала себя уговаривать, что бояться особенно нечего: все вокруг как-то крутятся, что-то покупают, перепродают, не я первая, не я последняя! У меня, в конце концов, грудной ребенок... И тут вдруг вспомнила про серьги. Когда не собираешься какой-то вещью пользоваться, она словно бы и существовать перестает. А тут думаю: зачем мне отдавать сейчас часы? Они мне еще пригодятся. А сережек этих у меня никто никогда не видал, так что в случае чего и отпереться легче. А дальше все пошло как в какой-то странной сказке: завхозиха привела меня к своей то ли свояченице, то ли соседке.

Маленький деревянный домишко на краю города, форменная развалюха, и прямо в холодных сенях стоят несколько бочек со сливочным маслом

(наверняка ворованным, откуда в наше время у городского жителя может быть бочка масла?) и прочей какой-то снедью, я не заглядывала. Это обстоятельство меня снова повергло в ужас – такие размеры хищения, – но отступить показалось поздно. Мы еще поторговались, причем завхозиха оставила нас вдвоем, так что я беспрепятственно отдала не часы, а серьги. Часы я на всякий случай сняла с руки и спрятала на груди – кто их знает, что за публика. Кстати, эта баба без устали твердила о своей честности, что я могу ей полностью довериться, к ней, дескать, люди годами ходят и я и впредь могу сколько угодно обращаться, она в жизни еще никого не обчитала и не обманула. После всех этих уверений она отвалила мне за мои сережки увесистый брусок хорошего, абсолютно свежего сливочного масла и еще два кило крупы сунула в придачу, как бы от собственной щедрости – мы о крупе и не говорили. А менее чем через полмесяца немцы разбомбили Бадаевские склады! От души надеюсь, что и масло, и крупа были украдены именно там.

Дома я переложила масло в стеклянные литровые банки и залила соленой водой – мама всегда так делала, чтобы не прогоркло...”

Мама, видно, забыла, что собиралась говорить о девочках, слишком увлеклась историей масла и своих бесконечных хлопот по поводу его хранения и перепрятывания. Впрочем, ее можно понять... Никто, кроме

Киры Владимировны, моей няни, не знал о его существовании. И потом тоже никто не знал. Я думаю, что мама и отцу не призналась, каким образом ей удалось выжить. А дневник мы с Любой нашли, когда их всех уже не было на свете. Так что одна только Люба и посвящена в секрет моего существования – живу на свете благодаря украденному откуда-то маслу. И следовательно, и мои дети – все четверо – существуют благодаря этому маслу, приобретенному за бабушкины бриллиантовые сережки у свояченицы техникумовской завхозихи. Но Люба – женщина практичная, ее в этой истории ничто не смутило. Действительно, не могла же мама делиться своим драгоценным маслом с кем попало – с соседями или с теми же, допустим, девочками... С девочками, может, и следовало бы капельку поделиться – милые девочки, славные комсомолки, на ее глазах умирали от голода, и она очень им сочувствовала, безумно сочувствовала, но масло свое продолжала прятать. Дело житейское: человек спасает себя и своего ребенка.

Все-таки перепрятывание собственного масла простительней доноса или иных видов борьбы за выживание. Кто знает, каким уловкам обязан своим существованием любой из живущих? Люди неподкупные и безгрешные имеют мало шансов задержаться на этом свете.

Почему я никогда не попыталась хоть что-нибудь выяснить о бабушке и дедушке? Почему никогда не побывала на месте их гибели? Хуже того – рядом, в двух шагах от Несвижа, таскалась с каким-то студенческим походом по каким-то мерзким белорусским болотам и ни разу не подумала, что тут рядом, во рву, затопленном вонючей водой, лежат мои родные бабушка и дедушка. Спала на земле, наполовину погруженной в ледяную зеленоватую жижу, и не вспомнила. Прожила в России тридцать один год и ушла легко и беззаботно. До чего же звонкая и веселая была у нас юность... Песни у костра, шутки, прибаутки, литературные викторины...

А история с девочками имеет продолжение. То есть не с девочками, а с той обманщицей, офицерской женой:

“Когда девочек уже не стало, она нашла себе новую подружку. Та поселилась у нее – не то приглядывать за ребенком, не то просто чтобы веселее было. И, видимо, заразилась ее безумием: несколько раз ловила меня на лестнице и с жаром объясняла, что она беременна и непременно должна сделать аборт. Чтобы я помогла ей найти врача. Я сразу поняла, что это бред. „От кого же, – говорю, – вы можете быть беременны?” Она стала

сочинять, будто бы познакомилась с каким-то человеком – одним словом, всякую чушь. А сама уже еле передвигалась.

Но эта тревога по поводу мнимой беременности ее, видимо, отвлекала от мыслей о скорой неизбежной смерти...”

Судьба золотых часиков с эмалью так и осталась недосказанной.

Наверно, и они впоследствии проделали тот же путь в “маленький деревянный домишко на краю города”. Во всяком случае, я их у мамы не видела.

Жестоко и бессердечно, сказали бы мы сегодня, без конца оставлять десятилетнюю девочку одну возле умирающей матери. Но тогда смотрели на жизнь иначе. Никого это не трогало. Что касается меня самой, то я мало себя замечала, мне было безумно жаль маму и нестерпимо обидно, что отец ее не жалеет. Но, видимо, ребенок не умеет сочетать свои чувства с действиями. Было до ужаса, до онемения в груди, до перехвата дыхания жалко ее, но это не мешало вдруг подхватиться и по первому зову, донесшемуся с улицы сквозь распахнутую форточку, нестись с подружками на каток. Она не удерживала меня, только вздыхала: “Еще бы, как можно! – отстать от драгоценных подруг!”

Ребенок все воспринимает как должное – как единственно возможное. У меня была больная мать. Все это знали. Это было так – больная мать.

И был статный, пригожий, молодцеватый отец. Который целыми днями пропадал на заводе. И ночами тоже – он был заместителем начальника цеха, в котором трудилась добрая тысяча вечно нетрезвых и малосообразительных пролетариев. Бывших пролетариев, а ныне строителей коммунизма. И пролетариями, и строителями, и пьянчугами их сделала советская власть, а прежде, не так уж давно, они были простыми крестьянскими парнями и девушками, наверно, достаточно добросовестными, смекалистыми и работающими. Может, не такими, как

Мартин и Юханна, но подобными им. Строительство коммунизма потребовало много покорных рабочих рук для постоянного перевыполнения плана – привычных, запланированных авралов. Под конец месяца отец проводил на заводе безвыходно по несколько суток подряд.

А мама тем временем постанывала на своей кровати. У нее была инвалидность первой группы.

Но и в начале месяца, когда, отрапортовав о достижениях, завод погружался в дремоту и простой, отец все равно избегал бывать дома.

На коммунальной кухне его поведения не одобряли. Что выпивает – кто теперь не пьет? – не вызывало серьезных осуждений, но что гуляет – а, по их рассказам, гулял он со всем женским составом цеха, – что так открыто гуляет при живой жене, это уже не укладывалось в их представления о нравственности. Избранницы его разбирались по косточкам во всех подробностях. Получалось, что все они как одна пропащие и бесстыжие. Пробу ставить негде. По воскресеньям он иногда

сидел за столом, пил крепкий чай, ерошил пятерней свою великолепную шевелюру – откидывал упрямые льняные кудри и читал газету.

Воспользовавшись моментом, мама, чуть приподнявшись на подушках, неуверенно произносила: “Сереза...” Он продолжал читать, словно не улавливал ее призыва. Она подавленно вздыхала и снова пыталась подступить к нему: “Сереза, я не могу видеть, как ты себя убиваешь... Не могу на это смотреть! Если ты себя совершенно не жалеешь, пожалей хотя бы ребенка... Подумай – с кем она останется?”

Кончалось дело обычно тем, что он швырял газету на стол (а то и на пол), поднимался и уходил. Иногда бросая ей в ответ: “Ты когда-нибудь прекратишь свое нытье?!” Но пока он напяливал пальто и шапку, пока вдевал ноги в сапоги (а позднее в полуботинки), она успевала продолжить: “Прекращу, Серезенька, прекращу... Гораздо скорее, чем ты думаешь... Но что же будет с Ниночкой? Сереза, что же будет с Ниночкой?! Ведь тебя выгонят! Тебя уволят. Кто же станет терпеть это постоянное беспробудное пьянство?.. Ты себя не помнишь!

Ты не понимаешь, что ты делаешь. Ты же руководитель, коммунист, пример!..” Последние фразы произносились, как правило, уже впустую, в плотно захлопнувшуюся за ним дверь. Чтобы не видеть ее слез, я уходила на кухню мыть посуду. И слушала: “Бесстыдник! Мартовский кот! Хотя бы людей посовестился! Недолго небось ждать-то осталось – совсем ведь она плохая. Мог бы и погодить малость”.

Соседки ошибались. Мама прожила еще два года. Два года! Временами ей даже становилось легче. Она опускала распухшие, как кувалды, ноги на пол и принималась потихонечку передвигаться по комнате, стараясь исправить какие-то погрешности моего неумелого хозяйствования. А я с младенческой наивностью тут же начинала верить, что теперь она поправится, выздоровеет, как выздоравливают от гриппа или ангины, станет крепкой и бодрой, как все другие матери, и все у нас пойдет счастливо. Радость заливала меня всю – от макушки до пят, но ненадолго.

В последний месяц почки у нее совсем отказали, организм оказался отравленным ядами, которые час за часом пропитывали все клетки тела и мозга, начались галлюцинации, бред, она вдруг покинула русский язык и принялась говорить только на идише – я и не подозревала, что она его знает, – металась по постели и взволнованно общалась с бабушкой, тетей Соней, тетей Беллой, еще какими-то родственниками, я с трудом разбирала имена. Потом речь ее стала вовсе несвязной, сменилась стонами, мычанием и наконец оборвалась. Нет, перед самым концом она вдруг очнулась, ощутила мое присутствие и с трудом, но достаточно членораздельно

произнесла: “Не сердись, Нина. Не сердись, что оставляю тебя...” Не глядя в мою сторону. Возможно, она уже и не видела ничего. А я уставилась на ее разбухшую, совершенно уже черную, совершенно мертвую руку и молчала. “Нет, нет, это она просто так говорит. Нет, нет, она не оставляет, не оставляет меня...”

Приванная затем соседями из районной поликлиники врача констатировала смерть. Отца, конечно, не случилось дома, он явился часа через три, когда маму уже увезли, – и, конечно, навеселе.

Совсем не подходящее к данному случаю определение, усилившее ужас и без того ужасного момента.

Отец плюхнулся на стул возле стола, уронил буйную голову на руки и зарыдал. Как я стыдилась его в эту минуту! Я была уверена, что он несколько не печалится о маминой кончине и слезы его ненастоящие – нарочно притворяется, ломает комедию, чтоб соседки не осуждали. Даже и пожалели еще. Я ненавидела и презирала его.

На похоронах он повел себя и вовсе бесславно – хотя не был пьян: кричал в голос, шатался из стороны в сторону, останавливался, раскидывал руки, не давал пройти тем, кто нес гроб, потом вцепился в край гроба и не позволял опустить его в могилу. На увещевания собравшихся и даже цехового парторга не обращал внимания, никого не желал слушать, а только продолжал охрипшим голосом взывать: “Люба,

Любаша! Любаша!!!” А когда гроб у него все-таки отняли – не так-то просто оказалось это сделать, он был сильный мужчина, – повалился у края могилы на колени, в самую грязь, и принялся вопить: “Прости,

Любаша, прости, прости меня!!!” Все это выглядело ужасно и никак, никак не соответствовало ни его должности, ни многолетнему партийному стажу, ни славе отважного боевого командира.

Жаль, что Мартин не соблазнился моим предложением отправиться на север, в его родные края. Показать детям настоящее северное сияние.

Было бы хорошо – ехать целый день на поезде, ни о чем не думать, просто глядеть в окошко на бесконечные синие снега. Не захотел, наверно, сводить меня с Юханной. Там ее владения. Снежная королева прибыла к нам оттуда – в огромных летящих по воздуху санях... Дела, важные встречи! Враки – он давным-давно никому не нужен, все дело ведет Эндрю. И он это знает, и я это знаю. И прежде не силен был в бизнесе – любое его начинание непременно оканчивалось либо большим пожаром, либо каким-нибудь бесчестным господином Стольсиусом, непременно умудрявшимся оставить его с носом. Эндрю правильно делает, что держит отца на известном расстоянии от издательства.

Удивительно еще, как он все-таки сумел столько лет продержаться на плаву. Видимо, благодаря все той же безупречной порядочности и недюжинной выносливости.

На что он мастер, так это экономить на всякой ерунде. На спичках.

“Дорогая, зачем тебе второй телевизор? Это бессмысленно”. Даже не так: “Дорогая, если хочешь – пожалуйста: два телевизора, три телевизора – как ты считаешь нужным!” С другой стороны, может, он и прав: будет второй телевизор – я залягу на тахте безвылазно. Так, по крайней мере, сидим вечером друг подле друга, грызем орешки, обмениваемся кой-какими ценными замечаниями. А то недолго и вовсе в один прекрасный день встретиться у входной двери и не узнать друг друга.

Что его заставило остановить свой выбор на мне? Только то, что я не похожа на Юханну? Разве мало приличных, привлекательных и вполне свободных невест в этом городе и вообще в их разумной и упорядоченной стране? Между прочим, эта загадка до сих пор сводит с ума местных кумушек. Мог ведь взять свою соотечественницу, да еще с приданым – не какую-то чужестранку, голь перекатную! Расчет Мартину чужд – это все давно знают. По-моему, он даже получает некоторое удовольствие от того, что постоянно садится в лужу. Наилучшее доказательство его благородства и неподкупной честности. А может, ему понравился мой акцент? В конце концов, не исключено, что я сама ему понравилась. Но настолько, чтобы взять и жениться? Нет, это его порядочность (и упорядоченность!) заставили довести дело до конца.

Не дал слова – держись, а дал слово – женись.

В Иерусалиме происходила международная книжная ярмарка. К тому времени я уже три года как жила в Израиле и два года как работала в уважаемом, хотя и непривычном для себя издательстве, поддерживаемом отчасти государством, а отчасти крупным американским еврейским фондом. То есть американским этот фонд оказался более-менее случайно по прихоти затейницы судьбы. Дело в том, что до Второй мировой войны в Европе проживали десятки писателей еврейского происхождения, творивших на всех европейских языках, начиная от идиша и кончая немецким. Были среди них достаточно известные, были и менее удачливые, но после войны, когда и тех и других не стало, очнувшееся от преступного безучастия человечество решило поправить дело и принялось усиленно издавать их сочинения – независимо даже от их художественной ценности. Но поскольку погибли не только сами писатели, но и все их близкие и наследники, гонорары, как правило, оказалось некому выплачивать. Разумно рассудив, что нищий Израиль истратит деньги не по назначению, то есть не на увековечение еврейской культуры, решено было основать в солидной Америке специальный фонд, куда будут стекаться все поступления от публикаций. Фонд тут же возглавили деловитые люди, принявшиеся без усталости разъезжать по разным странам и останавливаться на постой в самых великолепных гостиницах, которые и не снились знаменитейшим из знаменитых истребленных писателей. Надо полагать, и зарплаты положили себе неплохие, но все-таки некую долю накапливающихся средств сочли разумным выделить на развитие еврейской литературы.

Так благодаря их опеке в Иерусалиме возникло издательство, принявшее меня на работу, хотя и не слишком аккуратно выплачивавшее зарплату.

Но это уже не зависело от заокеанских боссов, это местный бухгалтер и местный компьютер время от времени забывали внести меня в платежную ведомость.

На ярмарке я сидела у нашего стенда и демонстрировала посетителям зелено-голубые и оранжевые томики одинакового формата в мягкой обложке, предлагавшие русскому читателю сокровища еврейской мысли и духа. Мартин подошел и затеял немудреный разговор. В то время я была еще настолько наивна, что не сомневалась в искренней заинтересованности представителей мировой общественности русскоязычной еврейской литературой. На самом же деле Мартин, как и многие другие его коллеги, прибыл не столько на ярмарку, сколько просто в святой Иерусалим – счел

своим долгом раз в жизни побывать в церкви Гроба Господня, благо расходы на поездку можно будет списать как производственные. Разумеется, он добросовестнейшим образом обошел все залы и экспозиции, поинтересовался книжно-издательскими процессами, тиражами и ценами, но в сущности, как всякий христианин, пусть даже не сильно верующий, душой пребывал в Гефсиманском саду.

Побеседовав со мной, он отошел от стенда, но минут через сорок вернулся – скорее всего, по чистой случайности вторично попав в тот же зал. А поскольку мы уже как бы стали знакомы, он, осознав свою ошибку, приветливо улыбнулся мне и взмахнул рукой: о да, я же здесь уже побывал! Постояв немного и как будто о чем-то поразмыслив, подошел и со всей деликатностью пригласил меня составить ему компанию – погулять вечером по вечному городу. Я была уверена, что он позабудет обо мне, как только самолет оторвется от Святой земли.

Но нет, не прошло и месяца, как я получила приглашение (вместе с оплаченным билетом) посетить его полночную страну – разумеется, без всяких обязательств с моей стороны.

Медовый месяц мы провели в Париже. Не месяц, две недели, но это несущественно. Кто из нас, бывших советских граждан, не мечтал побывать в Париже? Дивный коллективный сон!.. Однажды Мартин, притомившись, попросил разрешения остаться в гостинице, я отправилась бродить по городу одна и, разумеется, заблудилась.

Новенькие босоножки натерли мне ноги. Немного поколебавшись – как вообще-то это будет выглядеть? – Париж все же, не какое-нибудь

Закудыкино, я все-таки присела в более-менее безлюдном местечке, на полукруглых ступенях на стыке двух узких лучеобразно разбегающихся улочек. Дверь над ступеньками была заперта на несколько замков, у меня создалось впечатление, что ее не отпирали по крайней мере несколько десятков лет, – и тут надо мной склонилась милая пожилая женщина и участливо поинтересовалась, не нужна ли мне помощь. Я могла отвечать только по-английски, но она каким-то образом – по акценту, наверное, – догадалась, что я из России, и заговорила со мной по-русски.

– У вас стерты ноги! – заметила она озабоченно. – Подождите, не уходите. Я сейчас вернусь!

И действительно вернулась – с парой слегка поношенных черных лакированных лодочек.

Боже праведный! Именно такие я мечтала иметь на школьный выпускной вечер – черные блестящие лакированные лодочки. Белое платье у меня было, может, не особенно пышное, не как у других девочек, – Люба

сама сшила его из лоскута. На рынке у нас была лавчонка, в которой торговали лоскутом, очередь к окошечку нужно было занимать задолго до открытия, лоскут поступал со швейных фабрик нерегулярно и, конечно, разного качества, но Люба благодаря знакомому милиционеру дяде Пете достала три больших и совершенно одинаковых белых лоскута.

Однако лакированных туфель при всем своем желании она не могла мне купить – не по нашим деньгам.

– Возьмите! Вы можете взять их себе! – сказала женщина.

Я примерила нежданный подарок – туфли были удобные, мягкие и словно по заказу – моего размера.

– Берите, берите! Они мне совершенно не нужны, – заверила парижанка, заметив мое смущение.

Я поблагодарила, и мы расстались, так и не познакомившись. Я понимаю: не всем пара туфель представляется таким уж исключительным чудом, но я храню их до сих пор, хотя и не надеваю уже – лакированная кожа вышла из моды.

Отойдя от крыльца с запертой дверью, я подумала, что не устремись

Марина Цветаева в своем безумии в советскую Россию, это она сейчас могла бы вынести мне поношенные лакированные лодочки. Хотя вряд ли – характерец, говорят, у великой поэтессы был превредный.

Почему человек не решается сделать то, что ему так хочется?

Стесняется собственной дури. Опасается сверх меры разоблачить себя.

Мне вот ужасно хочется запастись 23 килограмма муки! И два ящика сахару. Куль лапши и мешок гречки. Полпуда риса. Жиров, соли и спичек. Кому, собственно, это может помешать? Места у нас в квартире предостаточно. Испортятся? С чего бы им портиться – сырости в доме не водится. Можно упаковать как следует, к тому же не обязательно держать годами: использовал килограмм муки – положи новый. Даты только надо проставлять, чтобы не путались. Ну, допустим, что-то даже испортится, так что? Такой уж непереносимый убыток? Чепуха, мы то и дело выбрасываем деньги черт знает на что. Всякие полезные хозяйственные приспособления, через месяц после приобретения отправляющиеся на вечное поселение в кладовку при гараже, шампуни и автоматические щеточки для мытья машины, которую на моей памяти ни разу не мыли в домашних условиях, цветочные горшочки с автоматическим поливом, в которых ни один цветок отродясь не выжил, оригинальные пепельницы, выставляемые на столики перед появлением гостей, которые если когда-нибудь и курили, то давно бросили по настоянию врачей и общественного мнения. Мартин, как свидетельствуют старинные приятели и фотографии, в молодости курил трубку, но избавился от этой вредной привычки за пару лет до знакомства со мной.

Забавно, что при всей своей прижимистости мой дорогой супруг вечно сорит деньгами. Просто так, конечно, копейки лишней не выбросит – не переносит транжирства, но перед последними достижениями науки и техники не в силах устоять. Нет такой технической новинки, на которую бы он не раскошелился с детским восторгом. А уж если дешевая распродажа, тут и говорить не о чем – накупим на Маланьину свадьбу.

Нет, дело не в деньгах, конечно, – мужества не хватает выступить эдаким идиотом: делать пищевые запасы, устраивать Бадаевский склад на дому, когда известно, что перебоев в снабжении не предвидится и вообще ничего с нами случиться не может: ни потопа, ни пожара, ни мора, ни глада! Благополучие наше незыблемо. И о таком Кроте

Ивановиче, который тащит по зернышку в свою нору, могут подумать что-нибудь совсем нехорошее.

И все-таки каждое посещение супера – невыносимый искуc. Между

прочим, Мартин, насколько я успела заметить, тоже не прочь иметь в доме некоторый избыток того-сего. На всякий случай – в разумных пределах. Шоколад, например, никак невозможно закупать впрок – куда ни спрячь, мальчишки все равно доберутся и слопают. Но пара пакетов муки или того же сахара никого не соблазняет и подозрений не вызывает.

Внутренняя борьба, как всегда, заканчивается тем, что я опускаю в тележку лишнее кило рису, два пакета кукурузных хлопьев и баночку молочного порошка, после чего с индифферентным видом отступаю от невыносимо отягощенных всеми видами съестного стеллажей.

– Черт его знает, что это за дрянь такая?.. Как это понимать? – слышу я вдруг сбоку.

От смущения за набранный без надобности товар – за вороватое расхитительство народного добра (“ОТПУСК ПРОДУКТОВ В ОДНИ РУКИ”!) я не сразу соображаю, что фраза-то произнесена по-русски. Мужчина средних лет, средней упитанности и средней потрепанности вертит в руках коробку “пасты”. Разумеется, для российского человека “паста”

– это зубная паста, рыбная паста, шоколадная, ну, в крайнем случае – пастила, но уж никак не твердые и ломкие макаронные изделия.

– Это макароны, – разъясняю я любезно и тут же догадываюсь, кто передо мной.

Пятиведерников. Собственной персоной. Ничего особенного и тем более сверхъестественного: каждый вправе зайти в магазин и купить, что ему требуется по хозяйству. Если два человека живут в одном и том же городе, рано или поздно они обязаны где-нибудь столкнуться – в банке, аптеке, на заправочной станции или в универсальном магазине.

Странно, что этого не случилось прежде. А может, и случилось, да мы внимания не обратили?

– Какая встреча! Какая неожиданность – госпожа советница! – восклицает он столь восторженно, что у меня невольно закрадывается подозрение: не специально ли выслеживал? Чепуха, конечно. Он ставит пакет с “пастой” обратно на полку и театрально всплескивает руками:

– Вы подумайте, привел-таки Господь!

– Почему – советница? – попадаюсь я глупейшим образом на его удочку.

– А как же! Даете моей благоверной ценные советы: гнать меня в шею – вагоны мыть!..

Знает, сволочь! Вовсе не спал, как представлялось доверчивой

Паулине, а подслушивал наш разговор. Сама она, конечно, не стала бы

передавать ему мои слова.

– Вы вызываете меня на откровенность или на дуэль? – вопрошаю я добродушно.

Удобная позиция для дуэлянтов: коляска с продуктами, два кило рису, три – сахара, бутылъ молока, огурчики-помидорчики, ветчинка. Устроим пикник и будем стреляться!

– Остроумно. Скаламбурить норовите... – Лицо его кривится и выражает разочарование. – Смешно, – цедит он, заводя нижнюю челюсть на сторону. – Живут два человечка, можно сказать, по соседству... С одной деревни, можно сказать... С одной державы. И никаких родственных чувств... – Челюсть медленно-медленно кругообразно ползет на место. – Вы ведь с Большой Фонтанки, верно?

Садовой-Гороховой? – фыркает он. – Или Халтурина, товарища Кирова?

Впрочем, без разницы...

– Вы ленинградец?

– Боже упаси! – Такие гнусные растленные типы, как Пятиведерников, недостойны проживания в городе Ильича! Мы с Петербурга.

Беседа бесперспективна. Ненужная встреча, мерзкое кривлянье и мои дурацкие потуги скаламбурить.

– Извините, – говорю я, – я должна идти.

Он не отступает – тащится следом и все время, пока кассирша пропускает мои свертки, коробки и консервные баночки сквозь электронный глаз автоматической кассы, изображает деятельную причастность: передвигает покупки, называет вслух, и довольно громко и, главное, все по-русски, вспыхивающие на табло зелененькие циферки, интересуется аккуратностью и плотностью упаковки.

Неудивительно, что касса, глупый пластмассовый ящик, приняв нас за добрых знакомых, за милую пару, которой следует облегчить ситуацию, помимо обычного чека выщелкивает из своей щели еще и выигрышный талон на посещение расположенного в глубине торгового заведения кафетерия: “Кофе с пирожным на двоих”. Действительно, как это любезно с ее стороны – не сидеть же двум взрослым приличным людям в городском саду под мокрым снегом пополам с дождем! “Кофе с пирожным на двоих”. Четверть часа в тихом, оплетенном комнатными вьюнками уголке – портативный зимний сад... Не нужно было поддаваться, сразу же следовало сказать: сожалею, спешу, извините.

Мы усаживаемся. Зачем я переживаю из-за ерунды? – чашка кофе ни к чему не обязывает.

Шесть-семь столиков вокруг пусты. Видимо, выигрышные талоны немногочисленны. Пятиведерников, порывшись в карманах, вытряхивает на столик скудную наличность: в основном мелкими монетами. Я стараюсь не обращать внимания.

– Хозяйка направила: соуса прикупить. Обед сооружает – для меня, тунеядца, – считает он необходимым объяснить причину своего возникновения в магазине. – Надеются, так сказать, приручить и укротить посредством хорошей кормежки. С использованием местных деликатесов. А я вот... – рот его расплывается в счастливой улыбке,

– скотина неблагодарная, истрачу ее денежки на пиво-воды! Возьму вот и выпью пивка – вместо буржуйского соуса... А что? Скажу – потерял!

Совру – как проверишь? Верно? В крайнем случае, отшлепает. В угол поставит.

– Вы не обидитесь, если я задам вам один вопрос?.. – начинаю я и тут же чувствую, что неудачно – мускулы у него на лице напрягаются, в глазах вспыхивает острое жало отпора моему любопытству. Но – спаси и помилуй! – я вовсе не собиралась затрагивать щепетильных тем. -

Откуда у вас столь странная фамилия?

– А!.. – Он облегченно расслабляется, откидывается на кружевном стульчике. – На это имеется семейное предание: прапрадедушка мой, что ли... изволил... Купец, понимаете, прапрадед был, купчина, пережиток прошлого! И богатый, говорят. А потому фамилия ему была дана: Семиведерников. Всем, дескать, обеспечен, много всякого добра нажил. А вот дедушке моему – тот уже благодаря папашиним денежкам образование получил, в интеллигенты метил, – такое вместительное прозвище показалось неделикатным. Человек, понимаете, возвышенные устремления имеет, и вдруг – Семиведерников. Возмечтал стать, скажем, Ларионовым или Константиновым. А тут как раз случилось государю императору проезжать через те места – дед осмелел, выступил из строя верноподданных и с земным поклоном подал челобитную: прошу, дескать, заменить неудачную смехотворную фамилию на что-нибудь более учтливое и подобающее моему нынешнему состоянию. А царь, его величество, ознакомившись с прошением, наложили резолюцию: скостить подлецу два ведра! Пошутили, стало быть...

– Замечательная история, – одобряю я.

– Да, заклеямили царь-батюшка весь наш род. И ведра-то прохутились. Пустой звон остался. А чего не посмеяться, если под тобой вся Русь-матушка? Верно?

Глаза у него большие, серые, веки припухшие – не от излишеств, а так,

от природы. Вообще на это лицо было отпущено много материала: губы крупные, слегка вывернутые, из тех, что приходят с юга. А нос – более-менее лаптем, вполне российский нос, но имеет еще нечто вроде довеска. Именно так: будто остался кусок теста и нужно было его куда-то употребить, приладить на готовые уже формы – не выкидывать же добро.

Я люблю этот магазин за его удивительный запах: круглый год тут гуляет морской бриз, свежесть такая, будто за стеной не подсобки и склады, а необозримые просторы, будто сам Нептун прогуливается тут в свободное время. Здание ничем не примечательное – плоское, как коробка из-под сапог, вполне соответствует нормам второй половины двадцатого века. Но кафе оформлено со вкусом: мраморные столики на гнутых чугунных ножках, лесенка в углу – с такими же чугунными перилами. Русский модерн. Будто специально потрудились для нас с

Пятиведерниковым.

Он еще раз сосредоточенно пересчитывает монетки, сгребает в широкую ладонь – пальцы у него длинные, но как будто немного подагрические: в суставах утолщены, а на концах чуть вздернуты. Встает и направляется к прилавку, за которым хозяйничает худенькая невзрачная девчушка. В кафе появляется еще один посетитель: негр в отличном, ладно сидящем на его плотной фигуре кремовом костюме. Спортсмен?

Сутенер? Не исключено, что агент какой-нибудь тайной заморской полиции из отдела по борьбе с наркотиками. Негр достаивает меня одним-единственным профессионально-безразличным поверхностным взглядом, а затем долго, но столь же как бы незаинтересованно изучает девушку за прилавком. Пятиведерников возвращается с жестянкой пива. Мы сидим в пальто, а вот негр свой плащик снял и интеллигентно повесил на стоящую при входе разлапистую вешалку. Мне хочется последовать его примеру – жарковато тут, но я боюсь, что это будет неправильно истолковано: будто бы мы можем оставаться здесь бесконечно долго. Нет, никак невозможно оставаться бесконечно долго, дети вот-вот вернутся из школы – материнские обязанности, да и

Мартин, наверно, соскучился.

– Что ж? – Пятиведерников переливает часть “пивка” в узкий высокий стакан, отхлебывает и морщится: не то, не то... – Готов, так сказать, выслушать ценные рацпредложения. Значит, имеете рецепт, как исправить мою жизненную стезю? Для начала – мыть вагоны, а далее?

Я не обязана отвечать на его вопрос.

– Почему вы не сотрудничаете в эмигрантских журналах? Вы способный человек. И слогом владеете.

- Хреном я владею! – парирует он.
- Одно другому не помеха.
- Вы полагаете? Тогда составьте протекцию!
- У вас есть кому составлять протекцию.
- Н-да?.. Павлинка, что ли? Бросьте, ее там за дурочку держат... А с чего это вы, собственно, взяли, что я владею, как вы изволили выразиться, слогом? – скромничает он.
- Читала одно ваше сочинение.
- Ну Павлина, ну предательница! Роемся, значит, в моих бумагах, да еще посторонним показывает!
- Паулина тут ни при чем. Я читала ваше письмо, адресованное иерусалимским друзьям.
- Из-ви-ни-те – забыл!.. – присвистывает он. – Действительно... Так это что же получается? Получается, что у нас куча общих знакомых!
- Н-да... Нигде не скроешься. А что за письмо? Я ведь многим писал.
- Про то, как вас в Риме собаки чуть не загрызли.
- А!.. Какие детали... И это увековечено. Всё как на ладони. Один я, дурак, никогда ничего не знаю.
- Это, наверно, потому, что вы интересуетесь только собой.
- Окружающие для вас почти не существуют. Существуют постольку-поскольку.
- Как это, не откажите объяснить, постольку-поскольку?
- Постольку, поскольку они могут быть вам полезны.
- Интересно... Ценное наблюдение. Почти не знакомы, но окончательный приговор уже вынесен. – Он решительно подымается, но не для того, чтобы уйти, – вновь направляется к стойке и возвращается с еще одной точно такой же жестянкой. И опять морщится.
- Люди знающие утверждают, что израильское “Макаби” лучше здешнего пива, – сообщаю я просто так, индифферентно, ради общей информации.
- Не смею спорить. Собственного мнения не составил, поскольку не имел счастья отпробовать вашего “Макаби”, но готов поверить – такой гадости, как здешнее, это поискать! – И в подтверждение своих слов с презрением щелкает ногтем по опустевшей жестянке, так что та со звоном скатывается на пол и отпрыгивает под цветочный вазон.
- Девушка за стойкой провожает ее полет недоуменным взглядом и, захватив щетку, тотчас направляется исправить непорядок. Выуживает беглянку из укрытия и отправляет в мусорный бачок.
- А кто же это, позвольте полюбопытствовать, числится у вас в

знающих людях? – интересуется Пятиведерников.

– Юркевич, например, и жена его Дарья Фабрикант. Тоже, между прочим, бывшие ленинградцы.

– И беглые израильтяне, – дополняет он. – По их отзыву, так страшнее Израиля и места нет.

– Вот видите, а к пиву все же сохранили сантимент.

– Не верю! – восклицает мой собеседник. – За Юркевича не ручаюсь, но

Фабрикант уж точно к пиву отношения не имеет – ни к здешнему, ни к тамошнему. Кроме родниковой воды, ничего не употребляет, ханжа чертов. Так что ваши сведения, уважаемая, мягко выражаясь, не соответствуют. Юркевич, скотина, захватил редактуру “Русского библейского словаря” тысяча восемьсот шестьдесят пятого года. Вся эта так называемая редакция сводится к тому, что заменяет, глухарь, традиционные библейские имена на теперешние ивритские: вместо Моисея получаем Моше. И нацеживает за сей ценный труд по две тысячи в месяц. Да еще приписывает рабочие часы – сверхурочные. Меня бы к такой кормушке на версту не подпустили!

– Откуда же вам все это сделалось известно? – поражаюсь я. – Такие подробности – и сколько получает, и что приписывает...

– Шила в мешке не утаишь. Тут все известно. А мы, питерские, особо дотошные. Любим докопаться до сути. И почему бы не порадоваться достижениям ближнего? Вы это, верно, по себе знаете.

– Нет, честно сказать, не замечала за собой такого качества. Чужие недостатки считать – только расстраиваться.

– Да нет, не подумайте, я не завистлив. И не корыстен. Готов удовольствоваться малым. Лишь бы это малое было. Мое кредо: работать как можно меньше и хуже, но чтобы сей рабский труд покрывал первичные потребности. Сил больше нет жить в этой позорной, чудовищной зависимости от вашей драгоценной приятельницы! – Он роняет голову на грудь, застывает на минуту в этой горестной позе, потом ерошит пятерней густую русую шевелюру и опять откидывается на стуле. – Я и в лагере не попадал в такие тиски. Если бы знал наперед, лучше бы сдох в Италии. А послушался бы, болван, родной матери, остался бы в Питере, так и вовсе горя не ведал бы...

– Вы имеете в виду советскую власть?

– Да нет, собственную родительницу. Она женщина простая, но верно предупреждала: на чужбине и мед горек... Чего мне не хватало? Сидел бы себе тихо, скромно, не высовывался, не высказывался. Питер – дивный

город: сколько котельных, и в каждой требуется оператор, специалист, управляющий отопительным процессом!.. В тепле, в почете.

Какое блаженство!

– Мы с вами родились в разных Ленинградах, – замечаю я. – Вы лет на пять младше – послевоенного выпуска. Совсем другое поколение...

– Как же, как же – понимаю: древние аристократические корни, близость к серебряному веку! – подхватывает он. – Котельная – фи! – какое падение, несовместимо! Ничего, мы купцы, черная косточка.

Полукупцы-полуразночинцы. А я, знаете, и не родился вовсе в вашей Северной Пальмире, меня в готовом виде завезли. Блокаднички-то все перемерли, пришлось восполнять недостачу. За счет ближней провинции и восполняли. Велика Россия, и отступить есть куда! На том и стоим – во все века. Петр Первый, первейший наш самодержец, воспетый первым поэтом России и еще целой сворой придворных шавок, загубил на всяких своих затеях треть подневольного населения, и что? А ничего, обошлись, восполнили!.. Есть откуда черпать людские резервы. Так и повелось: черпают – и за борт, на свалку! К свиньям собачьим, в выгребную яму! А чего – бабы небось еще нарожают.

– Самое смешное, что расчет абсолютно верный, – констатирую я, – действительно нарожают. И Россия никуда не денется. В конечном итоге обязательно как-нибудь да обустроится. Это только Рим мог себе позволить такую роскошь – одряхлеть и погибнуть. А Россия устоит. Не сказала еще своего последнего слова. Надежно заспиртовалась.

Законсервировалась и ждет. Следующего момента.

– Вот тут-то, уважаемая, вы очень сильно ошибаетесь! – отмечает он мои домыслы. – Лет десять от силы – в заспиртованном состоянии.

Больше не выдержит.

– Да? А что же с ней делается?

– Уже делается.

– По-моему, это вы ошибаетесь. Ничего ей не станется. То есть будет в конечном счете все то же самое. Недовольна чем-то кучка диссидентов, да и те в большинстве своем уже на Западе, а народ вполне счастлив – воровать, бездельничать, пьянствовать. В последнее время можно даже языком чесать – если так уж хочется. Я думаю, власть потому и позволяет языками чесать, что вполне в себе уверена.

– Рассуждаете, мадам, – хмурится он, – о том, в чем ни хрена не смыслите. Это в ваше время можно было безнаказанно чесать языками.

Теперь – нет.

– Может быть, – соглашаюсь я. – Честно сказать... Знаете, к слову, про

наше время... В наше время был один довольно известный отказник, так вот, когда его начали прорабатывать, допрашивать на собрании, чего, дескать, стремишься на Запад? Клеветать небось на нашу советскую действительность? Он сказал: нет, клеветать на вашу действительность не собираюсь, собираюсь позабыть об этой действительности навсегда – ваша страна меня абсолютно не интересует ни с какой стороны. Вот и меня, пожалуй, так же – очень мало меня интересует ихняя сторона.

– Мило, – говорит он. – Но позвольте тогда поинтересоваться: зачем же способствуете моей дорогой супружнице в ее благородной деятельности?

– Если я и способствую – в незначительной мере, – то исключительно из хорошего к ней отношения – к вашей супружнице. Ради приятельства, но никак не ради России.

– Что ж, тоже позиция. Принципиальная. Великие свершения в силу пустячных причин. И со мной, догадываюсь, изволите теперь беседовать исключительно ради этого самого вашего с ней приятельства?

– Возможно, – признаюсь я, не видя причины для запирательства. -

Должна, однако, заметить, что в ваших высказываниях поражает очевидное противоречие: с одной стороны – полное неприятие российских нравов, а с другой – сожаление о неразумно покинутой родине.

– Дуализм мировоззрения, – подтверждает Пятиведерников.

Негр тем временем подымается из-за столика, неторопливо облачается в плащ и твердой походкой направляется к выходу. И сталкивается в увитом вьюнками проходе с шустрим старичком, стремительно движущимся во встречном направлении. В кафе никого, и весь огромный торговый центр практически пуст, но два человека почему-то обязаны налететь друг на друга меж двух кадок с растениями. Два грузовика на льду

Ледовитого океана... Негр солидно бормочет “сорри”, старичок повыше вскидывает квадратную бороденку и усаживается за соседний с нами столик. Как будто нарочно помещены рядом: крупное округлое и сдобное лицо Пятиведерникова и словно вырубленное топориком лицо старичка – одни прямые углы: прямой короткий нос, прямая увесистая верхняя губа, прямой лоб. Удивительно примелькавшийся старичок из местного иллюстрированного журнала.

– Что ж, половина проблемы решена, – продолжает Пятиведерников. -

Россию к чертям! А чем же в таком случае будем озабочены? Уж не дальнейшим ли повышением благосостояния местного населения?

– Перестаньте, – смеюсь я. – Будем озабочены сами собой: восходом, закатом...

– А, ну понятно: пчелки-бабочки, цветочки, семья, детки!..

– И цветочки, и детки. Что в этом плохого?

– Здесь, между прочим, пятилетних детей уже приучают к производительной деятельности. Сам видел – станок в городской квартире, и папаша с двумя сыновьями дошкольного возраста по вечерам куют на нем нечто полезное. Содействующее дальнейшему развитию технического прогресса. И разумеется, пользуясь товарным спросом.

После восьмичасового рабочего дня в учреждении! За месяц выпускают продукции больше, чем вся наша шестнадцатая зона за год. Получают от этого огромное, ни с чем не сравнимое удовлетворение. Каждый вечер перед сном вместе с мамашей подсчитывают дневную выручку и на радостях лобызаются.

– Это вы тоже сами видели? Поразительно! Да в вас пропадает талант романиста. Займитесь литературой...

– Врете вы, – отвечает он мое предложение. – Литература не бывает о подобных мерзостях. Тем более о пчелках-бабочках...

– О чем же бывает литература?

– Литература – это о другом. – Мрачно вздыхает и погружается в созерцание пустого стакана.

Пора, пора уходить. Подняться и уйти.

– Знаете что? – сменяет он гнев на милость. – В самом деле, послушаюсь вас, сочиню фельетон. Вдруг господа издатели смилостивятся и опубликуют? А вы по такому поводу угостите меня кружкой настоящего пива! Не этой дрянью. Голова после вчерашнего гудит, а я, как вы, верно, заметили, не при деньгах. Павлинка держит в ежовых рукавицах – хотя, вероятно, по-своему права...

“Половой, пару пива!” Полового не водится – только серенькая девчушка. Такие девушки по ночам должны превращаться в сереньких мышек и грызть “пасту”.

Я раскрываю кошелек и выкладываю на стол бумажку.

– К сожалению, я должна уходить. А вы возьмите себе пива и постарайтесь все-таки купить этот самый соус, за которым она вас послала. И передавайте ей привет.

– Соуса не куплю и привета этой стерве не передам! – капризничает

Пятиведерников. – Интересно, держат эти сволочи хоть какое-то приличное пиво? Благосостояние...

Я оставляю его слова без внимания, подымаюсь и огибаю увитую зелеными сердцобразными листьями декоративную перегородку.

– Благодарствуйте! – спохватывается он, когда я нахожусь уже по ту

сторону преграды, и тут же на моих глазах как ни в чем не бывало, без малейшего смущения перемещается за столик бородатого старичка.

Ловок, прохвост! И тут пристроился.

– Не забудьте про соус, – напоминаю я сквозь зеленую завесу.

Десять дней после маминых похорон отец провалялся с высокой температурой – может, простудился на кладбище, а может, это было то, что в старину именовалось нервной горячкой, – врачиха из поликлиники не смогла в точности определить, но в любом случае велела принимать пенициллин. Пенициллин тогда прочно вошел в употребление и сделался панацеей от всех хворей.

Вместе с отцом, почти в тот же день, занедужил и товарищ Сталин – по радио передавали бюллетени о состоянии его здоровья, но ему, в отличие от отца, пенициллин не принес желанного облегчения.

Товарища Сталина положили в Мавзолей на вечное обозрение, а отец, бледный и худой, с поникшими, поредевшими кудрями, встал с дивана и отправился к себе на завод. Мама волновалась напрасно: никто его ниоткуда не выгнал и не уволил, он, как видно, был неплохим специалистом и к тому же выглядел неотразимо: мужественный, уверенный в себе, преданный делу руководитель.

Истерика на кладбище забылась. Он снова был серьезен и деловит – заслуженный авторитет, и к тому же бросил пить. Может, не совсем бросил, но сильно умерил дозу. Полтора года почти не пил.

Перевыполнял план и украшал своим портретом Доску почета.

Мы жили дружно. Он по-прежнему спал на диване, а я завладела маминой кроватью – с провисшей сеткой и толстой бабушкиной периной. Бабушка притащила ее из Несвижа маме в Ленинград – в единственный свой визит к дочери-студентке. Еле доволокла, настоящую местечковую тяжеловесную перину, чтобы маме было тепло и мягко в чужом холодном северном городе. И мне теперь было тепло и мягко на этой улигнувшей из алчных лап немецко-фашистских пособников – благодаря бабушкиной самоотверженной материнской любви – пуховой перине. Пружинная сетка почти касалась пола, я сворачивалась в ней клубочком, как в гамаке, и мне было так хорошо, как будто я маленькая-маленькая девочка и нежусь на руках у мамы или бабушки.

Отец по-прежнему бывал дома редко, но деньги приносил, и я как умела поддерживала наше хозяйство. Я стала водить к себе подружек, чего прежде, при маме, никогда не делала. Даже угощала их иногда вожделенными деликатесами: шоколадом и апельсинами. В тот год вдвое снизили цену на апельсины. Я становилась все старше, скоро, в мае, мне

должно было исполниться четырнадцать. Я заняла второе место на математической олимпиаде нашего района. Отец гордился мной. Многие мои одноклассницы уже вступили в комсомол, но я почему-то не стремилась. Идейных расхождений с советской властью у меня не наблюдалось, но мне сильно не нравился секретарь нашей школьной комсомольской организации.

В тот день нас задержали в школе, после занятий было какое-то собрание, придя домой, я, до ужаса голодная, сжевала ломоть черного хлеба, посыпанный крупной солью, и занялась приготовлением обеда.

Чистила у кухонного стола картошку и время от времени поглядывала в окно – просто так, вдруг кто-нибудь из девочек пройдет по улице. Или из мальчиков – мы теперь учились с мальчиками, мужские и женские школы в тот год объединили.

У нас была огромная кухня – ленинградские коммунальные кухни.

Высокое дореволюционное окно. И вот, поглядывая просто так в это окно, я вдруг увидела, как снаружи, на стыке улицы с переулком, на моего отца наезжает грузовик. Отец уверенно пересекал перекресток.

Наискосок, по диагонали. Допустим, он не видел грузовика, но как он мог не слышать его? Рамы в окне были законопачены на зиму – в России на зиму законопачивают рамы, – если он не слышал рева грузовика, то тем более не мог услышать моего крика. Хотя в последний миг мне все-таки показалось, что он видит грузовик – видит, но не желает свернуть. Не желает уступить. Высокий, крепкий мужчина. Мой отец.

Такой еще молодой. Четыре года войны, и какой войны! Сколько пуль небось просвистело рядом, сколько гранат разорвалось, сколько упало снарядов, и он, несмотря на это все, остался жив, цел и невредим, а этому грузовику позволил себя убить. Соседки долго потом обсуждали эту несуразность. Они тоже видели – многие видели: коммунальная квартира, пятнадцать комнаток, многие от нечего делать глядят в окно... Да, необыкновенный был человек.

– Пожалуйста, две кружки пива! – прошу я.

– Ну, две – это уж слишком!.. – скромничает он.

– Не слишком – учитывая, что нас двое.

– Извините, не обратил внимания! Не врубился, что вы тоже употребляете. А как на это отреагирует Армия спасения? И главное, что скажет моя законная Павлятина? Ваша приятельница, между прочим.

Необходимо считаться.

– А разве мы нарушаем ее интересы?

– Это с какой стороны взглянуть. Вообще-то конечно: птички, фиалки, воробушки – сплошная невинность... – Он обводит окрестности широким щедрым жестом.

Я замечаю – правда, чудесно вокруг, великолепно: весна, цветение, птичьи трели.

– Плюс, я полагаю, – продолжает он, – имеется какая-нибудь достойная причина для нашего свидания. Пивко – это так, для антуражу. А истинная цель... Обсудим какую-нибудь общественно важную проблему, верно?

– Я не знаю, – признаюсь я. – Весна. Уже весна. Как-то неожиданно...

А где же зима? Приятно, но вместе с тем, знаете, такое ощущение, как будто у тебя что-то украли. Несколько месяцев жизни... Только что было Рождество, и вдруг – весна. Я мечтала поехать на север, поглядеть северное сияние...

– Северное сияние, – мрачнеет он. – Случалось... Оглянитесь вокруг себя, и вы увидите, что в этом мире везде одна сплошная полярная ночь. Никакого просвета. США, Италия, Австрия и даже Австралия – весь этот так называемый свободный мир – гнусная насмешка!

Непробудная полярная ночь!

– Тогда зачем же...

– Извиняюсь, советница, я тут ни при чем, это вы зазвали меня на кружку пива.

– Я?

– Вот именно! Утверждали, что в каждой бочке содержится баррель отличнейшего пива!

Я смотрю на бочки – я утверждала? Я и не думала ни про какие бочки.

Ни про какое пиво. Действительно, громадные бочки – настоящие

цистерны, бетономешалки! Составлены башней. Где мы – в остроге, в крепости? В осаде? В обороне?

– И ввели меня в заблуждение! – обижается он. – Как выяснилось, в них вовсе не пиво! В них, напротив, нечто совершенно сухое.

Первосортный сухой порох! Мы с вами, сударыня, сидим на пороховой бочке. Я бы даже сказал – на груди пороховых бочек!

– Береги-и-ись!.. – просвистывает рядом протяжно.

Откуда-то сверху летит факел, а может, ракета. Я зажмуриваюсь, пытаюсь укрыться от взрыва, – и просыпаюсь.

Какая чушь... Вот уж действительно – морока больной головы: ни смысла, ни связи – глупейшие липучие фразы... Пятиведерников.

Впился, как заноза. Будто уж не о чем больше подумать... А все оттого, что в комнате слишком жарко и душно. Вот откуда это странное свечение – над катком сияют все лампы, забыли, верно, с вечера выключить. А может, реле какое отказало. Трудно предположить, что кто-то там среди ночи упражняется в фигурном катании. Зато парк – подсвеченный парк – как на японской гравюре: светлые круги вокруг ламп, черные прочерки голых ветвей...

Телефон. Телефонный звонок в ночи... Секунду я еще медлю у окна, и в эту секунду с черных неживых ветвей, с неподвижных деревьев взвиваются в воздух сотни ворон. Будто звонок напугал их. Они не могли его слышать – абсолютно исключено, чтобы с такого расстояния вороны услышали раздавшийся в моей комнате звонок. А если бы и услышали – что им до телефонного звонка? Кружат... Все сразу, как по команде, покинули гнезда. Я и не знала, что там столько ворон...

– Мать?

Денис! Наконец-то! Ну конечно, кто же еще может звонить среди ночи.

– Да-да! – кричу я. – Ты где? Как дела?

– Все нормально, – отвечает он.

– Здоров? Все в порядке? Где ты?

– Да так, в одной деревушке в горах. Деревушка – ничего особенного, пустяк, а храм, мать, замечательный, старинный. Удивительный храм!

– В какой деревушке?

– Название, что ли? Какая тебе разница, мать? Я завтра все равно отсюда снимаюсь.

– Куда снимаешься?

– Не знаю. Не решил еще.

– Как у тебя с деньгами? Нужны деньги? – Главное, не упустить, успеть сказать самое важное – пока он не исчез, не повесил трубку.

- Нет, деньги не нужны, все в порядке, – отказывается он.
- Тебе можно написать куда-то?
- Напиши в Токио – до востребования.
- Ты будешь в Токио?
- Буду. Но не знаю еще когда.
- Как ты себя чувствуешь?
- Нормально.

Нужно спросить о чем-то таком, что ему представляется важным. Чтобы он разговорился. О том, что ему интересно.

- Тебе нравится там? Тебе там хорошо?
 - Нормально, – повторяет он. – А как у тебя – здорова?
 - У меня все прекрасно. Напиши мне!
 - Постараюсь. Ладно, мать, пока, а то жетоны кончаются.
 - Скажи номер, я тебе перезвоню!
 - Не надо, пока. Будь здорова.
 - Звони. Почаще звони!
 - Ладно.
- Отбой...

Про братьев не спросил ни слова – не волнует. Погружен в себя... Все в порядке. Ничего не в порядке... Но хоть позвонил по крайней мере.

Я держу в руке мелко дребезжащую трубку и медленно-медленно сползаю спиной по стене на пол. Персидский ковер... Где он ночует, как питается? С кем общается? Не может ведь быть, чтобы человек целый год бродил в одиночестве. Какие-то люди окружают его, учат уму-разуму. Чужие люди. Может, хорошие, а может, и плохие... Почему обязательно – Япония? Чем Япония лучше Шотландии? Или Бельгии? Тем, что она далеко?.. Там сейчас уже утро. В то время, когда на северо-западе Европы стоит глухая ночь, отданная во власть черных воронов и серых привидений, в Японии уже восходит ясное розовенькое солнце. Там все другое, даже солнце. Даже вороны и привидения другие. Это, наверно, главная приманка. Хоть бы спросила, какая погода... Говорят, там все ужасно дорого. Как он там перебивается?

Свет, этот свет – заливает всю комнату. Что-то беленькое под письменным столом. Листок. Так вот оно где – Любино письмо!

Завалилось за ножку стола. Не догадалась заглянуть... “Здесь страшно холодно. Страшно сыро. По утрам бывает такая крупная роса...” Нет, это не Люба. И не письмо вовсе... Отцовский почерк. Его почерк!

Круглый, аккуратный почерк твердого, уверенного в себе человека.

Невозможно ошибиться. Но что за странное послание? Откуда, кому?

Всего две строчки... Когда он это написал? Где? Почему я не видела раньше? Откуда он взялся, этот листок? Выпал из маминого дневника?

Но почему же я никогда прежде не наткнулась на него?.. “Здесь страшно холодно. Страшно сыро...” Где ему страшно? Где ему холодно?.. Отец, скажи, скажи: могу ли я чем-то тебе помочь? Что я должна сделать? Отец, все не так уж плохо – у тебя четверо внуков.

Правда! Один совсем взрослый – бродяжничает по Японии. Наверно, ему там тоже сыро и холодно. Но все-таки не так, как тебе...

Бродяжничает по той самой Японии, которая была немецкой союзницей. С которой ты воевал... Теперь все иначе: мир, всеобщее процветание,

Страна восходящего солнца, никакого Пёрл-Харбора, никаких камикадзе.

Утренняя заря над всей планетой... Отец, что же мне делать? Скажи, что мне делать!..

Паулина. Ни свет ни заря, но голос властный, уверенный в своем праве.

Да, богоугодное дело: посидеть с девочками Юркевича. У Дарьи какие-то неприятности по части здоровья, Паулина добилась, чтобы ее поместили в больницу на обследование, и на сегодня назначена какая-то важная процедура. Преданный супруг желает при этом присутствовать, а детей не с кем оставить.

– Понимаете, Нина, все дело в том, что девочки очень непокладистые, пугаются чужих людей и не владеют никаким языком, кроме русского. Так что невозможно послать к ним никакого добровольца. А я сама сегодня, понимаете, ну никак, ни в коем случае не могу уйти с работы. Я уже столько сделала для этой семьи...

– Хорошо, – прерываю я ее хвастливые объяснения, – только имейте в виду, что в двенадцать я уйду – мои собственные мальчики возвращаются из школы.

– О да, я понимаю, я понимаю! – восклицает она радостно. – Я знала, что вы не откажетесь!

Не откажусь. Не то чтобы в Израиле между нами водилось нечто вроде дружбы или даже простого приятельства, но знакомы были. Встречались время от времени. С младшей сестрой Дарьи Рахелью Фабрикант мы жили в Неве-Яакове в одном доме. Не только имена, но и все прочее в сестрах было от разных и решительно несовместимых миров. Рахель была женщина энергичная, отважная, прекрасно выучила иврит и работала в одной из самых престижных израильских газет, поддерживала связи со всем русскоязычным истеблишментом, не чуралась напитков покрепче родниковой воды и прославилась смелыми и остроумными выступлениями. Что касается Дарьи, то она была известна лишь как таинственная иногородняя жена Юркевича, который, в свою очередь, был известен своим органическим неприятием Израиля. Что не помешало ему, однако, закончить Иерусалимский университет, и, если не ошибаюсь, с отличием.

Однажды Рахель ехала по каким-то своим служебным надобностям в Ашкелон, где проживала ее сестра Дарья, и пригласила почему-то, помимо Юркевича, в попутчицы и меня. А может быть, я тоже была каким-то образом связана с готовящимися материалами, не знаю. Помню, как мы бродили по пустырю, на многие километры тянувшемуся вдоль берега

моря, и Юркевич демонстрировал обнаруженные им в просветах между дюнами мозаичные полы. Древние мозаики, то ли греческого, то ли византийского периода, естественно, никем не опекались, не консервировались, не реставрировались и не охранялись, что вызывало у нашего гида нестерпимую душевную боль.

Но самым главным событием этого нечаянного визита оказалась песчаная буря. Пока мы лазили по заросшим репейником развалинам, солнце над нашими головами начало бледнеть и чахнуть в удушливом оранжевом мареве. Порывы горячего, злобного и колючего ветра в конце концов вынудили нас прервать экскурсию и спастись бегством. У Дарьи мне запомнилась просторная, но почти не освещенная гостиная – не исключено, что окно было закрыто ставнями по случаю бури, – на полированной поверхности обеденного стола лежал густой слой желтоватой пыли. Подушечками пятью пальцев Юркевич с брезгливостью прочертил в нем пять блестящих извилистых линий и с горестным вздохом произнес: “Вот так и живем...” Сама Дарья уже тогда показалась мне женщиной немолодой и болезненной – под глазами у нее лежали темные, явно не случайные круги.

С полгода назад я узнала от Паулины, что Юркевичи-Фабрикант прибыли в наш город с двумя маленькими дочками. Оставались ли они до того времени в ненавистном Израиле или кочевали по каким-то иным странам, я так и не выяснила.

И вот теперь мне предстояло познакомиться с младшим поколением этого печального семейства.

Квартиру, как я поняла, содержала какая-то благотворительная христианская организация, обеспечивавшая насущные нужды особо заслуженных нелегальных эмигрантов и всеми средствами пытавшаяся добиться для них статуса политических беженцев. Что в случае Юркевича было не так-то просто, учитывая то обстоятельство, что Израиль не числится в списке тоталитарных и деспотических режимов. Да и сам проситель, я полагаю, не мог представить достаточно веских доказательств каких-либо существенных преследований или притеснений на идейно-религиозной почве. Возмутительное отношение израильских властей к ценным старинным мозаикам вряд ли могло служить достаточно убедительным основанием для предоставления желаемого статуса.

Юркевичи занимали в квартире одну комнату, рядом помещались тоже израильтяне, но мне, по счастью, незнакомые – мать лет пятидесяти с сыном-митрофанушкой, на голову выше мамыши, которого она “спасала от израильской армии”. Все время, пока я возилась с детьми, она заглядывала

в комнату и интересовалась, “не нужно ли чем помочь”, проявляя при этом здоровое любопытство: откуда я сама буду, и как устроилась, и откуда знаю Юркевичей. Я постаралась четко ответить на каждый ее вопрос: приехала из Австралии, устроилась санитаркой при американском посольстве, с Юркевичами познакомилась проездом в Голландии. “Откуда же вы знаете русский язык?!” – спросила она, подхватывая рукой все более отвисающую нижнюю челюсть. “Выучила в университете”, – объяснила я.

Девочки действительно оказались диковатыми и нервными. Хорошо, что я догадалась захватить с собой разной еды: бутербродов, йогуртов, печений и сладостей, а также несколько забавных игрушек, успевших надоесть моим милым сыновьям. Мы кое-как поладили. Правда, старшая, пятилетняя, увидев игрушки, тут же подгрестила их поближе к себе и при робкой попытке трехлетней сестры дотронуться до длинноухого зайца-барабанщика гневно ее оттолкнула. Малышка покачнулась, но не заплакала и продолжала издали смотреть на игрушки, уже не надеясь прикоснуться к ним.

– Нет, Катя, так нельзя, – произнесла я назидательно. – Нужно или играть вместе, или поделиться. Что ты хочешь отдать Арише?

– Ничего! – ответила Катя твердо.

Мне пришлось призвать на помощь весь свой педагогический опыт, чтобы хоть отчасти восстановить справедливость. Мартин наверняка справился бы с этим затруднением лучше меня, оставалось только пожалеть, что он не знает русского языка.

– Вы должны жить дружно и не обижать друг друга, – попыталась я втолковать сестричкам.

Они не слушали и продолжали свою упорную, молчаливую и требующую непрерывной бдительности борьбу.

“Кто еще у вас есть? – думала я, пытаюсь смягчить их заскорузлое сопротивление печеньем, конфетами и незатейливыми шутками. – Кто останется у вас на этом свете, если вы будете драться и ссориться? Даже если ваши непутевые родители и добьются права на жительство в этой прекрасной, благополучной и либеральной стране, все равно вы будете здесь чужими и лишними, нищими, пригретыми из милости. И даже если вам улыбнется счастье, если в вас обнаружатся настойчивость и находчивость, эти полезные качества вашей тетки Рахели, даже если вы сумеете получить хорошее образование и занять приличные, высокооплачиваемые должности, окончательно вырваться из-под опеки благотворительных организаций, даже и в этом случае вряд ли вы удостоитесь искренней любви и признания окружающих. Местные жители

все равно будут смотреть на вас как на незваных пришельцев, нагло и незаконно захвативших теплое местечко. А если в вас не обнаружится ловкости и энергии вашей тетки Рахели, а только вечные претензии, обиды и недовольства, присущие вашим милым родителям...”

Да, но какими словами и на каком языке можно объяснить это все двум несчастным, запуганным и загнанным в угол младенцам?

Странно человек устроен – еле доползает до постели, глаза слипаются, голова кружится, в животе мутит-холодеет от усталости, из последних сил сбрасываешь с себя докучные одежки, и тут... Тут тебе будто влили эликсира бодрости. Ворочаешься, ворочаешься с боку на бок, и мысли все такие ясные, цепкие, пронзительные; только вроде бы удастся задремать, как вспыхивает внезапное воспоминание о каком-то невыполненном долге, мучительное сомнение, какая-нибудь дурацкая тревога, требующая сиюминутного устранения. А то вдруг начинается досада из-за очередной совершенной глупости, неловкого поступка, не к месту сказанного слова...

Разумеется, можно проглотить таблеточку. От всех печалей теперь изобрели какую-нибудь микстуру или таблеточку. Кругленькая такая малюсенькая облаточка. Обеспечивает забвение всех горестей и делает вас веселыми и беспечными. От одного этого крошечного беленького шарика я однажды на целых четырнадцать часов полностью вырубилась из окружающей действительности. Денис, как назло, именно в этот день умудрился забыть ключ от квартиры, но сколько он ни звонил, сколько ни ломился, я ничего не слышала. Абсолютно! Соседка этажом ниже проснулась, а я спала как убитая. Неудивительно, конечно, – в ту зиму на Эрика и Хеда (Фреда еще не было), на милых моих крошечных сыновей, обрушились все напасти: ангины, ветрянки, воспаление среднего уха, уж не помню что... Я совершенно отвыкла спать. Если и удавалось на несколько минут забыться, тут же начинались кошмары. Заботливый Мартин отправил меня к врачу, а врач прописал снотворное. Но я не могла принимать снотворное – мне требовалось быть начеку возле моих сыновей. Тогда Мартин предпринял героический шаг: несмотря на мои протесты, забрал четырехлетнего Эрика и двухлетнего Хеда к матери и сестре. Я сдалась: действительно, если моя свекровь смогла вырастить шестерых детей, авось и с внуками как-нибудь управится. Я проводила их на вокзал, в пять часов вечера вернулась домой, проглотила одну крошечную таблеточку – одну из пятидесяти, имевшихся в волшебном пузырьке, – и провалилась в небытие до следующего утра. Даже третья мировая война не

смогла бы разбудить меня.

Если все равно не удастся уснуть, поеду прокачусь. Выведу нашу красавицу из гаража и поеду куда глаза глядят. В конце концов, машина существует для того, чтобы на ней ездили. Ей тоже полезно иногда размяться.

Направо – залив, налево – море. Мы поедem налево. До залива рукой подать, до моря километров пятнадцать. Дальше – лучше. Ехать так ехать, путешествовать так путешествовать. Пустое шоссе, приятная музыка. Не хуже снотворного, но к тому же и развлекает.

Одинокaя фигура маячит на вершине утеса. Мужчина, женщина? Ветер треплет длинные волосы, полы распахнутого пальто. Да нет, это, наверное, обман зрения – какой-нибудь куст, можжевельник, вцепившийся корнями в случайно подвернувшуюся расщелину. Качается под ветром и машет ветвями. Однако удивительно четкий рисунок – голова, руки... Но кто же в такую ночь полезет на скользкий, крутой утес? Да и зачем?..

Бабушка Нюра приехала на похороны отца – моя деревенская бабушка. На похоронах матери она отсутствовала, видно, невестка была не столь уж близка ее сердцу, чтобы ради последнего прощания с ней тащиться по осенней распутице из Старостина в Ленинград. А может, отец вообще не уведомил, счел излишним – с него станется. Но теперь бабушка приехала – все в тех же двух платках: тонком беленьком и сером полушерстяном. Погруженная в свое горе – привычное, застоявшееся горе, к которому смерть отца не так уж много добавила, – она почти не замечала меня. Отец был ее последним сыном – последним из оставшихся в живых, трое других, Матвей, Николай и Семен, как мне было известно, погибли на фронте. Были еще две дочери: Настя, незамужняя, жила с ней, а Шура вышла за военного и уехала в Архангельск.

Настя побывала у нас после войны раза два или три – приезжала в Ленинград за покупками. Покупки были: чулки в резиночку, отрез штапеля, хозяйственное мыло, пшено и сахар, отец вручал ей от себя для матери несколько банок свиной тушенки и сгущенного молока. Не было в послевоенной деревне ни мяса, ни молока, даже на кур товарищ Сталин наложил такой налог, что бабе Нюре не по силам стало держать пеструшек. Отношения у Насти с моей матерью сложились прохладные, да и денег не хватало много разъезжать. Шура с мужем и сыном были у нас один раз – году в сорок седьмом, когда мама еще трудилась в своем техникуме.

Бабушка позаботилась, чтобы после похорон отца выставить на стол кутью, соседки помогли ей достать лапшу и сварить. На эту кутью и на несколько бутылок водки ушли все деньги, выданные нам профкомом в виде материальной помощи. Амира Григорьевна пыталась образумить бабушку, говорила, что это абсолютно лишнее, лучше пусть она подумает о себе и о ребенке – обо мне то есть, – но бабушка видела в этой кутье исполнение своего материнского долга перед покойным сыном. “По тем не варила, – сказала она, – хоть этого помянем... А то перед людьми стыдно”. – “При чем тут стыд? – возмущалась Амира Григорьевна. – Завтра у вас на хлеб не будет! Поймите, больше никто вам ничего не даст!” Бабушка понимала, но сделала по-своему. “Небось, обойдемся, – решила она, – прежде не померли, и теперь, бог даст, справимся”.

Во все эти дни, включая день похорон, я не ходила в школу. Сами похороны прошли спокойно, заводской оркестр всю дорогу до кладбища

исполнял печальное и торжественное, профорг сказал недлинную речь, партийный секретарь поклялся вечно всем коллективом хранить светлую память о фронтовике и коммунисте Сергее Архиповиче Тихвине, соседки, совсем недавно не устававшие порицать отца, теперь все до единой всплакнули, некоторые даже по деревенской привычке подвывали и причитали в голос, но я как-то не обращала ни на что внимания, я все еще была там, у кухонного окна, и пыталась каким-то напряжением воли задержать наезжавший на отца грузовик. Мне представлялось, будто хоронят кого-то другого, не имеющего ко мне отношения.

Хоронили в закрытом гробу, поскольку лицо было слишком изуродовано, но я тогда не догадывалась о причине и вообще смотрела на опускавшийся в могилу гроб как на предмет абсолютно посторонний. Потом бабушка уехала обратно в деревню, сдержанно и как-то официально со мной простившись. Из всего произносившегося в эти дни мне стало ясно, что главное в наших отношениях не то, что она моя бабушка, а я ее внучка, а то, что она деревенская, а я городская. Между нами лежала пропасть, которую не следовало даже пытаться преодолеть.

– Чего ж она девку-то нам оставила? – поинтересовалась после ее отъезда Клава, одна из соседок.

– Нам! – возмутилась другая. – Не нам, а государству. Государство позаботится.

– Все же бабушка! – заметила Клава.

– Так что, что бабушка? – вмешалась третья. – Им там в деревне самим жрать нечего. Еще девку на жмых да воду тащить?

Очень скоро выяснилось, что у меня нет никаких прав на нашу комнату. Право на прописку получали только с шестнадцати лет – с получением паспорта, а мне не исполнилось даже четырнадцати.

– Самый скверный возраст, – объяснила навестившая меня деятельница не то из райсовета, не то из собеса, – в детский дом поздно, а на завод рано. – При этом она с большим интересом оглядывала комнату и мебель и несколько раз переспросила, сколько в точности квадратных метров.

Меня должны были выселить. Дело задерживалось только из-за того, что на улицу выселить не могли, а подходящего для меня общежития не находилось. Поэтому я жила день и еще день, перестала совсем ходить в школу, перестала даже выходить в кухню, только ночью тайком прокрадывалась в уборную – мне казалось, что если я покину комнату, ее тут же кто-то займет и меня уже не впустят обратно. Даже Амире Григорьевне, тихонько стучавшейся в дверь и требовавшей, чтобы я

открыла, я не доверяла и пыталась убедить ее, что со мной все в порядке, просто я теперь сплю. “Спать недостаточно, – убеждала она, – нужно еще поесть. Ты хочешь упасть в обморок?” Я хотела в обморок – чтобы совсем ни о чем не думать и не чувствовать. Я не открывала ни соседям, ни своим подружкам, ни Ирине Трофимовне, нашей классной руководительнице, начавшей постепенно волноваться о моем здоровье. Конечно, вечно так не могло продолжаться. Но я знала точно, что никакое общежитие мне не грозит, что, как только меня разлучат с нашей комнатой, с маминой кроватью и бабушкиной периной, с письменным столом и цветочными горшками на подоконнике, я тут же перестану быть. Не умру, а просто перестану быть. Это было страшно, ужасно страшно, но я успокаивала себя, что это только одна секундочка, один короткий миг, а потом уже ничего не будет.

Меня спасла Люба.

Оказалось, что мой отец был вторично женат. Сразу же после смерти мамы взял и расписался с какой-то девушкой, удравшей из колхоза без разрешения председателя и желавшей во что бы то ни стало зацепиться в Ленинграде. Отец решил зачем-то вмешаться в ее судьбу – строптивый был человек, – поехал в ее колхоз, добился для нее паспорта, расписался и устроил к себе на завод. Более того, даже прописал на нашей жилплощади. Я ни о чем об этом не знала и не подозревала. Чем она его так растрогала, чем привлекла и почему он вообще поверил в ее честность и порядочность, остается неясным. Но она не обманула его доверия. Звалась она Любой – как моя мама. Домой к нам он не привел ее ни разу, как выяснилось впоследствии, она снимала угол в Урицке и была довольна жизнью. По стечению обстоятельств за день или за два до гибели отца Люба получила профсоюзную путевку в дом отдыха в Сестрорецке, и целых две недели никто ей ни о чем не рассказал. А вернувшись на работу и услышав о трагическом происшествии, она еще несколько дней раздумывала, стоит ли ей показываться мне на глаза. Боялась, как бы я не подумала, что она на что-то претендует. Но когда до нее дошли слухи, что меня собираются выбросить из комнаты, тут же возникла.

Я и ей не хотела открывать, но она убедила меня, что не врет: подсунула под дверь паспорт с печатью о браке и с пропиской.

– Ну да, – сказала она, перешагнув порог нашей комнаты, – ишь ты, какие шустрые! Жилплощадь им! А этого не хотите? Не трусь, девка, проживем!

Я ей поверила – она была славная и вдвое старше меня.

Я начала ходить в школу и даже записалась в шахматный кружок.

Люба все перемыла и переставила в комнате, мою – бывшую мамину – кровать подвинула к окну, а себе купила новенькую полуторку с блестящими никелированными шишечками. Между ними поместила гардероб и швейную машинку – благо комната длинная, места не занимать, – а диван отправила к противоположной стене...

Была ли действительно какая-то близость между Любой и моим отцом? Не думаю. Скорее всего, нет. Если бы она была одной из его многочисленных “приятельниц”, он не стал бы за нее хлопотать и уж тем более не прописал бы у себя в комнате. В том-то и дело, что в данном случае он выступил в роли благородного и абсолютно бескорыстного рыцаря. Как Паулина в случае с Пятиведерниковым.

Ни мещанско-пролетарской кровати с никелированными шишечками, ни продавленного дивана, ни дешевенького фанерного гардероба – ничего такого не было и быть не могло в той комнате, которую я делила с Евгением. Вернее, он делил со мной. Это была комната совершенно иного полета. Жилище, наглядно свидетельствовавшее об особых устремлениях и незаурядных достоинствах своего хозяина. Доминировал в ней оставшийся от отца солидный директорский стол, и при солнечном свете, и при электрическом номенклатурно отсвечивавший лощеными боками. Стол занимал львиную долю комнатного пространства. Приземистая потрепанная тахта в соседстве с ним выглядела гривуазной и неуместной приживалкой. Однако в их сочетании заключался отчетливый смысл и намек: стол подчеркивал уважение к немеркнущей памяти отца, тахта же отвечала вкусам и представлениям самого Евгения, и он ни за что на свете не согласился бы поменять ее на самый что ни на есть дорогой и почтенный кабинетный диван. Хотя, в общем-то, спать можно и на диване.

Как ни странно, но и тут, и в этой, на многое претендующей комнате, присутствовало небольшое кругленькое зеркальце. Небольшие кругленькие зеркала превозмогли все катаклизмы: войны и революции, тиф, голод, блокаду, восстановительные периоды, аресты и партийные чистки – и остались неизменной принадлежностью нашего быта. Отстояли себя даже в обществе развитого социализма. Правда, зеркальце в комнате Евгения несло на себе печать некой тайной горечи и ущемленности. Непризнанности. Незаслуженной обиды. Трудно сказать, отчего не удостоилось оно более приличной оправы, какой-нибудь резной деревянной рамы или узорного серебряного оклада на литом основании, пружинящей пластмассовой подставки на толстой монолитной ноге или хотя бы модной в те дни оплетки макраме. Зеркальце было тощеньким и белесым, сдавленным, приплюснутым, словно бы потускневшим от всего пережитого. Держалось оно на двух хилых металлических лапках, вечно грозивших разъехаться. Заключенное в покривившееся латунное кольцо, оставлявшее сбоку досадный зазор, наводило на мысль о недобросовестности или неумелости производителя.

Перед письменным столом располагалось кресло, выдолбленное из цельного комля одного из тех деревьев, что погибли на заболотившемся участке. Дерево спилили, а пень остался стоять, постепенно подгнивая и

все глубже погружаясь в ржавую жижу. По прошествии нескольких лет он сам собой выдвинулся из прокисшей почвы, как выдвигается зуб из больной, воспаленной десны. Не знаю, каким образом Евгению удалось извлечь это сокровище из болота и доставить домой – весило оно никак не меньше тонны. Однако не было таких преград, которых не преодолели бы энергия и упорство моего деловитого мужа. Долгие месяцы, если не годы, кресло упорно источало мрачное болотное зловоние. А может, и сейчас еще источает...

Представляю себе, какое недоумение и отвращение проступили бы на физиономии моего высокопоставленного тестя, доведись ему узреть перед своим столом сию пакостную причуду, вздорное изделие сына и наследника, утратившего всякое представление о субординации и святости регалий. Только в порядке насмешки и издевательства можно было водрузить этот болотный пень перед папиным министерским столом. Без пяти минут министерским.

Маленькое кругленькое зеркальце отражало крупную ладную фигуру Евгения, день за днем сосредоточенно постукивающую молоточком по разного диаметра и размера долотам. Пока он постукивал, я забиралась с ногами на тахту и вязала жилет – для него, моего возлюбленного супруга, из деревенской шерсти красного и черного цвета, приобретенной в Таллине. Траурно-революционные цвета, но других не было.

Семейная идиллия. Из всех его занятий и увлечений это представлялось мне самым достойным и трогательным. В обстругиваниях и долблениях было что-то от настоящего, нехитрого, зато полезного дела. Хотя, разумеется, даже если пренебречь мнением покойного тестя, в наших конкретных обстоятельствах (то есть на ограниченной площади предоставленной в наше распоряжение комнаты) легкое фабричное кресло было бы куда удобнее и практичнее – и сидеть приятнее, и легче передвигать во время уборки. Но вещь, сделанная своими руками, имеет особую ценность. Не исключено, что какой-нибудь прадед моего мужа в самом деле был честным и добросовестным тружеником, снабжавшим людей прочными и не лишенными особого тяжеловесного изящества столами и лавками.

Да, имелся еще торшер, составленный из бамбуковой палки и слегка помятых медных гильз. Палка сама по себе была великолепна, но изделие вышло далеким от совершенства: с обоих его концов высовывались витки электрошнура, и две лампочки оказались подвешены под абажуром как-то очень уж криво и неумело.

Зато столярные инструменты всегда были разложены на подсобной

табуретке в идеальном порядке.

Торшер окутывал наши вечера мягким благожелательным светом и сулил сладкое безмятежное будущее. Не горюйте, не печальтесь, милые супруги, ласковой вам ночи и успешного дня!

Я не заблуждалась – с самого начала в нашем положении наличествовало очевидное и непреодолимое неравенство: он находился у себя дома, в кругу своей семьи, полноправный хозяин и законодатель при любом повороте событий.

Это мне надлежало теперь встать и уйти. Покинуть арену действия. Мое присутствие в этой комнате могли оправдывать только совет да любовь, но они не выдержали испытания временем.

Я вела себя глупо: все сидела на тахте и вязала черно-красный жилет. С каждым новым рядом черных и красных петель нарастало висевшее в воздухе напряжение. Первоначальное смущение давно уже переросло в нескрываемое раздражение – действительно, что еще он должен сказать? Он сделал все, что от него зависело, это я злокозненно нарушаю правила хорошего тона, свободы выбора и элементарной учтивости. Назло ему вяжу мерзкий, отвратительный жилет, который он никогда, никогда и ни при каких обстоятельствах!.. Плету вязкую бесконечную паутину, которая грозит ему удушьем и гибелью. Он окостенеет и умрет в этом коконе!

Новый день сменяет короткую летнюю ночь, а мы так и не сдвинулись ни на шаг. Невозможно даже сказать, что мы топчемся на месте. Мы не топчемся, мы застыли, зависли, онемели, погрузились в бледную немочь и неподвижность – он у оконной рамы, я на низкой пухлой тахте. Давно пора приступить к следующему акту жизненной драмы, плодотворно кипеть, активно бороться, устремляться дальше – вперед и выше, дерзать, вкушать, свершать, а она, эта женщина, по какому-то нелепейшему недоразумению оказавшаяся деталью его жизни, сидит тут, лишая действие всякого смысла, сидит и тянет одну черную петлю за другой черной петлей...

– Согласись, душа моя, это не то мгновение, которое стоит останавливать, – выдавливает он из себя через силу, не оборачиваясь и в тысячный раз горестно вздыхая.

Но не слышит ответа. Ответа нет.

Временами зеркальце отражает и законное пространство.

Правильно, за окном можно увидеть все, что угодно, а в комнате – только то, что в ней есть.

Квадратная (кубическая) комната. Давно нуждающаяся в ремонте, но прежней, молодой, счастливой и ветреной паре все как-то было не до ремонта, а теперь... Смешно – пыль, ремонт... На выцветшей рыжеватой

стене слегка потравленный временем портрет товарища Сталина. Всемирно известная трубочка под всемирно прославленными усами. Каждого, кто попадает в эту комнату впервые, портрет слегка шокирует. На это и расчет. Предусмотренный эффект. Знак неординарности проживающей здесь личности. Весь советский народ, ознакомившись с материалами двадцатого съезда, в едином порыве поскидывал портреты отца и учителя, тирана и палача – сотни тысяч и миллионы портретов, и все с трубочкой и усами, полетели на свалку истории, а Евгений З., вопреки все и вся, оставил реликвию висеть на стене.

В дни двадцатого съезда моему будущему супругу исполнился двадцать один год. “Страна не смеет бежать от собственной тени!” – объявил он однокурсникам и приятелям. Не исключено, что броская формулировка возникла не тогда, а позднее. Возможно, оставляя портрет висеть на стенке, он еще не умел столь четко выражать свои правильные мысли, возможно, это искусство пришло с годами. Не он один ощущал какую-то растерянность, даже неловкость от слишком крутого поворота партийного курса и всеобщей готовности плевать в лицо вчерашней святыне. Интеллигентный, умный мальчик, воспитанный в уважении к родителям, учителям и власти рабочих и крестьян. Возможно, он и не собирался оставлять портрет надолго и навсегда, но постепенно становилось все сложнее избавиться от него. Нарушить утвердившуюся традицию. Что ж, какой-никакой, а все же поступок – пусть даже выразившийся в отсутствии оно, – какое-то проявление самостоятельности чувств и взглядов. Определенное даже мужество. Кто там шагает правой? – левой!левой!левой!

Помилованный от помойки и зависевший на пыльной стене, бывший товарищ Сталин имел теперь возможность наблюдать происходящие в комнате невеселые объяснения, сдержанно и отстраненно попыхивая трубочкой... Да, это вам не Ялтинская конференция. Самая что ни на есть банальная и дурацкая история – любовь ушла, а брак остался. Идиот, зачем он это сделал? Все улетучилось, а штамп в паспорте стоит как вкопанный – не выщвел и не потускнел. К каким мучениям и унижениям вынуждает этот штамп размером четыре на два сантиметра!

– Надеюсь, ты понимаешь...

Солнышко брызжет теперь откуда-то сбоку, подсвечивает до боли знакомый, обожаемый профиль и не столь уж густые и пышные, как некогда, волосы.

– В конце концов, это не может так продолжаться!

Не может... В самом деле, душа моя, – что ж ты сидишь, как репа на

грядке, как ватная кукла без костей?

Я не сижу – я костенею в безвоздушном пространстве, проваливаюсь, проваливаюсь в какую-то бездонную пропасть... Бедный товарищ Сталин – раньше он наблюдал в этой комнате совсем другие сцены...

В сущности, что ж такого особенного? Все вокруг только и делают, что разводятся – пара за парой. Можно подумать, что люди исключительно для того и женятся, чтобы в непродолжительном времени иметь возможность развестись.

Желание развестись и более никогда не встречаться и не видеть своего избранника (избранницы) созревает постепенно и почти неощутимо. Мелкие размолвки превращаются вдруг в неразрешимые принципиальные расхождения. Милые забавные ужимочки и привычки, вызывавшие прежде одну только нежность и восхищение, делаются вдруг невыносимы и отвратительны. Отрицательные энергии накапливаются, и в один особо мрачный вечер происходит ядовитый выброс. Может быть, Энгельс прав, – может быть, брак порочен по самой своей сути? Во всяком случае, брак по любви?

– Да уж, право, имеются такие женщины, у которых на роду написано, чтобы им одеваться только в те безвкусные вещи, которые лет десять как окончательно вышли из моды, – произносит мой муж с высокомерным сарказмом, презрительным, но одновременно и страдающим взглядом оценивая мое последнее приобретение: польскую юбку, за которой четыре часа пришлось отстоять в душной недвижимой очереди. Блузочку я смастерила сама, любовно обвязав цветным мулине.

Куда это мы собираемся? В гости? В театр?

Четыре часа в изнуряюще душной, недвижимой и склочной очереди. И все ради того, чтобы понравиться ему. Вновь полюбить, как встарь...

Честно признаться, и мне эта юбка не слишком по вкусу – по сизому полю две широкие полосы, темно-зеленая и оранжевая. Действительно, грубое, нелепое сочетание. Но где же взять другую? Следует ведь учесть и наши более чем скромные возможности. Я ведь не могу, подобно некоторым питерским модницам, позволить себе покупать наряды в подпольных комиссионках или заказывать в закрытых ателье. Безвыходное, безнадежное положение...

В самом деле, пора подняться и уйти. Позорно оставаться там, где тебя не любят и не хотят. Почему я не хочу видеть очевидного? Как тот котенок, которого волокут за шкурку к речке, чтобы утопить, а он рвется, судорожно болтает лапками, надеется еще зацепиться за воздух и воспрепятствовать роковому свершению.

Не рвись и не надейся.

Хотя что касается злосчастной юбки, то тут мы оба ошибались – она, как показало будущее, не окончательно вышла из моды, а только в нее входила. То, что виделось нам тогда непривычным и диким, очень скоро оказалось общепринятым и желанным: в новом свихнувшемся мире начали цениться только аляповатость и какофония. Все правила гармонии и золотых сечений были выброшены на свалку истории.

Мы завтракаем, разумеется, на кухне, ведь в комнате у нас только письменный стол – неприкосновенная, священная память о папе Петре Николаевиче. А за окном как раз весна. Валя с Дениской удалились на утреннюю прогулку, соседи, Харитоновы, несколько дней как отсутствуют. Выехали на садовый участок – на заслуженный трудовой отдых. Свекровь в столь ранний час спит – такой у нее режим: чтобы ложиться за полночь и вставать не раньше одиннадцати (ни дать ни взять ликвидированные как класс аристократы. В детстве я была уверена, что “как класс” означает окончательно, под корень и навсегда). Харитоновы, между прочим, в кухне обеденного стола не имеют – в соответствии с занимаемой ими площадью или по каким-то иным коммунальным параметрам им полагается только кухонный столик. Зато у нас целых два кухонных – один мамы Ксении Константиновны (и в какой-то степени ее безропотной сестры Вали), другой наш (мы отдельная семья). Плюс покрытый красненькой клетчатой клеенкой обеденный.

В этот светлый утренний час мы одни в этой просторной кухне. Мой муж, естественно, на меня не глядит – просматривает газету. Газета – один из супружеских водоразделов, может, и не самый главный, зато ежедневный.

Однажды мы выбрались в кино, если не ошибаюсь, на какую-то импортную кинокомедию. Он и тут сумел приостановиться минут на десять возле газетного стенда, углубился в передовицу и отдельные фразы зачитывал мне вслух, подчеркивая интонацией их особую знаменательность. Я не удержалась заметить, что если он сию же минуту не прекратит вычислять предположительные сдвиги баланса сил в Центральном комитете нашей возлюбленной партии, билетов нам не видать. Он, разумеется, насупился. “Это чрезвычайно симптоматично!” – “О да! – сказала я. – Симптомы заболевания тела после усечения головы”. – “Ничего, поверь мне, еще наступит тот день, когда и ты начнешь читать газеты!” – прорек он твердо.

Увы, мой далекий позабытый супруг, растаявший за горами за долами, – этот день так и не настал. И видимо, уже никогда не настанет. Намеки на коренные сдвиги, продолжающиеся содержаться меж газетных строк и искусно извлекаемые и следующими поколениями заинтересованных читателей, по-прежнему не волнуют моего воображения. Хуже того: даже запах регулярно разворачиваемой Мартином газеты мне отчего-то неприятен. Хотя Мартин, в отличие от тебя, простой и честный парень. Он не провозглашает: “Это симптоматично!”.

Итак, мы сидим на коммунальной кухне, пьем утренний кофе, ради нашего здоровья заранее лишенный кофеина, и сосредоточенно изучаем газетный репортаж (который и сегодня чрезвычайно важен и требует натренированного осмысления). И тут, то ли от грызущей сердце печали, то ли под влиянием весенних ароматов и законного торжества обновляющейся природы, я позволяю себе погладить его руку, расслабленно дремлющую на газетном листе, даже взять ее в свою. Не чувствуя сопротивления, воспользовавшись погруженностью в газетные эмпиреи, я подношу ее к губам. Подумать только – как он вскинулся, как спохватился, какой нервный, затравленный взгляд метнул на дверь – не наблюдает ли кто такого неприличия? Разумеется, – мама Ксения Константиновна как раз в эту минуту может заглянуть в кухню по дороге в уборную!

– В чем дело?!

А я, как назло, упорствую, пытаюсь удержать рвущуюся прочь руку, киваю на газету:

– Не жалко тебе тратить часы своей жизни на эту чепуху?

– Это мое дело, на что я трачу часы своей жизни!

Неужели я действительно любила его? Не может быть... Нелепость какая-то...

Он прав – все плохо, и с каждым днем все хуже. Сегодня хуже, чем вчера, а завтра будет хуже, чем сегодня.

Я сижу на тахте, обхватив коленки руками, опустив глаза долу, но вижу – вижу, как он в отчаянье мечется по комнате, раз пять натыкается на письменный стол, отшвыривает заготовленные для какой-то важной цели заметки и газетные вырезки. И вместе с ним, следом за ним, по рыжим стенам, по пыльному суконному потолку мечется некая злоеющая тень. Задевает портрет товарища Сталина. Товарищ Сталин потуже стиснул в зубах трубку – боится оказаться сметенным вихрем чуждых страстей, не

удержать этой последней в своей судьбе позиции...

– Это не может так продолжаться!

Как это – так?

– Чего ты добиваешься? Чего ты ждешь? Чтобы я бежал отсюда? Чтобы я выбросился в окно? Ушел из собственного дома?! – Но тут же отмел столь дикие предположения: – Не надейся, этого не случится!

А почему, собственно? Совсем не плохая идея – оставить меня тут один на один с мамой Ксенией Константиновной.

И холерические метания, и сменяющая их недвижная поза у окна вопиют о некой тяжкой, непоправимой обиде. Я постоянно говорю и совершаю нечто абсолютно неприемлемое и непростительное. Да, все – пора. Соберись, девочка, с духом, собери вещички, вызови такси. Избавь наконец человека от своего постылого присутствия. Главное... Главное, не забыть маленькую кастрюльку, а то не в чем будет варить Дениске кашу. Да, представьте себе, даже если весь мир летит в тартарары, кашу варить все равно надо.

“Нужно действовать!” Излюбленный немеркнувший девиз. Воспринятый от мамы Ксении Константиновны. Зачем? Не лучше ли иногда посидеть спокойно, порадоваться, что жизнь протекает без особенных неприятностей? “Гордый лик непричастности! Это, извини, не гордость – это леность и глупость. Интеллектуальная немощь”. Возможно; не обижаюсь и готова согласиться. Но не всем же быть Штольцами, в жизни необходимы и Обломовы. Суетно и скучно сделалось бы в этом мире, если бы вокруг были одни сплошные Штольцы.

Да и не был он настоящим Штольцем. Пытался. Пыжился, изображал, что вот-вот совершит нечто исключительное. Хватался то за научную карьеру, то за перо журналиста, то за поиск древних икон на Соловецких островах. Поступал в аспирантуру, устраивался в горком комсомола консультантом по вопросам промышленности, месяцами выдавливал из себя какую-нибудь пустячную статейку и после долгих совещаний с мамой Ксенией Константиновной, а также с ближайшими – способными понять – друзьями торжественно отсылал в редакцию. Предварительно заручившись обещанием какого-нибудь “своего”, причастного к этому органу человечка, посодействовать.

Знакомился вдруг с “подвальными” художниками и в те же дни возобновлял дружеские сношения с бывшим сокурсником, неприметно занявшим прочную должность в Большом доме. И все это с неисчерпаемым и искренним энтузиазмом. Трудолюбиво толкал воду то в одной, то в другой ступе и на каждом этапе преисполнялся ощущением необходимости и

величия процесса. И с этим человеком я намеревалась прожить свою жизнь? Хотела прожить с ним всю жизнь? Невероятно...

Кстати, он и обо мне подумал – составил программу и моего жизненного преуспевания. Хватит гнить в этом поганом издательстве! “Ты что – намерена просидеть там до пенсии? Там в принципе не может быть никакого продвижения. В лучшем варианте станешь когда-нибудь старшим редактором. Заместительницей заведующей – нет, разумеется, не всего присутствия! – какого-нибудь протухшего отдела передокументации. – И, презрительно хохотнув: – После двадцати трех лет непорочной службы”. Он знает, что нужно предпринять – выучить финский язык. Или шведский. Если я смогла выучить английский, смогу выучить и финский. Или какой-нибудь еще. Постараюсь, подналягу и выучу. Английский – это, конечно, прекрасно, но это ровным счетом ничего не дает. Английская нива полностью оккупирована Риточкой Райт-Ковалевой и Андреем Сергеевым. В жизни нужно уметь действовать! Прежде всего, выяснить у компетентных людей, какой из всех языков на сегодняшний день наиболее перспективен. Обратиться к Натанелле Владимировне (знакомая мамы Ксении Константиновны, утвердившаяся в редакции скандинавских языков).

У мамы везде знакомые. Карта полезных знакомств, в своих границах совпадающая с очертаниями могучего Советского Союза и даже выходящая за его пределы. Значительная часть этого богатства досталась Ксении Константиновне в наследство от мужа, но она и сама не дремлет, не сидит сложа руки, пополняет сокровищницу. “Знакомство у ней было большое и разнообразное...”

С отцом Евгения, Петром Николаевичем, занимавшим пост директора крупного ленинградского предприятия оборонного назначения, я, к сожалению, не успела познакомиться. В декабре 1950 года он скорострительно скончался от инсульта. Как раз в тот момент, когда был уже намечен к переводу в Москву, на ответственный пост в Министерстве тяжелой промышленности. Почти все уже было оформлено и утверждено, но тут, на грех, судьба подставила подножку. Кто мог предположить? Именно в силу своих обширных знакомств и дружеских связей Петр Николаевич чуть не загремел вслед за прочими разоблаченными и обезвреженными по “ленинградскому делу”. Но ему повезло – всей семье повезло: внезапный инсульт спас его от суда и расправы, позволил умереть честным коммунистом, а вдове и сыну (да отчасти и Вале) избежать печальной участи членов семьи врага народа. Правда, одну комнату у них все-таки отобрали – первую от входной двери. Вселили в нее рабоче-

крестьянское семейство Харитоновых (муж, жена и двое мальчиков). Директорский письменный стол пришлось перетащить в комнату Евгения. Роскошная отдельная четырехкомнатная квартира превратилась в жалкую коммуналку. Ну, допустим, не окончательно жалкую, всего с одними соседями, но все-таки коммуналку. К тому времени, когда в ней возникла я, соседские мальчики уже подросли, один заканчивал школу, другой учился в техникуме.

Мама Ксения Константиновна занимала большую из оставшихся комнат, Евгений (позднее вместе со мной и Дениской) – шестнадцатиметровую оранжевую, а Валя располагалась в семиметровке при кухне. Для Вали и такая скромненькая комнатка была великой роскошью. Двадцать шесть лет назад, после рождения Евгения, Ксения Константиновна великодушно выписала младшую незамужнюю сестру из Курска – не отдавать же ребенка в чужие руки. Выбрав и вырастив “своего Женечку”, Валя с тем же восторгом и безграничной преданностью принялась нянчить и нашего Дениску. Я могла учиться, работать, ходить с мужем в гости, в кино и театры, посещать художественные выставки и концерты – Валя не роптала. “Идите, дорогие, конечно идите!” Тонны любви, не израсходованной на собственных детей, изливались теперь на внучатого племянника.

Вечно чем-то взволнованная и напуганная Валентина Константиновна. Вот уж совсем не человек действия – всю жизнь в тени своей энергичной высокопоставленной сестрицы. Всю жизнь в приживалках. Смущалась, когда я называла ее по имени-отчеству: Валентина Константиновна.

Мы, правда, все реже пользовались ее добротой. Все реже ходили куда-нибудь вместе. Евгению стало как-то проще без меня. Без моих бестактных замечаний и ядовитых наблюдений.

Разумеется, моя прискорбная сущность выявилась не сразу. И законное раздражение не сразу изъязвило душу. Но день ото дня оно крепло. Совершена прискорбная ошибка, и ее следует исправить. Аксиома. Все во мне сделалось негоже и немило, в том числе (а может, и более всего) неправильная жизненная позиция. “Ни на что не претендующая амеба!” Рассуждения мои оказывались не просто неверными, но даже вредными и опасными для его благополучия. Что делать? Оплотшал. Был влюблен и очарован: самая красивая, самая обворожительная, самая бесподобная. Да нет – в том-то и дело, что не был ни влюблен, ни очарован – зачем-то принудил себя очароваться. Заставил себя поверить, что я, именно я, и никакая другая, и есть тот самый заслуживающий его обожания объект. Субъект. Видно, кто-то из друзей коварно ввел в заблуждение – что-то

такое наплел и заставил засуетиться. Одна из основных черт: вечный страх опоздать и упустить. Однако в конце концов понял, что роль очарованного бесплодна и утомительна. И одновременно осознал всю нелепость моего присутствия в его жизни. Все скверно, и изменений к лучшему, естественно, не предвидится. У этой женщины, которую он столь легкомысленно вселил в квартиру своей мамы, ни нюха, ни ощущения ситуации, ни умения заинтересовать собой полезных людей.

Итак, уже будучи осведомлены о разделяющей нас пропасти (а может, как раз в надежде преодолеть ее и перебросить мостик), мы отправились в редакцию скандинавских языков. Визит этот изначально представлялся мне нелепым и унижительным, но я не посмела отказаться. Я стремилась сохранить наш брак. Предстояло убедить литературную даму (более чем средних лет), что я жажду заниматься переводами художественных произведений финских (шведских, не важно каких) авторов. Жить без них не могу и при этом, разумеется, обладаю соответствующими данными. В подтверждение чего мы притащили с собой тощенькую папочку с моими переводами детских рассказиков. Переводы возникли совершенно случайно и поначалу были устными. Кто-то из знакомых (возможно, тот же бывший сокурсник) подарил Денису на день рождения вывезенную тайком из зарубежной поездки книжку какой-то американской авторши. В книжке была очень белая, сияющая, плотная, но одновременно податливо-мягкая (“дружественная”) блестящая бумага и яркие, крупные, круглые, словно бы выпуклые, рисунки. Дениска обожал разглядывать их и ощупывать ладошкой и требовал разъяснений – кто и почему. Мне приходилось переводить и растолковывать текст. Порой удавалось что-то зарифмовать. Поскольку книжка прочитывалась ежедневно, и даже по нескольку раз на дню, изложение неуклонно совершенствовалось. Евгений счел, что этого вполне достаточно. Художественные переводы станут моей профессией.

Нахальство – второе счастье, но, видно, не всегда. Я сидела напротив Натанеллы Владимировны (а может, Софьи Ильиничны, не помню) и больше всего желала провалиться сквозь землю вместе со стулом. Из уважения к Ксении Константиновне она тут же на месте проглядела несколько аккуратно перепечатанных страничек, как-то неопределенно-благосклонно кивнула, захлопнула папку и поинтересовалась, какие языки, кроме английского, я знаю. Я открыла рот, чтобы признаться, что никаких – “Да, в общем...”, но мой супруг и наставник опередил меня. “Финский!” Я поперхнулась, онемела, возможно, даже покраснела и уставилась на украшавшие кабинет книжные полки и портреты классиков. Всю остальную беседу Евгений провел сам. Когда мы наконец выбрались за

дверь, он, возмущенный и разъяренный, накинулся на меня с бранью: он сделал все от него зависящее, задействовал кучу народу, обеспечил рекомендации и поручительства, а я все провалила! Как, как можно было не воспользоваться столь исключительной возможностью?! Я попыталась напомнить ему, что действительно не знаю финского языка. Ни единого слова. Не умею даже сказать “здрасьте”. Он с презрением прервал мои доводы: “Последнее, что кого-либо волнует, это твои знания. Всегда можно найти произведение, уже переведенное на английский. Никто не станет тебя экзаменовать. Ты перевела с финского, и баста!” Я вовсе не была уверена, что смогла бы стать переводчиком художественной литературы, даже если бы знала злосчастный финский в совершенстве. К тому же, надо полагать, в Англии, Америке или в Австралии с финского на английский переводили совсем не тех авторов, которые могли соответствовать требованиям советских издательств. Да и каким образом эти книги (если они вообще существовали) попали бы ко мне в руки? Нет, все это звучало для него неубедительно. Мне не было ни прощения, ни пощады – я загубила ценнейшую инициативу и выставила его на всеобщее осмеяние. Он должен был заранее догадаться, что со мной никакой каши не сварить. В пылу ссоры мы зашвырнули злосчастную папку в сугроб и потом целую неделю не разговаривали. Ни в чем не повинные листки с милыми детскими рассказиками осели на унылый почерневший ленинградский снег.

Невпопад выступаю и невпопад молчу, ношу чулки не того цвета. Чулки эти (кстати, довольно дорогие) он подарил мне на Восьмое марта, но так как они действительно были, мягко выражаясь, не самого удачного цвета (какого-то на редкость пакостного рыже-малинового), то я довольно долго не отваживалась их надеть. Наконец сочла, что для поездки на дачу авось сойдут. Решила сделать ему приятное – вот, его подарок, ценю и уважаю. Он еще в метро с брезгливостью покосился на мои ноги и потом, пока мы тряслись в автобусе по загородному шоссе, утвердился в своем возмущении: “Что это за мерзость у тебя на ногах? Не нашла более отвратительного цвета?” Я промолчала.

Пора, пора было поставить все точки над “и”, избавить человека от безрадостного, по недоразумению взваленного на себя супружества. Если не так моешь окна и не так варишь обед, тут еще можно исправиться – освоить новые технологии. Но когда у тебя неверное мировоззрение и, главное, ты даже не пытаешься сменить его на более приемлемое, тут уж дело швах.

От автобуса до нашей дачи – их дачи – нужно было идти еще

километра полтора пешком. Понятно, что пока Петр Николаевич был жив, не требовалось ходить пешком – имелась персональная машина. Но поскольку Петр Николаевич безвременно покинул мир литеров, ведомственных дач и персональных шоферов, никакой машины более не существовало. Соседи справа и слева продолжали разъезжать на престижных лимузинах, а Ксения Константиновна вынуждена была трястись на автобусе и тащиться потом полтора километра пешком. Разумеется, не налегке – на даче постоянно хочется кушать. Это описано у Чехова. Ксения Константиновна возненавидела дачу и почти никогда ее не посещала – невыносимо было топтать пешком, да еще с тяжелыми сумками, в то время как другие, и даже менее заслуженные товарищи, легкими ласточками проносятся мимо на машинах с зашторенными окнами.

Зато Валя охотно проводила на даче все лето – с некоторых пор вместе с Дениской. В нашу задачу входило обеспечивать их продовольствием. В самом поселке никаких магазинов не было предусмотрено, но по дороге (причем в таком месте, где автобус вовсе не останавливался) имелся распределитель по талонам. Он обслуживал население сразу нескольких дачных поселков, раскинувшихся на этих землях, доблестно отвоеванных Красной армией у белофиннов. Благодаря старым связям Ксении Константиновне как вдове Петра Николаевича удалось сохранить за собой не только дачу, но и право на талоны.

Распределитель, не отмеченный на картах местности, заслуживает отдельного описания. Стоял он не при шоссе, а в сотне метров от него, укрытый густым ельником. Домишко на курьих ножках, обыкновенная избушка, то есть несколько избушек, несколько срубов, прильнувших друг к другу в едином пламенном порыве как можно лучше обслужить высокопоставленных покупателей. И чего только здесь не было! И ветчина, и буженина, и куры, и лососина, и икорка, и импортный коньячок. И по каким смехотворным ценам! А еще говорят, что финская война была бессмыслицей и сталинским безумием. Как для кого.

Помнится, по дороге – нужно же чем-то заполнить время – мой муж с энтузиазмом цитировал новые, только что опубликованные стихи одного из столпов советской поэзии. Я помалкивала. Он уловил в моем молчании некое пассивное сопротивление.

- Не нравится? – догадался он.
- Да нет, почему же... Очень мило. Бойкие, звонкие строки.
- Нет, это нужно уметь – бойкие строки! – мгновенно встрепенулся он.
- Спасибо, что не “разбитные”! Как можно этого не почувствовать, не понять? Человек наконец-то сумел выразить то, что десятилетиями камнем

лежало у него на душе!

– Да? А что ему мешало выразить свой камень лет пятнадцать назад? Или десять? Нынче уже дозволено выражать?

– Он верил! Миллионы людей верили! Это страшный внутренний конфликт, – произнес он наставительно. – Сколько отчаяния выпало на долю этого поколения. Нужна незаурядная смелость...

– Нет уж, извини, – не выдержала я. – Чтобы оправдывать собственные гнусности, большой смелости не требуется.

– Гнусности?! Это один из лучших, один из самых порядочных русских людей! Вся его семья была сослана в Сибирь!

– Вся семья была сослана в Сибирь, а он жрал водку в Кремле и лебезил перед хозяином. Всю семью в Сибирь, а ему Сталинскую премию. А тут вдруг прозрел! Все понял и осознал. Решился вдруг выразить свою большую обиду на родную советскую власть. Для этого, ты полагаешь, человеку дается талант? – закончила я не без пафоса.

Ах, если бы я устраивала ему скандалы из-за того, что он не в состоянии заработать мне на новую шубу! Это он понял бы. Может, еще и извинялся бы. Втайне страдал. Но перетерпеть такое!..

Конечно, сын – прелестный мальчик и к тому же прописан на площади бабушки Ксении Константиновны. Да, представьте, он, он! – собственной персоной, собственными, можно сказать, руками, подстроил матери такую неприятность: мало того, что вселил в ее квартиру чужую, совершенно неподходящую женщину, но к тому же моментально преподнес внука. Ужасно! Непростительно. Прекрасная квартира в старом, приличном доме, почти в центре города, что с того, что коммунальная – единственные соседи, тихие и незаметные, уборку в свою очередь неукоснительно исполняют, а он!..

Между кухней и ванной – куцый коридорчик, ведущий на общий балкон. Тихие-тихие, а потребовали, чтобы от Валиной комнаты отрезали проход на этот балкончик. И пришлось уступить, ничего не попишешь – суд признал балкон частью общего пользования. Постановил на целый метр передвинуть стенку. Несмотря на все былые заслуги Петра Николаевича и полную к тому времени реабилитацию всех осужденных по “ленинградскому делу”. Валя умоляла не переживать и утешалась тем, что это ей пришлось потесниться, а не Ксении Константиновне.

Родные сестры: сухопарая, строгая Ксения Константиновна – пышные седые волосы коротко, по-мужски, подстрижены; и Валя – полная, рыхлая, постоянно чем-то встревоженная, в любую минуту готовая то расплакаться,

то умильно раскудахтаться. Русая, по-девичьи толстая коса обвивает крупную круглую голову. Валя как бы застряла в подростковом возрасте, никто не принимает ее всерьез.

Весна, мы стоим на этом самом балкончике – еще не женаты, я еще не проживаю на их жилплощади. Евгений вдруг обнимает меня и прерывисто шепчет: “Мне лестно, что ты сочла возможным предпочесть меня всем прочим”. Подумать только – что за фраза, что за конструкция, что за слова такие: “сочла возможным”, “всем прочим”! Почему я не повернулась и не ушла, не бежала, не спрыгнула с этого чертова балкона?! “Лестно...”

Балкон, прохладная улица, совершенно пустая и влажная – ни людей, ни машин. В отличие от прочих петербургских улиц, не проведенная по линейке, а изящно, томно изогнувшаяся – речной берег вынудил следовать своему плавному изгибу. Кроны деревьев за балконной решеткой, у самых ног клейкий запах только что лопнувших почек. Тишина, прозрачность, бесконечность майского дня... Остались ли еще где-нибудь на земле такие вот весенние влажные улицы, не погребенные под грохотом технического прогресса и визгом городского транспорта? Аллеи, напоенные запахом пробуждающихся деревьев?..

Установив несхожесть наших литературных вкусов, с полкилометра мы двигались молча. Лугом. Вернее, пустырем, потому что мало что росло на этой проклятой земле. Рассказывали, что в тот год, когда закладывали поселок, место было вполне нормальное, по ленинградским понятиям, даже высокое, покрытое кудрявой рощицей, но по какой-то так и не установленной учеными причине оно вдруг начало оседать – будто кто-то давил на него сверху. Деревья постепенно пожухли и высохли (в том числе и то, из которого позднее было выдолблено громоздкое, вонючее и жутко неудобное кресло), да и трава почти вся исчезла. Тут и там начали проступать склизкие, гнилые, все лето не просыхающие лужи – дурная кислая вода. И год от года процесс набирал скорость. Интересно, что даже зимой, когда, казалось бы, все сковано льдом и морозом, это ржавое поле продолжало смердеть.

Не выдержав удручающего молчания и унылого пейзажа, мой супруг решил переменить тему:

- А ты хотела бы познакомиться с Фиделем Кастро?
- С какой стати мне с ним знакомиться?
- Нет, ну а все-таки, если бы тебе представилась такая возможность – познакомиться с Фиделем Кастро?
- Пускай с ним Евтушенко знакомится, – попыталась я отмахнуться.

– Евтух с ним уже знаком. А вот ты – допустим, тебя прикрепляют к нему переводчиком, а?

– Меня – переводчиком? Меня не могут прикреплять. Хотя бы по той простой причине, что я не знаю испанского языка. Что за чушь? Почему голова у тебя вечно набита какой-то шелухой, лежалой соломой? Почему все высказывания на уровне журнала “Крокодил”? И главное, почему тебя волнует этот мерзавец – Фидель Кастро?

– Значит, не хотела бы. Я так и думал. Кругозор курицы-несушки!

Нет, мой милый, это ты – курица-несушка. Видишь кучу навоза, который завезли, чтобы удобрить грядки, и думаешь, что это и есть весь мир. Что вся вселенная состоит из навоза. Из фиделей кастро и их обожателей.

– Между прочим, это большая честь – сопровождать Фиделя Кастро...

– Честь – сопровождать убийцу? Куда это его требуется сопровождать? На виселицу?

– Убийцу? – Он потрясен, однако успевает подхватить меня под локоть в тот момент, когда я едва не оступаюсь, в злобном своем упрямстве проигнорировав очередную мерзкую лужу.

В благодарность за услугу мне приходится прослушать лекцию о том, что Кастро вовсе не убийца, а революционер и очень даже многие порядочные люди состоят у него в друзьях и знакомых. И многие вполне достойные женщины мечтают провести возле него хотя бы полчаса.

Хорошо, допустим, глуп. Но разве глупость избранника непременно должна воспрепятствовать нежным чувствам? Любим же мы, например, собаку. А собачий интеллект ничуть не выше. Правда, собака не пытается выглядеть мудрой и энциклопедически образованной. Брешет, но не рассуждает. Не мечтает быть замеченной в полезных кругах, сделать карьеру и пристроить свою жену в любовницы к какому-нибудь негодяю.

Разумеется, самым правильным в данной ситуации было бы повернуть обратно к автобусной остановке. Но невозможно. Нас ждут. Валя извелась бы от тревоги, если бы мы вдруг не явились. Но главное – Денис: двоюродная бабушка небось уже раз сорок успела сообщить и повторить, что папа с мамой едут и вот-вот приедут. И даже отмечала вслух пункты на пути нашего следования – вот сошли с автобуса, вот пересекаем Чертово поле. Отступать некуда – сын, мальчик, он ведь ни в чем не виноват...

Люба ничуть не опечалилась, увидев нас с Денисом на пороге, даже как будто обрадовалась.

– Подумаешь, делов-то! Не вырастим, что ли? Еще как вырастим! Не хуже распрекрасного папаши. Да пусть он там треснет вовсе, хорек поганый!

Нет, не так сразу, конечно. Недели три Денис еще оставался с Валею на даче. А у нас все как прежде: я да Люба, Люба да я. Наша комната. Шкаф меж двух кроватей. Честный и справедливый раздел полезной жилой площади. Вот дядя Петя топает по коридору, распахивает дверь и является нашим взорам во всем своем милиционерском великолепии. На круги своя... А что? Адмиралтейская игла не померкла, и душа не разорвалась. Все оказалось проще и легче, чем представлялось. Перешагнула родной порог и успокоилась. Все, что было, позабыла. Да и было бы о чем жалеть!

Загрызла только внезапная тоска по отцу. Позднее раскаянье. Как же мало я о нем знала! В самом деле – не у Любы же было спрашивать... Вечная обида за маму, вечное недоумение – зачем пьет, где пропадает, почему не бывает дома, почему совсем не жалеет ее?.. А его – его не замечала. Не понимала, что такой красавец-мужчина, герой-орденоносец тоже может страдать. Что и ему бывает тяжело. Четыре года на такой войне... Четыре года кромешного ада. Возможно ли вообще пережить все это и остаться нормальным человеком?.. Передовиком производства... Какими слезами оплакивать мне теперь его единственную, порушенную, под корень исковерканную жизнь?.. И более того: почему? Кто и почему это допускает – чтобы такой великолепный человек так бездарно, мучительно прожил и так нелепо погиб? Как мне утолить теперь его боль, как дозваться, докричаться?..

“Марину Лозинскую сегодня принимают в партию, – сказал однажды мой муж – так, словно бы между прочим. Будто каждого в свое время принимают в партию. Будто человек не вступает по собственному желанию, а вот, ничего не поделаешь – пробил час, и принимают. – Пойдем послушаем”.

Марина Лозинская была дочерью близких друзей его родителей и, соответственно, его приятельницей. У них и дачи стояли по соседству. То есть, вероятно, так и были выбраны: по соседству. Марина, правда, не

увлекалась дачной жизнью, предпочитая Крым и Кавказ, в крайнем случае – Прибалтику. Образцово-показательная молодая женщина: всегда элегантно, всегда по моде одета, всегда в заботливо оформленной прическе. Выросла в благополучной семье, жизнью не обижена и собой довольна.

Партийное собрание было открытым – заходи кто хочет. Мы зашли и сели в заднем ряду. Марине задавали вопросы: какую общественно-политическую работу ведет, каким видит свое место в коммунистическом строю, и вообще: почему считает необходимым стать членом партии. Этот вопрос и меня интересовал: что, собственно, она – всем обеспеченная и вовсе не дурочка – забыла в коммунистической партии? Как-никак, мы жили уже после двадцатого съезда, Солженицына читали и Варламова тоже. А тут еще, как нарочно, и “оттепели” конец, и процесс Бродского.

Она на все вопросы отвечала четко и правильно и даже, я бы сказала, с некоторым вызовом и раздражением: да, действительно, общественную работу веду нерегулярно. “Совсем не ведете!” – воскликнул, подскочив на стуле, какой-то сидящий молодой человек с куриным носиком. “Совсем не веду, – запросто согласилась Марина. – У меня маленький ребенок”. И замолчала – расценивайте как хотите. Проголосовали и приняли почти единогласно.

“Слушай, – спросила я своего мудрого супруга по дороге к троллейбусной остановке. – Зачем мы туда потащились?” – “Ну как? – сказал он. – Поддержать товарища”. – “Поддержать – в чем?” Он, естественно, не мог потерпеть такого тона. Легко заниматься чистоплюйством тому, кто готов до самой пенсии просидеть на сто десять рублей в своем поганом издательстве. А есть люди, которые более ответственно относятся к жизни. “Ты тоже планируешь?” – поинтересовалась я. Молчание его подтверждало мою догадку. “Примериваешься к партбилету?” – “Между прочим, – ответил он, – твой отец, если не ошибаюсь, тоже был членом этой самой партии”. – “Не смей касаться моего отца! – сказала я. – Он не из вашей компании. Ты со всеми своими Маринами не стоишь подметки моего отца”.

После этого я поехала домой на троллейбусе – дав себе, впрочем, мимоходом честное слово каким-нибудь образом застрелиться в эту же ночь. А если не застрелиться, то по крайней мере собрать рюкзачок и уехать к чертовой матери навсегда в какой-нибудь Мурманск. А он развернулся и зашагал прочь – подальше от меня.

Да, мой отец был членом этой самой партии, но не таким, не таким, как Марина Лозинская. Знал ли он тогда, что я стою у окна и все вижу?

Вижу, как он пересекает улицу, упорно не замечая наезжающего грузовика. Пренебрегая неотвратимо накатывающей гибелью... Не попытался отскочить, уклониться. Не пожелал уступить... Старался не верить глазам своим, призывал на помощь бутылку, но и она в конечном счете не помогла. Завод. Двенадцать тысяч рабочих, двенадцать тысяч насмерть загнанных, запуганных и раздавленных людей, в пьяном виде переползающих из одного трудового дня в другой. Матери, которых по трое суток не отпускают от станков во имя выполнения производственного плана. Не исключено, что были среди них и женщины из его родной деревни. Молчал. Ради окончательного торжества коммунизма. А с кем он мог поделиться своими думами? Со смертельно больной женой? С председателем парткома? Вот ради чего четыре года ковалась победа! Молчал – стало быть, соучаствовал. Но понимал, конечно, понимал – ведь не стал добиваться всеобщей справедливости, не потребовал с какой-нибудь высокой трибуны освобождения всех советских колхозников. Нет, в частном порядке, обманув родную партию и прибегнув к хитрости – к фиктивному браку, – освободил одну-единственную девушку Любу. А уж такой был далекий от всяких хитростей человек! Сделал максимум возможного. Коммунист и фронтовик, прошедший под пулями от Ленинграда до Берлина. Смирился, принял правила засевших в Кремле шакалов. Нет, не принял все-таки – шагнул под колеса...

Как я могла не думать о нем, забыть, отвернуться? Какое неутолимое горе, какая черная тоска... Это я стояла тогда у окна. А потом закружилась в вихре бала – как же: молодость, весна, оттепель, любовь! Потеряла разум. Помчалась вприпрыжку на зов всеобщего ликования. Предала его, забыла. Подумать только – о чем кручинилась: что меня выкинут из комнаты! Вместо того чтобы оплакивать его загубленную жизнь. И это тоже – что не вспоминала, не плакала – травило, выгрызало теперь душу.

“Отец, отец, отец!” – взывала я по ночам в оконную пустоту. А днем мы варили кашу и жили дальше. Люба по простоте своей думала, что я переживаю из-за поганого хорька. Нет, поганый хорек тут был ни при чем.

Я продолжала ходить на работу и старалась скрывать внезапную перемену в своей жизни. Не такую уж, впрочем, внезапную... Перед глазами у меня стоял доблестный пример тех женщин, у которых ночью арестовывали мужей или братьев, а они утром подкрашивали губы и как ни в чем не бывало – лишь бы никто ни о чем не догадался – отправлялись на службу. Интересно, носить сережки или кулоны было недопустимо, даже обручальное кольцо считалось признаком буржуазных пережитков, а красить губы – пожалуйста, дозволялось. Красить губы было почему-то

оставлено советским женщинам.

И все-таки однажды, вычитывая какие-то длиннющие скучнейшие гранки, я вдруг сплеховала и разрыдалась прямо за рабочим столом.

Чем ужасно напугала бедную Люсеню. Как легко она пугалась! Просто ждала – чего бы такого испугаться.

– Что-нибудь случилось? – спросила она дрожащим голосом.

Мы сидели лицом друг к другу за двумя плотно сдвинутыми столами, она смотрела на меня своими удивительными, широко распахнутыми голубыми глазами и, кажется, сама не прочь была всплакнуть за компанию. К счастью, никого из прочих сотрудников в эту минуту в комнате не было. Ни Людмилы Аркадьевны, ни Татьяны Степановны, ни старшей корректорши Фаины Васильевны, ни даже практиканта Мити.

– Нет, ничего, абсолютно ничего, – замотала я головой.

Но она не поверила.

– Просто сегодня годовщина смерти моего отца, – придумала я. Нужно же было подыскать какое-то приемлемое объяснение...

Она вздохнула и еле слышно пробормотала:

– Я знаю это состояние. Поверь, никто тебя не понимает так, как я...

Разумеется, это была неправда – она совершенно не понимала меня. Я и сама себя не понимала.

Порывшись в столе, она вытащила из-под слоя служебных бумаг письмо в помятом, изрядно пожелтевшем конверте и протянула мне.

– Прочти...

Я кое-как утерла глаза и стала читать.

“Здравствуйте, прелестная моя, милая ученица!” – было написано витиеватым, ломаным почерком без малейшего наклона – ни вправо, ни влево. Дальше сообщалось, что автор письма, как всегда, в первую очередь беспокоится о делах и просит сделать как можно больше отпечатков с той пленки, что переслал, пока “фотошарашка” не закрылась на лето. Я пропустила несколько строчек, вернее, почти весь текст до конца страницы, где речь шла о каких-то исследованиях Матье, Струве и Тураева, а также о поэме Майкова “Вакх разъяренный”. Автор письма (несомненно, обожаемый Фридлянд) сообщал, что его подлинно волнует (и главное – стояло в скобках и было подчеркнуто – **это подлинно важно**) направление ее развития, а развиваться вне общества, как известно, невозможно, поэтому ей придется развиваться в его обществе. Потом было что-то про задний ход – дадим задний ход, и все преследования останутся тщетными... “Основная причина моей уклончивости в суждениях о Ваших последних стихах, – писал он в конце, – что я до сих пор не сдержал

обещания дать Вам какое-то позитивное обозначение (если не полновесное выражение) своих эстетических идеалов. Негативное, то есть в смысле критики, я бы мог высказать много – не по Вашему поводу, а о традициях нашей поэзии вообще. Она все еще неисправимо ювенальна...”

Я взглянула на Люсю – она держала наготове еще одно письмо, судя по конверту, достаточно свежее.

“Здравствуйте, прелестная моя, милая ученица!” – прочла я снова, однако почерк на этот раз был круглее и мельче и с явным наклоном вправо. Я подумала, что пишет уже кто-то другой, но, перевернув листки, убедилась: нет, подпись та же. Те же инициалы: Ю. Ф. Даты не было ни в первом случае, ни во втором – вечное нетленное послание любому заинтересованному лицу женского пола. Не исключено, что за годы, отделявшие первый вариант от второго, изменился не только почерк, но и сама личность автора, странно только, что совпадал текст. Опять в первую очередь было о делах, правда, каких-то других, и о том, что хотелось бы уже от греха подальше быть. “Надеюсь, – писал Фридлянд (надо думать, что он), – по моим предыдущим письмам Вы ощутили, насколько тщетны и суетны были Ваши опасения и обиды. Моя нелепая женитьба явилась следствием всего пережитого в предыдущие девять лет, в которые я вообще не наблюдал ни единого женского силуэта”. И призывал не плевать учителю в душу, особенно когда он в таком тяжелом состоянии (в расстоянии одного шага от непоправимого). Дальше слово в слово шло, что его “подлинно волнует (**и это подлинно важно**)” направление развития, а поскольку развиваться нельзя вне общества, то милой прелестной ученице, по его предвидению, придется развиваться в его, Фридлянда, обществе, хотя и заочно.

Я посмотрела на Люсю.

– Это она мне переслала, – пояснила Люсенька срывающимся голосом, – чтобы я знала, что мне не на что больше надеяться...

Я поняла – жестокая разлучница переслала ей письмо. Но зачем? Не слишком полагается на собственные чары, добивается семейного скандала?

Ах, Люся, оставь это, брось, перестань о нем думать, хотела я сказать, он того не стоит! Бери пример с меня: вот я – перешагнула и забыла. И ты сможешь, если постараться... Но вспомнила, что Люся не в курсе моих семейных дел. В сущности, она должна была бы радоваться, что избавилась от этого уroda. От этого жернова на своей шее. Да, конечно, не исключено, что и его следует пожалеть – все жертвы. Конечно, конечно: прямо со школьной скамьи да на девять лет в лагерь – разумеется, не фунт изюму. Травмированный человек, с тяжелыми нарушениями. А может, от природы

мерзавец. Все равно, какая разница? Пускай себе катится на все четыре стороны, к своим прелестным ученицам, пускай выматывает душу из кого-нибудь другого. Надо же! – хранит черновики своих писем и время от времени дублирует. Нисколько не смущаясь общей бредовостью содержания.

Да, подумала я дальше, но и Люся хороша. Держит эту чушь при себе, даже на работу притащила.

– Ты знаешь, что самое ужасное? – спросила она. – Мне действительно... не на что больше надеяться... Такого человека невозможно встретить дважды. Какая-то страшная пустота вокруг – не за что ухватиться... – Она раскрыла сумочку, порылась в ней, вытащила беленький кружевной платочек, промокнула слезинку, выступившую в уголке глаза. – Знаешь, у меня родители... совсем простые люди. Отца я вообще плохо помню, он в конце войны умер. Малообразованные люди. Бабушка, мамина мама, кухаркой была – до революции. До революции, мама говорит, еще ничего, хоть еды хватало, а после всю жизнь только и делали, что бились за кусок хлеба. В самом прямом смысле. На заводе работали, очень тяжело – где уж тут думать об образовании... Я когда встретила его... Как будто солнышко взошло, как будто все засияло вокруг. Такой необыкновенный ум. В лагере – представляешь? – в таких тяжелых условиях! – три языка выучил, все перечитал – литературу, поэзию, философию. Подумать страшно, сколько в мире всякой премудрости. А я... обыкновенная советская дурочка. Он на многое открыл мне глаза. Как будто явился из другого мира. Не смейся, мне казалось, что я припала к чистому благодатному роднику... (“Не смейся!” – вот уж действительно подходящий к случаю призыв.) Что я могла дать ему взамен? Только свою любовь... Раствориться в нем. Ты знаешь, мне тогда казалось – нет никого счастливее меня. Мы сняли комнатку в пригороде, на Стрельне, кормили приходящую кошку... Я всегда была только приложением к нему. Но оказалось, что на свете есть другие женщины: поинтереснее меня. Нет, я не виню его. Что я? Стекланная бусинка. Ну, поднял, положил в карман. А потом увидел настоящий изумруд. Не знаю... Такое ощущение...

Я обязана была что-то сказать, образумить ее, утешить, ободрить – постараться убедить, что не сошелся свет клином на бесстыжем Фридлянде, что все, что знает Фридлянд, узнать может каждый, а сердце такое только у нее, у бесценной неповторимой Люси. Но меня вдруг охватила досада на ее непроходимую глупость, и вместо всех этих слов – вместо того, чтобы подать надежду и помощь и хоть как-то развеять сгустившуюся вокруг нее тьму, – я только мрачно вздохнула. “Безнадежно,

– подумала я, – ничего не поможет, никакие слова и убеждения. Она упивается своим отчаянием и уже забыла все его мерзкие выходки!” Оба лежавших передо мной письма были покрыты следами слез – Люсиных, конечно. Сукин сын Фридлянд, несомненно, и разыгрывал всю эту комедию в расчете на ее слезы.

Окно нашей комнаты, как многие ленинградские окна, упиралось в близкую глухую стену. Люся сидела неподвижно и неотрывно глядела на почерневшую кирпичную кладку. В одном метре от меня, но безумно далекая. Я могла бы протянуть руку и коснуться ее руки, но не сделала этого.

Через несколько лет после ее смерти мне в руки попало еще одно письмо. Случайно – если в жизни вообще бывают случайности. Письмо было отпечатано на машинке (а может, перепечатано с оригинала) и без подписи, а адресовано Инге Степановне (именно так звали Люсенькину свекровь, проживавшую в далеком сибирском городе. Вероятно, она была дочерью многих народов, в разные времена сосланных в этот край). Звучало оно примерно так:

“Юра просил меня переговорить с Вами, пока он жив. Мне нужно очень много сказать Вам, пожалуйста, не перебивайте меня. Вы не сразу поймете, что происходит. Вы должны понять и поверить, что Люся и все остальные находились в глубочайшем заблуждении относительно его намерений. У него не было ни малейшего плана расставаться с ней. Он не мыслил своей жизни без нее – в самом прямом и решительном смысле. К сожалению, по разным причинам он избегал объяснений с ней, но никогда не говорил неправды. Она внезапно перестала ему верить, приняв на веру заведомую ложь. С ней обошлись как с краденой вещью – боясь разоблачения, поторопились избавиться. В течение суток его не пускали к ней. Она подвергалась постоянному давлению трех мужчин, не оставлявших ее ни на минуту. Ей не передавали его писем и телеграмм. Это более чем уголовщина. В чем бы он ни был в прошлом перед ней виновен, он пострадал страшно и незаслуженно. Друзья добыли для него в долг большую сумму денег, чтобы он мог предпринять действия в свою защиту. Сделанное ею от отчаяния или из желания мести уже непоправимо, но нельзя допустить новой катастрофы. Вы плохо до сих пор знаете, какой драмой это может обернуться. Вы поступили удивительно, позволив ему уехать, не выслушав от него ни слова. Постарайтесь немедленно выехать в Ленинград. Трудно поверить, что друзьям он дороже, чем собственной матери и всем, кто поступил с ним так безответственно. Если он оговорил

Обручевых, то только от отчаяния. Теперь требуются вполне определенные действия, а не догадки и приговоры.

PS. Если все кончится благополучно, придется немедленно вернуть первый долг – 50 руб.”.

Да уж – куда благополучнее...

Я имела возможность перечитать это послание несколько раз, но все равно мало что поняла. Долго недоумевала, как можно “перебить” того, кто пишет письмо – “пожалуйста, не перебивайте меня”. И что за трое мужчин – “подвергалась постоянному давлению трех мужчин”? Три ангела смерти: “И вот, три мужа стоят против него...” Мы с Люсей виделись едва ли не каждый день, и никаких мужчин возле нее не наблюдалось. В течение рабочего дня она достаточно нудно и однообразно тревожилась о детях: Таточка кашляла ночью, у Витеньки поносик, неизвестно, где достать теплые ботиночки, – хотя нет, Витеньки к тому времени уже не стало, ботиночки требовалось доставать только для Таточки. И от кого, от какой напасти вынужден был обороняться безутешный муж? “Нас разлучали, мои письма к тебе перехватывали...”

Образ автора трагического воззвания как-то не складывался в моем воображении. Единственное, в чем я была убеждена, – что писала женщина лет тридцати семи – сорока. Такая же истеричная и экзальтированная, как и все его окружение. Теперь же, по прошествии многих лет, мне приходит в голову, что автором послания был сам Фридлянд. Поэтому и отпечатано на машинке. Странно, однако же, что не позаботился о подписи. Мог бы, например, проставить “Доброжелательница”.

Поганый хорек не треснул, а, как выяснилось, получив развод, вскоре женился – на этот раз, по-видимому, удачно. Что ж, он обладал множеством положительных качеств и свойств, несомненно способствующих семейному счастью. Не отказывался, например, вымыть посуду, даже торопился опередить меня в этом малоувлекательном занятии. Однажды чрезвычайно растрогал меня тем, что глубокой ночью выскоблил и вычистил до блеска мои белые туфли, угодившие-таки в зловонную болотную яму.

Они с Дениской уже несколько дней пребывали на даче, а я должна была присоединиться к ним в пятницу после работы. Бедная Валя подхватила какой-то зловредный вирус и, опасаясь заразить Дениску, валялась теперь с высокой температурой в Ленинграде, под присмотром Ксении Константиновны. После работы я отправилась за чем-то в магазин, в результате опоздала на автобус, пришлось целый час ждать следующего. С автобуса сошла уже в сумерках и, пробираясь через Чертово поле, провалилась в довольно глубокую липкую жижу – к счастью, одной ногой, другая чудом зацепилась за что-то торчавшее на краю. Добравшись наконец до дому, я кое-как отскребла и вымыла ноги и завалилась спать, а туфли бросила перед крыльцом. Утром разберемся. Вообще-то, туфель было ужасно жалко – только этой весной куплены. Однако, поднявшись ото сна, я с изумлением обнаружила их чистенькими и сверкающими, выставленными на солнышко на просушку. И это в ту пору, когда он уже твердо знал, что я вовсе не девушка его мечты. Мне бы, должна признаться, не пришло в голову среди ночи чистить и мыть его обувь, приключись такая неприятность не со мной, а с ним. Трудлюбивый, аккуратный и чистоплотный человек – что есть, то есть.

Первое время он еще как-то интересовался Денисом – водил его на мультфильмы и в зоосад. Во всяком случае, Валя два раза в неделю регулярно являлась забрать своего воспитанника, и тот, вернувшись домой, лопотал что-то и про папу, и про “бабуку Сению” – Ксению Константиновну. Но затем последовало странное и внезапное охлаждение. Я бы сказала, необъяснимое. Кто-то из соседей однажды постучал в нашу дверь: к телефону!

Я подошла. Телефон – серая, замызганная и истертая по углам

железная коробка – висел в коридоре. Разумеется, единственный на всю нашу многонаселенную квартиру.

– Это пора прекратить, – пророкотал в трубке мучительно знакомый голос.

– Что? – спросила я с некоторым опозданием – внезапная судорога перехватила горло.

– Всю эту историю, – отвечал он как-то неопределенно, но твердо. Потом пояснил: – Я сказал Вале, чтобы она больше не ходила к вам.

Я пыталась понять, чего он добивается, но не справлялась с задачей. Опять как-то получалось, что я сделала что-то не так – или, наоборот, чего-то не сделала и вновь оказалась перед ним виновата.

– Это никому не нужно, – повторил он. – Ребенок от этих визитов только расстраивается.

– Послушай, – сказала я, чувствуя, как холодная волна подкатывает к голове. Одна из соседок, вместо того чтобы двигаться по своим надобностям дальше по коридору, остановилась в двух шагах от меня и даже приоткрыла рот, намереваясь что-то произнести. То ли именно в эту минуту ей приспичило позвонить свояченице, то ли она желала дать мне полезный совет. – Делай что хочешь, – произнесла я в трубку, – но, пожалуйста, больше мне не звони!

Любы, к счастью, в тот час не было дома, так что не пришлось хотя бы ей давать отчет и повторять, что сказал он и что ответила я.

“Не звони!” А он и не собирался. Один раз мы случайно столкнулись в “Пассаже” у кассы. Он слишком поздно заметил меня, споткнулся на ходу, нахмурился и поспешил изменить направление.

Время от времени общие знакомые, движимые исключительно добрыми чувствами, сообщали мне какую-нибудь подробность его существования. Оказывается, новая жена не пожелала жить со свекровью (и правильно, между прочим, сделала). Они купили кооператив – однокомнатную, зато отдельную квартиру. В новостройке, у черта на куличках.

Последний раз мы встретились в детском театре. Незадолго уже до нашего с Денисом отъезда в Израиль. Он стоял с женой и сыном – новой женой и новым сыном. Она оказалась плотненькой приземистой женщиной с малопримечательным, стандартно интеллигентным лицом. Мне, конечно, доложили, что она на три года старше Евгения (и таким образом, на восемь лет старше меня). Такой вот странный выбор. Хотя, может, и правильный. Может, она сумела наполнить его жизнь каким-то отчетливым смыслом. Указала путь к желанной цели. Покорила своей разумностью. Избавила

наконец от тяжелой материнской опеки. От постоянной необходимости куда-то устремляться и чего-то добиваться, изыскивать новые возможности, проявлять себя и доказывать. Мне как-то и в голову не приходило бороться с мощным влиянием Ксении Константиновны. Казалось излишним и непорядочным. Да я бы и не сумела.

Мы оказались рядом в плотно забитом людьми театральном фойе – он стоял со своим новым сыном, придерживая мальчика за плечо. Заметил меня, заметил! Привычная досада проступила на лице. Ясное дело – я ведь нарочно, исключительно ему назло, явилась на этот спектакль. Развернулся всем корпусом и предоставил любоваться своим затылком. Так и не простил мне моего присутствия в этом мире. Однако же изменился за истекшие пять лет. Слишком как-то даже изменился: поплотнел – под стать новой жене, – отпустил окладистую бородку либерального направления. Не скрою, порадовало меня то, что на нем был знакомый жилет из эстонской шерсти – в черную и красную полоску. Если человек для похода в театр не нашел ничего более подходящего, чем потрепанный жилет, который бывшая постылая жена связала ему шесть лет назад, это, по-видимому, о чем-то свидетельствует. Например, о том, что он не сделал великой карьеры, не слишком продвинулся по службе, не добился больших чинов, не сумел использовать постоянно открывавшиеся перед ним возможности, не удостоился дружбы высокопоставленных людей, то есть многое в жизни упустил и не усек. И все это, несомненно, могло бы утешить отвергнутую супругу, однако острой иглой пронзило сердце от того, что, ласково прижимая к себе нового сынишку, он даже из приличия не взглянул на моего Дениса. Затасканный образ: “острой иглой” и “пронзило сердце”. Но именно так: именно иглой, и к тому же мучительно длинной и медлительной, и именно пронзило, прошло насквозь сбившееся с ритма сердце. И только по этой причине – внезапной невыносимой боли, а не для того, чтобы смущать их своим присутствием, – я продолжала какое-то время стоять на месте. Поди ж ты – уже совершенно чужой и ненужный человек, причем совсем не прежний бравый молодец, пышущий неукротимой энергией и всякими планами, вовсе не златокудрый Феб – поникший и пришибленный житейскими заботами советский гражданин средних лет... А так больно... Кстати, мальчики оказались похожи. Как будто матери не принимали активного участия в их генетике.

Пять лет ни разу не вспомнил и теперь не пожелал взглянуть. Интересно, как этот странный каприз объяснялся многочисленным друзьям и знакомым? То есть, вообще-то, явление в России довольно распространенное – множество мужчин бросают навсегда и жен и детей и

еще пытаются при этом, насколько удастся, увернуться от алиментов. Но не в порядочном обществе – в интеллигентной среде не принято столь откровенно пренебрегать отцовским долгом. Сумел, значит, перешагнуть и через это. Приискал какое-нибудь достойное оправдание. Справился с помощью новой жены. Или мамы.

Ничего: перед нами уже открывался вид на Иудейскую пустыню и деревню Хизма – божественный Бет-Азамот...

Правда, в таких обстоятельствах никак невозможно обойти законного отца – для вывоза за границу несовершеннолетнего ребенка требовалось его разрешение. (Для выезда вполне взрослых и даже пожилых людей тоже требовалось разрешение родителей. Но с этим вопросом у меня не могло возникнуть затруднений – Любиного согласия не спрашивали.)

Мы встретились в кафе-стекляшке. Через знакомых – что ни говорите, без них не обойдешься – я добыла его рабочий телефон (домой нельзя – жена). Позвонила и назвала себя. (Только именем, без фамилии – произнести его фамилию – подумает что-нибудь не то, а девичью, которую я вернула себе после развода, он помнить не обязан.) Сказала, что нам необходимо встретиться. По делу. Он замялся, засопел в трубку. Я хотела напомнить, что не слишком докучала ему в последние пять лет, но вовремя удержалась – чем меньше препирательств, тем лучше. “Хорошо”, – выдал он наконец и назначил мне встречу возле конечной станции метро (максимально удаленной от той, где жил).

Я пришла первая. Он удивился: “Что – опоздал?” Заказал себе пиво, а мне кофе. К кофе я не притронулась и как можно более сжато объяснила, зачем он мне понадобился. “Я, со своей стороны, разумеется, отказываюсь от дальнейших алиментов”. Привычная угрюмость как-то постепенно-постепенно, медленно-медленно начала сползать с его лица и уступила место недоумению. “Что у тебя общего с Израилем? – хохотнул – догадался! – Вышла замуж за еврея?” – “Нет, пока что нет. Моя мама была еврейкой”. – “Вот как...” – силился оценить информацию. Кажется, не поверил. Заподозрил какой-то обман или подвох с моей стороны. Надо же – изобрела себе мамашу. Опять глянул на меня – с неподдельным, даже тревожным интересом: как? Неужели он в свое время чего-то недопонял? Недооценил... Неправильно истолковал... Выходит, я не так проста, как ему представлялось. Прямо-таки онемел от удивления и позабыл порадоваться, что больше никогда и нигде – даже случайно возле кассы – не встретит меня.

Срезая угол обширного квадратного поля, взволнованные обилием света и внезапным пришествием весны, молодые и самые счастливые, мы шагаем по безупречной снежной целине. Высокое искристое небо, солнце светит и даже греет и никогда, никогда не покинет напоенного голубыми переливами зенита...

Неужели это было то самое место? Неужели уже тогда под этим белым пушистым пластом таилось загнивающее болото? Готовились чавкающие ловушки? Беспечные, влюбленные и смешливые, мы были единственными хозяевами сверкающего поля и бесконечного бездонного неба. Снежная равнина упиралась в ельник. Елки росли густо, жались друг к другу тонкими стволами, выставляли непроходимые кордоны из сцепленных и переплетенных, погруженных в глубокий снег колючих лап. Редко-редко где к земле пробивались узкие полоски, малые обрывки солнечного света. И вдруг чащоба расступилась: в глубокой ложбинке, цокая копытцами по гладкому ледяному ложу, скакал крепенький, рожденный первым солнечным днем ручеек. Через канаву был перекинут мостик – уложенные рядом две половины толстого, распиленного, а может, расколотого бревна. Евгений переправился по нему на ту сторону и протянул мне руку. Я шагнула на мокрые серые бревна, глянула вниз, в звенящую и трепещущую серебристую воду, и оказалась в его объятьях.

В тот же миг все частицы растрескавшегося и пошатнувшегося, давно и безнадежно распавшегося мира вздрогнули, устремились навстречу друг другу и встали на изначально предназначенные им места. Исполнили Замысел. Никакие космические колесницы, запряженные бессчетными мириадами небесных коней, не смогли бы растащить в стороны две полые чаши, замкнувшие в себе абсолютное совершенство этого дня.

Беги, беги, мой друг, спеши, выискивай более привлекательные варианты, хватай за хвост свою правильно спланированную удачу. Выстраивай разумное здание посильных достижений. Если уж тебе удалось разомкнуть наши объятья...

Интересно, по орбитам каких вселенных гуляют теперь наши тени – две половинки расколотого бревна?

Я заглянула к Паулине в библиотеку и, к своему удивлению, увидела там Пятиведерникова. Хотя, собственно, чему удивляться? Забрел от безделья. В надежде выпросить у жены десятку на пиво.

Паулина, вскарабкавшись на лестницу-каталку, переставляла на верхних полках монументального многометрового стеллажа вверенные ее заботам толстенные почерневшие и потускневшие от времени тома. Не исключено, что один раз в двадцать или тридцать лет некий оригинал или полный бездельник сунет свой нос в какое-нибудь сокрытое под этими переплетами сочинение – восстановить в памяти глубокомысленную или, наоборот, забавную цитату. И как будет замечательно, как славно, что, когда он явится – этот чудак, этот книжный червь, – нужный том действительно окажется на указанном месте. Тоненькая ниточка человеческого общения и взаимопонимания протянется из 1786 года в 1986-й. Читатель и автор обрадуются друг другу, возможно, даже обменяются неким остроумным соображением. Раз в год – а может, и два – заботливые потомки давно покойных сочинителей освобождают стеллажи от всяческой трухи и паутины – совершают положенное по правилам хранения обеспыливание. Имена авторов поминаются в школьных и университетских учебниках, но мало кто из живых раскрывает загнанные на верхние полки фолианты...

Заметив меня, наша рачительная библиотекарьша обрадованно помахала рукой:

– Как хорошо, что вы пришли! Я хотела даже вам позвонить, но посмущалась беспокоить. Ко мне сейчас должна нагрянуть – правильно я сказала: нагрянуть? – комиссия из мэрии. Некрасиво все-таки, что читательский зал у нас почти пуст. Я была бы вам чрезвычайно рада, если бы вы смогли задержаться на полчаса. Это ужасно, что люди из-за телевизора почти перестали читать книги! Раньше здесь бывала значительно ббольшая публика.

Действительно, на весь просторный зал не набиралось и десяти посетителей. Между матовыми фисташковыми поверхностями столов и белыми колпаками дневных ламп торчали три-четыре старушечьи головки да еще одна какого-то студентика, которого я поначалу из-за длинных волос приняла за девушку. Так что мы с Пятиведерниковым являлись существенным подспорьем. Я обнаружила в русском отделе (состоящем из трех застекленных шкафов и одного открытого стеллажа) “Былины Печоры

и Зимнего берега” и устроилась с ними у окошка. Пятиведерников, помещавшийся до того двумя рядами впереди, захлопнул лежавшую перед ним книжицу, втиснул ее на ближайшую полку и также прошагал к русским изданиям. Вернулся он с журналом “Современник” за 1843 год (под редакцией Плетнева) и уселся со мной рядом – при этом даже не глянув на меня, не то чтобы как-нибудь приличия ради поприветствовать.

Издание оказалось академическое. Одни и те же былины были многократно представлены в разных изложениях и снабжены подробными комментариями. Так, например, “Про богатырёва сына Дюк Степановича” имелось три версии. “На дальней стороншке был богатырёв сын. Он был молодёшенек. В інно утро взял он трубку подзорную и вышел прогулятьца. Вот он стал эту трубку воротить под западну сторону...”

Пятиведерников вытащил из внутреннего кармана чрезвычайно просторного пиджака (добытого, очевидно, на благотворительном складе) средних габаритов блокнотик и сделал какую-то выписку.

“Вывел Дюк Степанович коня доброго, на коня руки накладыват – у коня туша гнётца...”

Забавно – Любина мать так писала: “Уж и не знаю, доча, доведёца ли нам свидца да и когда”. Разглядывая эти ползшие враскорячку по тетрадному листику грустные строки, я сокрушалась о малограмотности простого русского народа, а причина, вероятно, заключалась не в малограмотности, а в том, что обитала эта крестьянская женщина не у стен Зимнего дворца, а у кромки дальнего Зимнего берега. Где и былины, и дедовские речения слагались по иным правилам и понятиям. Люба тоже как-то написала мне (но это в шутку): “Ты только не вздумай, девка, в Москва-то реке топитьца, давай ворочайся домой, и не кручинься, родная, все у нас образуйца”. Это когда я очень убивалась из-за того, что не прошла по конкурсу в Московский геологический институт...

Между прочим, пора уже мне “сдаваца” – “признаца”, что письмо ее не дочитано и безнадежно потеряно. Вот хоть бы сейчас взять да и написать, благо все равно бездельничаем – ломаем комедию, тянем кота за хвост, ждем дурацкую комиссию. “Извиняюсь, свет ты мой, Любовь Алексеевна, не дочитала я твоего послания – то ли дети куда задевали, то ли собака сжевала. Не обессудь. Если было там что важное, не прогневайся, потрудись, опиши заново...” Правильно. Разживемся парой чистых листиков и напишем. Пойду спрошу у Паулины.

Однако в тот момент, когда я приподымаюсь со стула, за спиной у меня звучит вопрос:

– Зачем вы сюда приехали?

Позы не изменил, взгляд нацелен в окошко.

Можно, в принципе, и не отвечать.

– Куда? В библиотеку?

– Нет, в эту страну...

– А вы?

Поворотил наконец буйну голову и в раздражении слегка отпихнул свои записи.

– Это у вас так принято – у вашей нации – отвечать вопросом на вопрос, да?

– Решила поворотить свою жизнь под западну сторону.

Вскипел:

– Вонючая лужа эта ваша западная сторона! Извините, конечно, за выражение. Не за библиотечным столом, как говорится, будет сказано.

– Почему же? Выражайтесь на здоровье, – откликаюсь я. – Только, мне кажется, вы повторяетесь. Мы уже обсуждали эту тему. – И твердым шагом направляюсь к столу выдачи книг.

– Вы, верно, спешите, вы должны уйти! – пугается Паулина. – Не понимаю, почему они запаздывают!

Я заверяю ее, что нет, не спешу, готова сидеть сколько потребуется – если только она будет столь любезна и снабдит меня несколькими листами писчей бумаги.

– О, конечно, конечно, – радуется она и выдает мне целую пачку бланков с библиотечным грифом.

Ничего, сойдут. Даже солиднее.

– Что ж такого, что повторяюсь? – продолжает Пятиведерников, дождавшись моего возвращения. – Наболевшая тема. А может, навязчивая идея. Русский эмигрант имеет право на навязчивую идею. А сторона действительно вонючая. По абсолютной шкале ценностей – гнусная, лицемерная, лживая, ультракапиталистическая!

– Так уж и гнусная! – перечу я. – Воплощенная мечта всего человечества.

– Что ж, – изрекает он, – остается только посочувствовать этому человечеству. – Но после некоторой паузы сдается: – Не исключено, разумеется, что остальные еще хуже...

Студентик бросает недовольный взгляд в нашу сторону.

– Вы мешаете людям постигать истину.

– Таково мое призвание – мешать людям. Жизненный принцип: не живи сам и не давай жить другим. Верно, верно: торчу тут у всех как бревно в глазу, Павлинку бедную забижаю, бездельничаю, пьяное

существование веду, наращиваю бесцельно прожитые годы. Все, что ни делаю, – все скверно. Достоинно осуждения!

Студентик, сгребши в охапку литературные источники, перебирается на противоположную сторону зала – подальше от нас.

– А все почему? Никто не дает положительного направления. Нужно дать человеку положительное направление. Указать неприкаянному его местечко. Неужто во всей этой уютненькой раскладочке, в этой дивной мечте человечества, не сыщется зазора для одного нечаянно забредшего изгнанника? Какой-нибудь складочки в королевской мантии? А? Тепленькой норушки в этом вашем протухшем болотце – хрю-хрю? А?

– Слово “зazor” в русском языке имеет двоякое значение, – сообщаю я.

– Из былин вычитали?

– С детства умудрена. И потом, насколько мне известно, свое местечко люди обязаны отыскивать сами. Разумеется, не пренебрегая помощью друзей, знакомых, родственников и прочих благожелательно настроенных людей. Ищите. Вы свои таланты и возможности лучше знаете.

– Бросьте, никаких особых талантов не требуется! Хрюкать и нахваливать помой – много ума не надо.

Паулина издали, с верхотуры своей ползучей стремянки, бросает умоляющий взгляд в нашу сторону: “Соблюдайте тишину!”

Она права, нужно иметь совесть. “Тут они стали на спор подходить... Князья и бояры стали бороться, и Дюк Степанович всех повыметал...”

Что за странное имя – Дюк? Неславянское какое-то... Или это прозвище? Но ведь Степанович?

– А некоторым не хочется хрюкать, – не унимается мой сосед. – Все хрюкают, а меня вот, представьте, не тянет. Все тешусь, дурак, надеждой, что где-то, хотя бы в какой-нибудь Санта-Элула-лиа-дель-Рио, имеется праведное устройство.

Я вынуждена признать свое ничтожество: Санта-Элула-лиа... Да еще: дель-Рио – это надо же умудриться такое выискать и выговорить! Однако насчет праведного устройства – сомневаюсь. Никогда не видела этого дивного местечка со столь затейливым названием, но догадываюсь, что и там не все стопроцентно благолепно и благополучно. Наше личное несовершенство служит порукой тому, что праведное устройство в этом славном мире недостижимо.

Захлопнул и пришлепнул ладонью почтенный журнал, не удовлетворивший его, Пятиведерникова, читательского спроса, и устремил свой внутренний взор за пределы читального зала. Но и там, как видно, не обрел утешения.

– Нелюди! Приложения к кошелькам. Замечали? Передвигается в пространстве добротный пухленький кошелек, а к нему приложено нечто на двух ногах. Собрание мышц и жил, которое позволяет кошельку совершать необходимые манипуляции. От слова “мани”! Наскребывать наварец. Каждому кошельку – собственный биологический движок. Двойная функция: наращивание капиталистического жирка и охрана накопленного от посягательств преступных элементов, желающих присвоить кошельковые сокровища. Правильно – иммигрант тут особо опасен: так и жаждет запустить свою костлявую озябшую лапу в чужую мошну.

– А Паулина – разве не исключение? – напоминаю я. – Она ведь бессребреница. Борец за справедливость.

– А как же! – воодушевился, вскинул голову и глянул в сторону своей супруги, хлопчущей теперь у главного выставочного стенда, главной своей гордости: книжные новинки и бестселлеры. – Павлинка – да, готова на подвиг: выклянчить очередную подачку на страждущих. Не для себя – для ближнего. Клянчить на ближнего – благородно! Возвышает. Придает смысл существованию. Представляете, некий падший и загнанный в угол поганец от нее зависит. От ее расторопности! От ее благодеяний. Пусть неведомый и на большом расстоянии, но зависит. Власть! У блохи собственная собака.

– Это вы, что ли, собака? – пытаюсь я уточнить.

– И не такая уж, между прочим, бессребреница, – игнорирует он мою язвительность, – тоже имеются кой-какие подкожные накопления. Банковские программки. Тоже живем по правилам. Скупа как черт!

– Вас послушать, так любому доброму побуждению можно приискать подлую подоплеку.

– Сильно и стараться не приходится, – усмехается он. – Добрые побуждения! Вам, как своему человеку, можно сказать, близкому к дому, могу доверить один производственный секретик. Ваша приятельница получает тут некие, и не такие уж, между нами, мелкие суммы по доверенностям от российских диссидентов – проталкивает в печать их великие нетленные сочинения, драгоценные для западных кровопийц материалы, порочащие советский строй, и имеет с этого неплохой наварец. Денежки со всей Европы стекаются. Из-за океана тоже. А вот куда они утекают, это, так сказать, отдельный вопросец... Весь расчет теперь на то, что КГБ сгноит-таки преследуемых авторов в психушках и разного рода исправительных заведениях. Тогда и концы в воду.

– Перестаньте, не выдумывайте! – торможу я эти семейные

разоблачения. – Не сочиняйте и не клеветайте. Не верю и не желаю слушать.

– Напрасно, советница. Это не клевета, а самая что ни на есть достоверная правда, – упорствует он. – Ладно, закроем временно щепетильную тему. – И, порывшись в том же кармане, вытаскивает пачечку тоненьких листков, исписанных меленьким аккуратным почерком. – Вот... вчера получил... Друг в Америке... Интересуется, между прочим, насчет вашего Израиля. Почитайте, коли не лень.

“*Dear SIR!* – начиналось письмо из Америки. – Надеюсь, я еще не утомил тебя своими размышлениями. Вчера закончил чтение романа 1930 г., действие же относится к 1775 г. Идея – захват Канады и присоединение к США путем оккупации Квебека – политико-экономического центра. Стратегически операция оправдана – расширение базы. Армия США (ополчения штатов) 500 тысяч человек. В стране максимум 50 тысяч англичан. В Канаде войск практически не было (лишь местные ополчения). Психологически англичане прикованы к Бостону, Нью-Йорку, и операция стратегически явилась внезапной (редкое явление)”.

Я не удержалась и подняла изумленный взор на Пятиведерникова – как?! И Квебек 1775 года волнует нынешних российских правдоискателей? Воистину граждане мира!

Ровные синие строки местами были подчеркнуты зеленым. Например, *стратегически явилась внезапной*.

“Но спланирована плохо. *План операции* обязан перечислить возможные препятствия и указать способы их преодоления. Этого не сделано. Квебек – крепость, однако способы преодоления фортификаций не указаны вовсе – понадеялись на внезапность, что в отношении к крепостям неверно”.

Крепостям... Крепость... Какой-то тревожный намек содержится в этом слове, какое-то назойливое напоминание. Ну да – крепость, Пятиведерников, мой сон – башня из гигантских пороховых бочек. Взрыв... Святой град Ерушалаим приветствовал нас, восторженных и наивных пришельцев, мощным взрывом холодильника на Сионской площади. Удручающая картина пострадавших, среди которых много школьников... Въелось в глубины подсознания и время от времени высовывается оттуда ночными кошмарами. А могло бы уже и поутихнуть – за столько лет...

“Как ты, вероятно, знаешь, реки до втор. пол. 20 в. заменяли ж. д. ... Фантастические надежды возлагались на „ударную группу” полковника

Арнольда (четыре батальона – 1200 штыков – без артиллерии), которая должна была наступать по охотничьим тропам официально непроходимой местности. *Операционная стратегия* должна отвечать двум условиям: 1) она должна вести к важной цели; 2) она должна быть короткой. Операция Арнольда отвечала первому условию, но не второму. Ген. Вашингтон в случае с Квебеком...”

Следующие два-три абзаца посвящались подробностям битвы при Квебеке, но вдруг – без всякого перехода – внимание автора перекинулось на остров Мальту (который, разумеется, ближе к Израилю, но вряд ли и он фигурировал в том же романе 1930 года).

“Стратегическое значение Мальты – морская база в центре Средиземного моря – сильно (в 100 раз!) преувеличено невежественными писателями. Балеарские острова еще удобнее!”

Число подчеркиваний возросло, и среди зеленых начали преобладать красные линии. *Стратегически... Трудность нападения... Тактически...* Обругав Мальту и невежественных писателей, преувеличивающих стратегические значения, обратился к подробнейшим, на многие страницы, описаниям турецкой осады острова под командованием Мустафа-паши. Тут уж не обошлось без схем, чертежей и диаграмм, дающих наглядное представление не только о мальтийском архипелаге, но и численном, и даже этническом составе армий противников.

“В 1564 г. в турецком ЦК (диване) обсуждались стратегические планы на 1565 г. Операция „Мальта” была наименее важной, но относительно простой и потому получила приоритет на 1565 г. Флотом командовал адмирал Пидли, славянин из Белграда. В 1565 г. ему было 35 лет и он был женат на внучке султана. Флот – 200 кораблей, армия – ок. 30 тыс. чел.”.

Фамилия какая-то неблагозвучная – Пидли, – впрочем, для славянина из Белграда, да еще в 1565 году, сойдет.

“В 1517 году, за тринадцать лет до рождения адмирала Пидли, турки завоевали Землю Израиля, то есть обеспечили себе прикрытие с востока во всех дальнейших Средиземноморских кампаниях”.

О, вот оно! Воистину, все на свете каким-то образом взаимосвязано. Да, если как следует порыться во всех датах, сражениях, родах войск и количествах вооружения, можно обнаружить потрясающие взаимопроникновения и совпадения! Все взаимосвязано и в равной мере бессмысленно.

“8 сентября турецкая армия сняла осаду и организованно погрузилась на транспорты...”

8 сентября... Знакомая дата. Что-то такое происходило 8 сентября...

Капитулировала Италия! Да, да – мамин дневник... Тоже ведь исторический документ. “По радио еще не сообщали, но в техникуме все уже откуда-то знают, радуются и уверяют друг друга, что это точно. Хочется верить, что так оно и есть. Наконец-то хоть какое-то ободряющее известие. Начинается осень, опять холод, как подумаешь, что впереди еще одна невыносимо долгая мрачная зима...”

Вот так – диалектика жизни: с одной стороны – радость, победа, капитулировала Италия, но с другой – невыносимо долгая мрачная зима... А Пятиведерников по-настоящему сумасшедший. Я его недооценивала. Выживает невесть откуда всю эту чепуху, перепрыгивает, как блоха, с предмета на предмет, с континента на континент и считает, как видно, что созидаст нечто исключительно важное. Факты и фактики, не нанизанные ни на какую связующую нить. Раздробленное сознание. Куда же, однако, запропастилась высокая комиссия? Пора бы уже, кажется, прибыть и освободить нас от исполнения роли читателей.

“Турки соорудили даже осадную башню – нелепая затея в век артиллерии. Первая башня была разбита пушечными выстрелами, вторую рыцари захватили в неожиданной вылазке и превратили в свой форпост... Губернатор Читты 1) собрал на стены все население, включая женщин, так что гарнизон казался огромным, 2) открыл огонь из всех орудий на самой дальней дистанции”.

– Губернатор Читты... – бормочу я себе под нос. – О, Читта-нарочита, Нотабиле в суфле... А давайте внесем предложение: объявить Читту Нотабиле и российскую Читту городами-побратимами.

– Я вижу, у вас игривое настроение, – хмурится он.

– А в “Тарзане” обезьянку звали Чита – помните?

Нет, он не помнит и не желает помнить. Он не допустит, чтобы в его тексты вплетали всякие посторонние пошлости и глупости! Но и я не собираюсь сдаваться – у меня своя тема. Свои переживания. Дядя Петя достал мне билет на “Тарзана”, а я умудрилась опоздать на сеанс. Невероятно – люди по десять часов выстаивали на морозе, лишь бы получить заветный билетик, а я умудрилась опоздать! Никогда в жизни – ни до и ни после – я так не досадовала и не убивалась. Если бы я могла, я бы растерзала себя на части! Вот что кажется нам поистине важным...

Не глядит более в мою сторону. Насупился и молчит. Обижен и разочарован. Но чем проигранное сражение на Мальте важнее упущенного “Тарзана”? Не может оно быть важнее слезы ребенка, опоздавшего на сеанс... Впрочем, это некоторое преувеличение – во-первых, я уже не была ребенком, а во-вторых, хоть и готова была треснуть от злости, не проливали

все же по этому поводу слез.

“На 1566 г. Филипп II послал 15 тысяч солдат для обороны острова, но на 1566 г. турки нанесли удар по Венгрии. Все время стоят страшные холода, до +5° и меньше (особенно ночью), сутками сижу дома, в магазин и то выбираться тошно”.

– Ваш друг давно в Америке? – интересуюсь я.

– Не особенно.

“Все эмиграции похожи одна на другую: заманивают доверчивых честных людей сказочными обещаниями рая и оставляют сдыхать. Вспомни, пожалуйста, „Тартарена из Тараскона” и историю Тихого океана”.

Невероятно! В одном и том же сочинении (письме!) и битва в Квебеке, и борьба за Мальту, и история Тихого океана, и еще *все эмиграции!* Энциклопедия какая-то. Для детей и юношества.

“Шарль ди Брейль, маркиз де Рэ, из обедневшего бретонского дворянства, 1832 г. рожд., пытаясь разбогатеть, занимался мелкой спекуляцией в Калифорнии, Сенегале и Сайгоне, но неизменно прогорал. Вернувшись в свою полуразвалившуюся усадьбу и листая старые книги, маркиз наткнулся на описание путешествия капитана Дюпрэ и, в частности, некой бухты на южной оконечности о. Новая Ирландия (берег которой тот видел лишь в подзорную трубу)...”

Что ж, молодец маркиз де Рэ – не отчаялся от неудач, не пустил себе пулю в лоб, а стал искать помощи в старых книгах. И нашел – по совету капитана Дюпрэ повернул свою подзорную трубку в сторону острова Новая Ирландия.

А ведь это идея! Почему бы и Пятиведерникову не почерпнуть какую-нибудь спасительную подсказку в пожелтевших текстах – если уж он все равно штудировал их в таких количествах. Люди, жившие до нас, были не глупее нас.

“...Летом 1877 года маркиз опубликовал объявление в газетах: 1) устраивается колония Новая Франция в райском месте; 2) земельные участки продаются по неск. франков гектар. Распродав часть не принадлежащих ему земель, маркиз стал печатать брошюры с картинками в духе „Голоса Америки”: махни рукой – и негры принесут тебе что хочешь и бесплатно”.

На этом месте какое-то движение, вернее, легкое смещение воздушных масс заставило меня приподнять голову: двери читального зала приоткрылись и в них просочились три соломенно-степенные дамы безразмерного возраста – долгожданная муниципальная комиссия. Паулина разволновалась и поспешила приветствовать их подобающим

библиотечному месту театральным шепотом.

– Конторские крысы! – изрек Пятиведерников достаточно громко.

Паулина в отчаянии бросила умоляющий взгляд, что, разумеется, только подбодрило ее капризного супруга на дальнейшие высказывания:

– Нет, вообще-то, если бы удавить на этой западной сторонке всех чинуш и толстосумов...

– Почему же только чинуш и толстосумов?

– С остальными можно было бы попытаться наладить мирное сосуществование.

Тут я заметила, что в отодвинутом в сторону “Дюке Степановиче”, на листе, оборотном титульному, имеется крупный овальный экслибрис: “Из собрания Анны М. Баргузиной, Менло-парк, Филадельфия”. “Эй, Баргузин, пошевеливай вал!..” Выходит, по дивной прихоти судьбы, “Былины Печоры” переместились вначале из России в Филадельфию, а затем обратно в Европу, в нашу муниципальную библиотеку.

“Недра полны сказочных и удивительных сокровищ. Кто не хочет сам ехать в Новую Францию, достаточно купить плантацию. За скромную дополнительную плату администрация наймет рабочих и будет аккуратно пересылать доходы прямо на дом, в Старую Францию. В несколько месяцев маркиз собрал неск. миллионов долларов (золотых рублей) и в 1879 году купил корабль для первой партии эмигрантов. Но поскольку правительство Франции (как и ныне некоторые хорошо известные нам страны) отказалось отпустить своих граждан в капиталистический рай, корабль отплыл из демократической Голландии под прогрессивным американским флагом...”

Один абзац (но до обидного куцый) из всего этого подробнейшего репортажа со всех фронтов и арен военных действий последних пяти веков был посвящен событиям, которые отразились и на нашей судьбе: “Интересный пример – Польша 39 г. На суше обе стороны имели по 50 дивизий (почти сплошь пехотных), а поляки – хорошие, храбрые солдаты. Танки – 2:1, то есть поляки вполне могли держаться, как минимум, полгода. Самолетов тоже – 2:1, то есть 2 тысячи у немцев и тысяча у поляков”.

Но тут мысль автора внезапно перевернулась на Кубу, про которую я решила не читать.

– Очень интересно, – произнесла я, чувствуя, что обязана выразить хотя бы частичный восторг по поводу столь оригинального и насыщенного ценными мыслями и пылкими эмоциями сочинения. – Особенно про Польшу. Жалко, что нет продолжения.

– Продолжения и быть не может! – воскликнул Пятиведерников бодро, но, вспомнив, видимо, о неусыпном библиотечном ухе Паулины, подавился

последним словом. – Вся история Второй мировой войны преступно искажена, – продолжал он после некоторой паузы чуть тише. – Больше всего, разумеется, в этом смысле потрудились большевики. Помните, что говорится по поводу захвата Польши в Большой советской энциклопедии?

Нет, я не помнила.

– А ничего, ни единого слова! И так вся так называемая историческая наука. Сплошная ложь, подтасовки и фальсификация!

– Что же делать? – огорчилась я.

– Остается искать в немецких источниках. В польских. Хотя и там КГБ, разумеется, уже поработал. Может быть, какие-нибудь частные архивы.

Я понимающе кивнула.

Заканчивалось послание из Америки еще одним неожиданным перескоком: “Поступило сообщение, что фюрер Вагин в сопровождении двух автомашин корреспондентов приехал на почту (где толкуются сотни эмигрантов) и на их фоне – будто бы все они его соратники и последователи – снялся для кино и ТВ. Вот, мол, какая сила за мной стоит!”

– Кто это – Вагин? – отважилась я признаться в своей темноте.

– Фюрер! – последовал ответ.

– Странная фамилия.

Он фыркнул:

– Подходит мерзавцу.

На этом “письмо” обрывалось – на двадцать первой странице и без подписи. Но под ним оказалось еще несколько страничек – иного формата, исписанных совершенно иным почерком и иного содержания. Мне показалось, что читальный зал накренился и поплыл по кругу.

“Милый ученик! Я не удостоверяю свой ответ на одном листке и продолжаю, еще не дочитав Вашего опуса. Учтите, что всякое творчество определяется законами жанра и стиля – есть макаронический стиль, где допускается почти неограниченное варьирование сюжетных положений, то есть отсутствуют ограничения жанрово-стилевые (образующие высшие, интегративные проявления вкуса). Эпифеномены этого феномена – это фольклорные и паралитературные стихии приключенческого романа – рыцарского, эллинистического, авантюрного, романа путешествий XVIII века, детективного XX, готического тайны и рока, сентиментального... Вкус есть система предрасположений, ожиданий, диспозиции. Погрешности против вкуса – это когда обманывают ожидания, например, в Шекспире находим столько дурного вкуса, или в восточной поэзии – в длиннотах. Первое, что измышляет самый смелый фантаст, – это не сюжет,

не фабула повествования, а личность читателя (как художественный конструкт, читательский норматив). Гоголь задал новые типажи читателя и повествователя. В чем тема жизни человека? В том, что он умрет? Пустейшее утверждение. Если бы тема сводилась к этому, то лучше бы было выбросить навсегда понятие темы. Иначе смерть не только литературе, но всему живому. Впрочем, вся наша литературная школа (если такая имеется)...”

Бред, бред... Просто не верится...

– Откуда вы его знаете? – спросила я.

– Кого? – не понял Пятиведерников.

– Фридлянда.

– Фридлянда?.. А... почему вы спрашиваете?

Склонился в мою сторону, заглянул в листки и отобрал.

– Извините, по ошибке попало. – Спрятал обратно в карман, посидел, побарабанил пальцами по столу. – Значит, знакомы?

– Нет, но приходилось слышать.

Помолчал.

– Приходилось слышать... То есть следует так понимать, что лично не знакомы. Почерк, однако, определили.

– Не почерк, скорее стиль. И тему. Почерк у него переменчив, а тема постоянна.

– Признаться, не заметил.

Тема постоянна, но как же утяжелился и усложнился текст! Сколько новой непререкаемой зауми. Несокрушимой гордыни. Выходит, прошлое окончательно похоронено и ничем больше не угрожает. Совсем, надо понимать, оправился, не тот уже до смерти перетрусивший, ищущий защиты и спасения у друзей и у собственной матери обанкротившийся муж и мыслитель. Ведь как растерялся, паршивец, в какое отчаяние впал! Не знал, как уж и вырваться из мышеловки. И ножками семенил, и скулил, и глядел столь жалобно. Чуть что – так он мигом и стушует, и в соседнюю комнату... Вынюхивал, куда бежать и где спрятаться. А там, пожалуй, задним ходом, да и того... и все преследования останутся тщетными.

– Откройте все-таки: откуда вы его знаете?

– Мой учитель... По жизни и по литературе. Образованный человек. Я ему многим обязан. Не будем обсуждать.

Многим обязан... Вот так: на всякий товар сыщется купец. На всякий крючочек своя петелька. Люсенька лежит на Преображенском кладбище, а умный Фридлянд, прочтя бездну книг и освоив три иностранных языка, по-прежнему ведет обширную переписку с любезными учениками и

ученицами. Мир узок и тесен – Пятиведерников знает Фридлянда. Состоит с ним в переписке. Знал ли он Люсю? Вряд ли... Хотя не исключено, что слышал какие-нибудь легенды позднейшего времени. Соответствующим образом отредактированные. Впрочем, насколько я успела заметить, Пятиведерников не из тех, кто интересуется чужими существованиями. Фридлянд для него – по литературной части. Учитель пустословия. А для Фридлянда Пятиведерников – кусок неоформленного теста, воск, из которого можно вылепить новый типаж слушателя и почитателя.

– Так что посоветуете ответить? – напоминает он.

– Кому?

– Моему другу в Америку.

Ах да, в Америку...

– Ваш друг потрясающий эрудит... Необыкновенная начитанность.

Однако же – Пятиведерников знаком с Фридляндом. Нечто, казалось бы, совершенно невозможное, пять минут назад я даже предположить такое не могла бы, а теперь принимаю как вещь вполне естественную.

– Первое, что бросается в глаза, – ваш друг безупречно грамотен, – развиваю я обсуждение “письма”, – что поражает в наш век всеобщего одичания. Чрезвычайно редкое качество в современной России. Может стать корректором в какой-нибудь эмигрантской газетенке. Хотя на самом деле должен вести исторический отдел. Пускай изобретет себе подходящую рубрику – “В этот день двести лет назад”. Что-нибудь в этом роде. Я вот сейчас в его письме натолкнулась на дату своего рождения, и мне сразу стало интересно: а что же это такое произошло ровно за триста семьдесят шесть лет до моего появления на свет?

– В том городе, – прерывает он мрачно, – где живет мой друг, даже и не пахнет русскими газетами.

– Так пусть сменит город.

– Если бы он мог это сделать... – опять забарабанил пальцами по столу и навлек на себя новый – беспомощный в данных обстоятельствах и оттого еще более свирепый – дистанционный укор Паулины.

Комиссия находится теперь в двух шагах от нас. Ради русских диссидентов, международной организации “Эмнисти” и Женевских соглашений мы обязаны изображать серьезных, вдумчивых читателей.

Я притягиваю к себе один из полученных от Паулины листов и пишу:

“Тогда остается самый верный способ: воспользоваться правом на свободу творчества”.

– Что это за зверь такой – свобода творчества – и с чем его едят? – хмыкает он.

Пригнувшись к столу, почти касаясь правым ухом “Дюка Степановича”, я поясняю прерывистым шепотом:

– Возможность самовыражения. Мы не можем заставить мир прекратить свое броуново движение, остановиться, разинуть рот и внимать нашим истинам. Но мы можем выразить их на полотне или на бумаге. В надежде, что они кого-то все-таки заинтересуют. Найдут отклик. И никто нас тут, на прогнившем Западе, за это не арестует и не посадит в психушку. Ваш друг, насколько я понимаю, достаточно молод, безусловно умен и образован... Как теперь говорят, обладает потенциалом... Но при этом...

Инспекционные старушечки придвигаются еще на шаг, и я смолкаю.

– Так что же? – поторапливает он. – Обладает потенциалом, но... Что за “но”?

– Не знаю, – лукаво избегаю я четких формулировок. – Трудно судить по одному этому тексту... Но все-таки: почему такой охват? Что за стремление объять необъятное? Вы знаете, такое впечатление... как будто он все время мчится вперед и дальше в надежде от чего-то удрать. Бежит по вековому бору и все время прячется то за одно дерево, то за другое. Как будто спасается от погони. Боится остановиться. Извините меня, может, я ошибаюсь, но мне кажется, ваш друг... чем-то непоправимо травмирован... Удирает от самого себя. Человек из футляра. Душа стиснута обручами...

– Витиевато выражаетесь.

– Ну уж – не витиеватее Фридлянда. Боится высунуться. Сквозняков боится. Боится привлечь внимание. Ответственности страшится. Заполз под лавку и строчит там донос на всемирное несовершенство, заранее зная, что никто его всерьез не воспринимает. Никто не нагнется и не даст пинка. Не вытащит за шкуру на свет божий.

– Ненавижу! – воскликнул он гневно. – Ненавижу вашу лживую науку, вашу философию, Библию, ненавижу христианство, ненавижу это высочайшее из ханжеств!

– При чем тут христианство? – изумилась я.

– При том, что проповедуете!

– Ну, извините, не буду. Хотите по существу – хорошо, скажу по существу. Десяток пространных цитат, надерганных неизвестно по какому принципу из разных книжек, и все только затем, чтобы под конец обрушиться на скверну капитализма. Пусть ваш друг из Америки сам что-нибудь создаст. Все, что угодно: очерк, рецензию, книгу. Бюро информации, наконец.

Смятенный взгляд Паулины свидетельствовал о том, что мы потеряли всякую совесть и становимся явлением недопустимым и неприличным.

Общественно опасным. Запрещенным циркуляром. И что будет, когда все это дойдет до начальства? Кошмар, ужас, отставка и позор! Но тут, на наше счастье, в зал впорхнула целая стайка румяных девочек – семь-восемь прилежных старшеклассниц, которые окружили библиотекаршу, а заодно и комиссионных дам, и защебетали наперегонки, что они жаждут как можно полнее осветить в своих школьных сочинениях тему рабства в Америке и движение суфражисток в Англии. Окрыленная Паулина с необычайным энтузиазмом принялась демонстрировать свою осведомленность в соответствующих источниках и называть регистрационные номера.

– Почему Квебек 1775 года? – допытывалась я. – Не нашел ничего более близкого и актуального? По-моему, в нашей собственной истории сколько угодно неисследованных моментов.

– Значит, вы ничего не поняли, – произнес он мрачно, но почти спокойно – не то отчаявшись от моей косности и неразвитости, не то просто заскучав.

– Раньше во всем была виновата советская власть, а теперь кто? Благотворительная организация, девяностолетняя княжна? Израиль?

– Уехал бы и в Израиль. К черту на рога уехал бы. От всей этой мерзости. Одно останавливает – там даже представительства советского нету.

– Зачем вам советское представительство? – опешила я.

Он не счел себя обязанным отвечать. Кивнул в сторону Паулины:

– Недаром вы подружились. Куриные мозги и вечное опасение, как бы чего не вышло. Еще бы – такой дикарь, как я, ежеминутно способен публично нарушить какую-нибудь священную общественную норму. А я, да будет вам известно, много лет прожил среди людей, способных нарушать нормы. Способных на поступок. Скверный, отчаянный, безумный – но поступок! И никакими обручами у меня, к вашему сведению, ничего не стиснуто и не сковано. С собой путаете.

– Я же не про вас – про вашего друга в Америке.

– У нас сходные судьбы, – пояснил он.

Еще бы! Еще бы не сходные. Для того чтобы играть в войну, требуются, как минимум, два солдата. Одного недостаточно.

“...В дверях, которые, между прочим, герой наш принимал доселе за зеркало, стоял один человек, – стоял он, стоял сам господин Голядкин, – не старый господин Голядкин, не герой нашей повести, а другой господин Голядкин, новый господин Голядкин”.

Что ж, довольно распространенная ошибка – принимаем двери за зеркало, а зеркала за двери, которые только и ждут того часа, чтобы

распахнуться перед нами и открыть путь к райским кущам. Не один Пятиведерников, бедолага, надеется просочиться сквозь зеркальную поверхность в какую-нибудь благословенную Америку. И обрести там самого себя, но уже в новом, значительно лучшем качестве. Сами – заметьте, сами – создаем себе двойника. Друга...

А может, и ничего особенного. Может, даже не сумасшествие. То есть не окончательное, не полное сумасшествие. Ну, что ж такого? Человек выделяет некоторую часть своего “я” в автономную единицу. Здесь Пятиведерников, в Америке – друг. Ему самому не позволили въехать в Америку, а другу позволили. И друг уже этой Америкой сыт по горло. Не оправдала надежд. Осуществление мечты и ее крушение. “То есть, собственно, игра уже наскучила. То есть не то чтоб наскучила, а устал я ужасно как...”

Может, так и должно быть: одному его “друг” отравляет существование в Петербурге, а другому помогает преисполниться спасительным презрением к ускользающему капиталистическому раю. Вещь и ее противоположность. Голядкин-второй был сволочь – вытеснил и загубил лучшую половину общей двуликой личности, подстраивал ей пакости на службе, отбивал невесту и пожирал не про его честь испеченные расстегаи. Нельзя так грубо и нагло. Нужно оставить место и для нежности, и для сомнения, и для возвышенных порывов. “Ангел мой...” Для прощительной минутной слабости и невольной ошибки. “Но посуди, милая, что, например, было вчера со мною: отправив тебе письма с просьбою выслать деньги, я пошел в игорную залу...”

И человек ведь не обиженный чутьем и интеллектом, не какой-нибудь умственно неполноценный или сильно пьющий пролетарий, мог бы, кажется, догадаться, что его ждет в этой зале. Но не желает. Игнорирует явное. “Прости меня, ангел мой, но я войду в некоторые подробности насчет моего предприятия, насчет этой игры, чтоб тебе ясно было, в чем дело. Вот уже раз двадцать, подходя к игорному столу, я сделал опыт, что если играть хладнокровно, спокойно и с расчетом, то нет никакой возможности проиграть! Клянусь тебе, возможности даже нет!”

Вот так – страсть, помрачающая разум. Страсть неодолимая. А со стороны глядя – нелепая, смешная и унижительная страстишка.

Не все нам дано понять. В сравнении с этим одиннадцать расстегаев – мелочь, не заслуживающий внимания пустяк... Бедный господин Голядкин – природная застенчивость не позволила сознаться, что сам же и слопал в единый присест одиннадцать расстегаев. Находясь в тревожном нервическом состоянии. Спихватился и поспешил переложить

ответственность на образ в зеркале.

Ах, расстегаи... С рыбой, с грибочками... Люба сооружала расстегаи с капустой. На праздники. Но иногда и по будням – ради появления дяди Пети или Геннадия Эдуардовича. С пылу с жару, душистые, с румяной корочкой... А как оно, между прочим, называлось, это злачное заведение, в котором с господином Голядкиным приключился столь неожиданный и досадный конфуз? Этот общепит прошлого века? Не кафе ведь... Но, кажется, и не кабачок... Ресторация, что ли?

Пора, пора убираться отсюда. С кем я разговариваю? Кого поучаю и наставляю? Человек болен и невменяем. Проводит свою жизнь в чужих, мало кем посещаемых сочинениях. Выписывает, выписывает цитаты. Воображает себя адмиралом Пидли. А что? Не исключено, сложись его жизнь иначе, в самом деле стал бы каким-нибудь лихим военачальником. Тоже играл бы в войну, но на реальном поле брани. Отправлял бы в бой настоящих живых людей. И пользовался бы за это всеобщим уважением. Заслужил бы всяческие почести и награды. Женщины мечтали бы провести возле него полчаса. Нет, лучше уж рыться в старых томах. Вполне безобидное занятие. И Паулине приятно, что он не в кабаке, а в библиотеке. Страсть, но не убыточная, никому не мешает и ничьих интересов не задевает.

Все, пойду. Совершу поступок. Поставлю “Дюка Степановича” на место и покину поле боя. Тем более что дело к обеду. Который правильнее было бы назвать ужином.

Уже поднимаюсь, однако не могу удержаться от вопроса:

– А все-таки – зачем вам советское представительство?

– Затем, что из двух зол следует выбирать меньшее, – произносит он наставительно.

– Вот как?

– Да, представьте себе. Все познается в сравнении. Если в СССР и есть недостатки, то не западным гангстерам о них выть. Там хотя бы атеизм и христиан, этих змей подколодных, не назначают начальниками лагеря.

– Интересно... Ладно... Прощайте.

– Разумеется, семья, детишки! – кривится он. И вдруг с вызовом скидывает голову. – Жалеете?

– О чем?

– Не о чем, а кого. Себя.

– Себя? С какой стати? Вас жалею. Вы способный человек, многое могли бы сделать.

– Я и без вас уже многое сделал! Да, представьте – в отличие от всех

этих шмакодявок. И приберегите ваш патронажный тон для кого-нибудь другого!

– Семья и детишки все-таки лучше, чем семнадцать битв и одна поучительная история колонизации островов Тихого океана, – не уступаю я. – Живете в своей фуфайке. В смирительной рубашке. Кидаетесь то к Мальте, то к Австралии, а сами не смеее шага сделать. Шевельнуться боитесь. Буяните, уцепившись за юбку Паулины...

Побледнел, потом побагровел, задохнулся, и я пожалела о своих словах:

– Считайте, что я ничего не сказала. Не смогла дать положительного направления. Просили совета, вот я и пыталась.

С тем и ушла. Письмо Любе так и осталось ненаписанным, но Паулинины листочки с библиотечным грифом я прихватила с собой. Пригодятся.

Один такой библиофил, любитель покопаться в научных трудах и выудить оттуда ценный фактик, однажды уже попадался мне на жизненном пути. Правда, тот был попроще не только Фридлянда, но и Пятиведерникова. Скромный советский служащий. Труженик идеологического фронта.

Вернувшись в Ленинград убитая своей неудачной попыткой поступления в Московский геологический, я первым делом обязана была позаботиться о зароботке. Пенсия за отца закончилась в связи с моим совершеннолетием. Я отправилась на родной завод, и поскольку там еще не забыли, что я являюсь дочкой Сергея Архиповича Тихвина, меня не определили к станку, а направили в заводскую многотиражку “За доблестный труд” – аж заместителем главного редактора! Главным был sereneкий мужчина лет сорока Василий Маркович Подкова. Серенкий в буквальном смысле слова – и из-за обильной проседи в темных волосах, и из-за потертого и вечно мятого суконно-потолочного костюмчика, и из-за типично ленинградского испитого и вытравленного неистребимой сыростью лица.

Редакция занимала выгородку в углу одного из цехов – в его верхней части. К фанерной двери в раме из четырех неоструганных жердей вела широкая железная лестница в десять ступеней. За дверью помещались потертый диванчик и целых три канцелярских стола. За одним из них постоянно восседал Василий Маркович, обложенный бумагами и книгами; за другим трудилась машинистка Вера Робертовна, дама средней полноты и среднего возраста, не оставившая в моей памяти четких примет; третий стол мы делили с фотографомлевой, веселым крупногабаритным парнем лет двадцати пяти. У меня до сих пор хранится сделанная им фотография – Лева запечатлел меня в заводском детском саду с плюшевым медведем на коленях. Наверно, именно благодаря этому снимку мне отчетливо запомнилось посещение сада и составленная по его следам статья. “Особенное внимание мы уделяем детям матерей-одинок, – подчеркивает заведующая. – Эти дети находятся у нас на пятидневке, поскольку, в соответствии с политикой дирекции и партийных органов, мы стараемся позволить одиноким матерям наладить свою личную жизнь”.

Да, как я вскоре убедилась, матери не щадили сил для налаживания своей личной жизни. Цеховая подсобка, в которой, помимо всего

остального, хранились гигантские рулоны суровой кремовой ткани, шедшей на обертку особо ценных готовых деталей, даже в дневную смену не пустовала ни единой минуты. Пока часть матерей-одиночек находилась внутри подсобки с потенциальными спутниками жизни, другие бдительно дежурили у входа. При появлении начальства они распахивали дверь и звонкими голосами выкрикивали: “Ну что, девки, нашли?” Оставалось только догадываться, что творилось в цеху в ночную смену, когда главное начальство отсутствовало.

Для того чтобы оберточную ткань не превращали в простыни, наволочки, детские рубашонки и прочее полезное бельишко, доставленные рулоны первым делом подвергали “проколу”. Гигантские толстые вилы, укрепленные на мощном прессе, прошивали всю толщу рулона, нарушая таким образом целостность ткани. Приспособление получило среди заводского люда весьма неприличное прозвище. Ткань, разумеется, все равно “выносили”, застрачивали прорехи и использовали на разные надобности, хотя продажная цена ее после прокола делалась невелика.

Не знаю, как Василий Маркович управлялся с выпуском многотиражки до моего появления, но получив заместителя, он обрел массу свободного времени. Переложив на меня подготовку материалов и их написание и наблюдая только, чтобы я не допустила какой-нибудь идеологической оплошности, отдался главному делу своей жизни – выписке цитат из чужих сочинений. Насколько я успела заметить, его излюбленной темой было природоведение и связанные с ним естественные науки. Института он не закончил, поскольку с третьего курса ушел на фронт и даже имел какое-то ранение, но отсутствием формального образования не тяготился: цитаты восполняли все.

Как мне сообщили, он, вернувшись с фронта, вскоре женился, но жена попалась болезненная, не рожала, а потом и вовсе померла. Ни на какие новые соблазны со стороны женского пола Василий Маркович не поддавался, жил одиноко и все свое время посвящал книгам, на приобретение которых уходила вся его – разумеется, весьма скромная – зарплата главного редактора. Обедал он вместе с нами в заводской столовой, но брал ежедневно только винегрет с селедкой за семь копеек и два стакана чаю, если не ошибаюсь, по две копейки за стакан. Остальные необходимые для жизнедеятельности калории добывались за счет хлеба.

Помимо того, что в моем лице Василий Маркович нашел ценного помощника, я еще оказалась благодарным слушателем, с которым можно делиться непрерывно совершаемыми открытиями.

– Знаешь, откуда происходит название “газ” – в смысле материя:

“газовый шарфик”? – вопрошал он, заранее ликуя от того, что, разумеется, не знаю – откуда мне знать!

Я подымала голову от заметки о бригаде коммунистического труда и ждала удивительных разъяснений. Василий Маркович длил сладкое таинственное молчание.

– Ну, потому что прозрачная, легкая, как газ... – выдавала я свою ложную версию.

– Ничего подобного! – торжествовал он. – От города Газа в Сирии, откуда эта материя впервые была доставлена в Европу!

Проникшись ко мне доверием, Василий Маркович постепенно начал предлагать на прочтение некоторые из своих книг – не природоведческие, разумеется, а художественные, то есть менее ценные, доставшиеся ему, по-видимому, бесплатно. Много-много прекрасных библиотек осиротело от умерших в блокаду владельцев.

Правда, дружба наша продолжалась недолго. Однажды, посулив показать какой-то особо замечательный альбом с репродукциями старых мастеров и вообще ознакомить меня со своим драгоценным собранием, он завлек меня к себе домой. Коммунальная квартира в маленьком двухэтажном домике на бывшей окраине, незаметно для себя оказавшейся чуть ли не в центре города, но сохранявшей свой прежний облик заводской заставы с мучными лабазами и постоянными дворами, которые теперь, разумеется, не выполняли своего прямого назначения, а были плотно заселены советским промышленным народом. Мы вошли во дворик, упиравшийся в огромную почерневшую стену капитального дома, поднялись на две кривые ступеньки и оказались не то в прихожей, не то в кухоньке, заставленной всяким коммунальным хламом. Первая от входа дверь вела в комнату Василия Марковича.

Комната была квадратная, метров восемнадцати, с одним небольшим окном против двери. Справа вдоль всей стены тянулись книжные шкафы и полки. Лицом к ним, на расстоянии вытянутой руки, стояли еще два книжных шкафа. Протиснувшись по этому проходу в основную часть жилища, я увидела, что образовавшаяся за шкафами ниша занята плотно вдвинутой в нее кроватью-полуторкой (явное наследие бывшей супружеской жизни). В ногах кровати, спиной к спине с уже упомянутыми книжными шкафами, помещался двустворчатый шифоньер. Еще несколько книжных полок, круглый стол, два разнопородных стула и мягкое кресло дополняли обстановку. Больше всего меня поразила кровать. Две трети ее были заняты вздымавшимися едва ли не до потолка стопками книг. Казалось необъяснимым, как все они, маленькие, большие, всевозможных

форматов, всевозможной величины и толщины, удерживаются в таком положении и не обрушиваются ночью на хозяина, вынужденного каким-то образом моститься и тулиться на оставшейся узенькой полоске постельного пространства. Не приходится объяснять, что все шкафы и полки были забиты книгами до отказа, до предела. Тоненькие книжицы, насильно втиснутые в малейшую щель, щетинились оттуда вкривь и вкось то корешками, то пожелтелыми растрепанными страницами. Те фолианты, которым не нашлось места в шкафах и на полках, оккупировали часть стола и пространство под кроватью. Можно было предположить, что и шифоньер является не столько вместелищем платья и белья, сколько тех же книг.

Воспользовавшись моей оторопелостью, Василий Маркович поспешил усадить меня в кресло (предварительно освободив его от еще одной груды книг). Он предложил мне снять пальто – “тут жарко”, но я отказалась. Он не настаивал. “А вот... Вот давай-ка я чаю поставлю!” Под подоконником, возле батареи парового отопления, обнаружился электрический чайник. Пока он вскипал, я успела перебрать несколько придвинутых ко мне громоздких томов. Потом мы пили чай – сладкий и даже с дешевеньким печеньем. Мой визит представлялся мне все более нелепым. Допив чай, проглядев с десятков альбомов и еще каких-то изданий, я решила распрощаться и удалиться, но он суетился, совал мне в руки очередной том и приговаривал: “А вот эту! Погляди эту!” Наконец я поднялась. Он тоже поднялся, но получилось так, что сдвинуться ему оказалось совершенно некуда, и я принуждена была протискиваться к двери между ним и заваленным книгами столом. Впрочем, я еще раньше поняла, что так оно и будет, что он нарочно загнал меня в этот угол, в это громоздкое продавленное кресло, чтобы преградить мне путь к освобождению. Я сделала шаг, он чуть заметно подался вперед и тут, будто в беспредельном отчаянье, вскинул руки и порывисто обнял меня – с легким привздохом прижался ко мне всем своим существом и тут же всхлипнул, сник и отступил. Но ощущения прикосновения – прикосновения его дрянного костюмчика к ворсистой ткани моего пальто и находившегося под этим костюмчиком мужского тела уже невозможно было отменить или стряхнуть – весь он, в том числе и его шкафы, полки, электрический чайник и пыльные, заляпанные обои, словно прилипли, приклеились ко мне. Спотыкаясь, натываясь на книги и какие-то предметы, я выскочила из комнаты, пронеслась через прихожую, через дворик и выбежала на улицу.

Какая уловка, какая мерзкая хитрость, какая подлость, какая трусливая расчетливость! Негодяй!.. Меня трясло.

Надо полагать, он расценивал свой поступок иначе. Да, жизнь его

посвящена книгам, и только им, и он не променяет своего пристрастия ни на какие блага и удовольствия в мире, но ведь и он, в конце концов, человек, мужчина, и ему присущи чувства, нежные порывы, тайные мечтания. И вот он решился наконец – самым невиннейшим образом – поделиться ими с другим существом, способным, как ему показалось, понять его тайную муку.

Ночью у меня поднялась температура, я вся горела, бредила, даже кричала, потому что груды, тонны книг надвигались, наваливались со всех сторон, пытались раздавить и удушить... А к утру, когда температура немного спала, я поняла, что беременна. Это открытие повергло меня в ужас. Я не задавалась вопросом, от чего – и уж тем более от кого, просто знала, что вот – беременна и погибла. При этом я понимала, что беременность длится долго, что окружающие заметят ее не сразу, но все равно в какой-то момент это уже не удастся скрывать, и тогда... Тогда... Тут мои мысли натыкались на какую-то преграду, я не могла даже для самой себя сколько-нибудь четко определить, что же произойдет тогда, но знала, что жизнь моя окончена.

Врачиха из заводской поликлиники не сумела в точности распознать заболевания, но сказала, что это вирус, и выдала бюллетень.

Через сутки температура так же внезапно спала, как и поднялась. Бюллетень окончился, и нужно было выходить на работу. Я отправилась в отдел кадров и потребовала перевести меня на конвейер. Просьба, естественно, удивила и озадачила кадровичку. Нет, я не хочу, не могу быть журналистом, я хочу заниматься настоящим делом. Она вздохнула – догадалась, что я нуждаюсь в деньгах. Да, но приличные зарплаты у нас только во вредных цехах. Пойдешь на оклейку? Да, да, с удовольствием! Чем вреднее, тем лучше...

На оклейке работали либо те же матери-одиночки, особенно вдовы с детьми, которым необходимо было обеспечивать семью, либо лихие девчата, которые таким образом пытались сколотить первоначальный капитал.

Не знаю, от чего это зависело, может, от конкретных свойств тех или иных клеев и растворителей, но в некоторые дни работать становилось совершенно невыносимо. Оклеящицы теряли сознание, и тогда их выносили на улицу “проветриться”. Начальство из года в год обещало установить вентиляцию, но исполнять не торопилось. Если женщины начинали возмущаться, им резонно замечали, что никто их силком в этот цех не загонял – коли жадность замучила, так и терпите. Оклеящиц можно было узнать по цвету лица – в цеху он делался пугающе серым, зато, выйдя

после смены на улицу, все как одна пунцово раздумывались (что, в общем-то, несвойственно для жительниц вечно сырого Ленинграда). И некоторых это даже радовало: в цеху кто нас видит? – никто, а на улице – любой и каждый!

Люба огорчилась и даже обиделась, узнав о моем перемещении с почетного поста замредактора на оклейку.

– Ты что это, девка? Ополоумела? Плохо живем, что ли? Не хватает тебе чего?

Я постаралась успокоить ее, сказала, что это только до весны, потом я вообще уволюсь – буду опять поступать в институт. Теперь уже здесь, дома, в Ленинграде. Она сдалась.

“Если бы она знала, если бы она знала!” – билось у меня в висках. И дальше: “Все равно узнает, все равно скоро узнает...” Может, надышаться этого клея? Самого вредного? Нет, попаду в больницу – все тут же откроется. Ни в коем случае!

Кстати, на следующий день после того, как я перешла на оклейку, Амира Георгиевна позвала меня к телефону. Я услышала голос Василия Марковича. Он недоумевал, беспокоился, вопрошал, скулил, едва не плакал. Ничего не ответив, я повесила трубку. “И он еще смеет звонить! После всего – еще смеет звонить!” Продвигаясь от телефона обратно к нашей комнате, я снова почувствовала озноб. “После всего – еще смеет звонить!”

В цеху я как-то отключалась от тяжелых мыслей, зато ночью они молотом стучали в голове: “Что теперь будет?! Что теперь будет?! Что теперь будет?!” Самое странное, что и тогда в моих страхах не было чего-то конкретного. Полностью отсутствовало осознание того факта, что у ребенка должен быть отец. Нет, ничего такого, все было как-то иначе: Василий Маркович – гнида, мерзавец, низкий, подлый человек, хитростью завлек меня к себе, заставил пережить что-то невыносимо гадкое и унижительное, и вот от его бесчестного поступка непонятным, но в то же время вполне закономерным образом возникла беременность. Нельзя, нельзя было поддаваться на его уговоры, нельзя было соблазняться просмотром репродукций старых мастеров...

Недели через две, поднявшись с постели после очередной мучительной и почти бессонной ночи, я вдруг увидела, что вся простыня залита кровью. Рассудок мой мгновенно очнулся и прояснился. Мне стало смешно – в самом деле, что за нелепость, что за бред! Мне же все-таки не двенадцать лет, я ведь знаю, от чего случаются дети! Не от одного же прикосновения, секундного объятия при полном обмундировании – в

толстом зимнем пальто, застегнутом на все пуговицы. Как я могла вообразить такую чушь? Все хорошо, все нормально! Но радость от чудесного избавления тут же сменилась новым испугом: в течение двух недель была безумна. По-настоящему безумна. Абсолютно, полностью безумна!.. Но если человек не может положиться даже на собственное здравомыслие...

Лет через пять или шесть после того, как я окончательно распрощалась с нашим заводом, управлявшим жизнями и судьбами двенадцати тысяч человек, в пригожий летний день мы с еще одним редактором (к тому времени я уже окончила институт и трудилась на издательском поприще) отправились в типографию. Наслаждаясь редкостной для нашего города ясной погодой, мы шли пешком и болтали о том о сем. Не помню, почему именно с ним, не помню, по какому делу и отчего пешком. Он заявил, что хотел бы по дороге заскочить на минутку домой, и поинтересовался, не возражаю ли я сделать небольшой крюк. Мы сделали крюк, и я вдруг узнала знакомую улицу с мучными лабазами, заселенными советским промышленным людом. Более того, увидела и узкий проход во дворик, заглянула в него и убедилась, что он, как и прежде, упирается в огромную почерневшую стену капитального дома.

– Здесь когда-то проживал Василий Маркович Подкова, главный редактор нашей заводской многотиражки “За доблестный труд”, – зачем-то сообщила я.

– Что значит – проживал? – живо откликнулся мой спутник. – Он и теперь проживает! Мы с ним большие друзья. И в школе вместе учились, и на фронте в одной части оказались. Замечательный человек: смелый, даже, я бы сказал, отчаянный. На самые опасные задания вызывался. Настоящий друг. Не то что последней рубахой – последним куском хлеба готов был поделиться. Свихнулся, правда, малость на почве своих книг. После смерти жены. Как похоронил ее, так и начал чудачить.

“Смелый и даже отчаянный”, – усмехнулась я про себя. Да, многолик и непостижим человек...

Мартин ведет себя странно – впадает в детство, что ли... Делами издательства не интересуется, во всем полагается на сына, зато без конца общается с семейством Юнсонов. Просто своим человеком там стал. По пяти раз на дню заскакивает оказать им посильную помощь в установке новой обогревательной системы в ваннных комнатах и устранении возникающих неполадок. Названивает по любому поводу и без повода, то дает ценные советы, то сам испрашивает полезной хозяйственной консультации, то пытается привлечь фру Юнсон к составлению совместной петиции с требованием отодвинуть лодочную пристань от пешеходного мостика. Они тоже не обижают нас вниманием – делятся рецептами по изготовлению домашнего хлеба и печенья и приносят в дар моченые яблочки (с прошлого года остались, не выбрасывать же!).

Денис позвонил разочек, и даже письмо поступило: “Здравствуй, мама! Я уж пятый день как снова в Киото – 500 км от Токио. Храмов и парков тут хватит еще на десяток посещений, все красиво и трогательно чрезвычайно, народ деликатный, еще под боком самая старая столица Нара, опять храмы. Сегодня цвела сакура – и впрямь красиво. Народ по такому делу гулял и закусывал на лоне природы (как следует сказать – на лоне или на ложе?). Я тоже, но больше гулял, чем закусывал. По причине непостоянного питания состояние души возвышенное. Нет, не подумай – не жалуюсь. За три доллара можно получить хороший супчик. Кстати, в Токио познакомился с женщиной из Ленинграда (замужем за японцем). Похожа на тебя. Случайно вышло: остановился у какой-то витрины, она тоже притормозила, при этом взглянула на меня с явным интересом. Ну, я и сказал по-русски: “Вы похожи на мою маму”. Просто так – не рассчитывал, что поймет. А она вдруг всплакнула и обняла меня – прямо на улице. Пригласила домой, познакомила с мужем и сыном”.

Что ж, если отсюда все японцы кажутся на одно лицо, то оттуда все россиянки и подавно должны быть схожи. Во всяком случае, трудноразличимы.

“Биография у нее трагическая. Расскажу, когда вернусь”.

Когда же ты вернешься, блудный сын, сероглазый король?

“Когда я впервые узнал про Японию? Наверняка – лет в семь, когда мне подарили на день рождения “Сказки народов Азии”. Дальше двинусь в северном направлении – на попутках (транспорт вне моего бюджета).

Думаю добраться до Хоккайдо – постепенно, а то пока там дюже холодно, несмотря на весну. Доберусь до крайнего японского севера, до западного его побережья, и взгляну заодно – как поет твой любимец Вертинский: хоть взгляну на родную страну. Сквозь слезы... А потом, в начале мая, полагаю двинуться в Таиланд – очень кушать хочется, а там, рассказывают, все сказочно дешево. Настроение у меня неважное, приступы тоски. Как Лапа? Здорова, весела? Пиши мне! Пока. Денис”.

Куда писать – в Киото, Нару, Хоккайдо, Таиланд? На западный берег крайнего японского севера?

Позвонила и Паулина.

– Нина, вы должны встретиться со мной.

Императивный, не предполагающий отказа тон.

– Что-нибудь случилось?

– Это невозможно объяснить по телефону. – Глубокое тягучее молчание.

Что ж... Беспомощность и беззащитность – тоже оружие.

И вот мы сидим на скамье в городском сквере. У наших ног – обширная лужа с плавающими по ее поверхности серо-бурыми, подгнившими за зиму листьями. Почему не в кафе, не на почте, не в банковском холле, не в машине, наконец? Нет, на пропитанной сыростью лавке, отгородившись зонтиками от морозящего дождя. Надо полагать, для конспирации. Открытые пространства, к которым относятся и скверы, внушают некоторое доверие борцам за свободу и демократию: позволяют надеяться, что под садовыми скамейками большевики еще не успели установить подслушивающие устройства.

– Нина, вы не представляете – происходит нечто ужасное, – сообщает Паулина и, не выдержав груза душевных мук и беспрестанных своих несчастий, захлебывается судорожным рыданием.

– Что именно? – спрашиваю я вяло.

На соседней скамье сизым флагом полощется рваный мусорный пакет. Зацепился за спинку и никак не может высвободиться. Какой же это безобразник умудрился бросить в ухоженном чистеньком сквере скверный мусорный пакет? В этой стопроцентно стерильной стране...

– Он посещает... советское консульство, – произносит наконец Паулина и вновь захлебывается рыданием. – Он хочет уехать! Вернуться к ним... Извините меня. Я не владею собой...

Значит, правда, значит, советское представительство не просто шантаж от бессильной злобы и обиды на капиталистических спрутов, не запертый

покамест на все замки запасной выход, а уже реализуемая возможность. Забавно: останься он в Ленинграде, никого бы его персона не волновала – даже районного врача-психиатра. Устройся он на Западе каким-нибудь нормальным и пристойным образом – опять-таки не вызывал бы заурядный российский эмигрант господин Пятиведерников ни у кого особого интереса. А вот полностью раздавленный, отверженный, беспомощный и бесполезный, потерпевший фиаско на всех фронтах и к тому же эмоционально и душевно неуравновешенный – представляет уже немалую ценность для родной советской власти.

– Ну и замечательно, – говорю я. – Пускай возвращается.

– Вы шутите?

Нет, нет и нет! – лучше ей умереть, провалиться сквозь землю, сгореть в адском пламени, распасться на элементарные частицы, чем дожить до такого позора, до такого крушения всех идеалов! И что будет с теми несчастными, которые вот теперь, в эту минуту, борются за право на выезд, за возможность покинуть тюрьму народов, вырваться из советских психушек? Вот, скажут им, вот он перед вами – тот, который выехал, вырвался, покинул! Вот он приполз на брюхе и лижет ручки советской власти, лишь бы избавиться от западного рая. И неизвестно, что еще они заставят его делать и говорить – клеветать, предавать, разоблачать!

– Бросьте, Паулина, не преувеличивайте, – вздыхаю я. – Что бы он там ни сделал и что бы ни сказал, все равно никто не поверит.

– То есть как – не поверит?!

– Вы не знаете советских людей – они давно ничему не верят.

– Как же можно не поверить, если он сам скажет?

– Можно. Поймут, что изначально был заслан. Засланец. Засылают, чтобы потом вернулся и клеветал. Такая общественная нагрузка. Выдают за это талоны на буженину и пыжиковую шапку.

– Зачем ему шапка? Я куплю ему три шапки!

– Да не нужны ему ваши три шапки здесь, ему хочется одну, но там. Вы не понимаете? Он устал от пренебрежения к своей персоне. Ему требуется действие, свершение. Поступок. Слава – пускай самая что ни на есть дурная, но громкая. Признание. Хочется пребывать на подмостках, в лучах телевизионных прожекторов.

– Я просто не верю вашим словам, не верю тому, что слышу! – негодует она. – Вы беретесь превращать такое серьезное дело в глупый смех! Он не был заслан! Вы сами прекрасно знаете это. Не помню, как это сказать... Вам известен его послужной список.

– Паулина, дорогая, послушайте меня, – пытаюсь я вразумить ее. – Вы

пытались помочь. Вы сделали все, что могли. Совершили доброе дело. Многим пожертвовали и достаточно за это пострадали. Но пора признать, что ничего из этого не вышло. Нужно уметь признавать ошибки...

– Ошибки?! – повторяет она так, будто я произнесла нечто абсолютно неприличное и оскорбительное.

– Да, ошибки. То есть вначале это не была ошибка: это был мужественный и благородный поступок. С вашей стороны. Но теперь давно уже ясно, что он безнадежен. Этот человек безнадежен. Он не создан для того, чтобы жить на Западе. Он вообще не создан для того, чтобы жить тихо и спокойно. Привык бороться за права заключенного. Не важно за что, но бороться. А если не заключен, то за что же бороться? Где цель и подвиг? Утрачен всякий смысл существования.

Я чувствую, что могла бы и дальше развивать психологический портрет нашего героя, но удерживаюсь и умолкаю.

– Каждый человек приходит в этот мир, чтобы быть свободным, – произносит она убежденно. – Это потом они умеют закабалить...

– Допустим, – соглашаюсь я. Дождик постукивает по нашим зонтам и щекочет поверхность лужи. Слипшиеся желтые листья колышутся в мутной воде. Стылый холод выползает из земли и просачивается в сапожки. – Возможно, если бы его жизнь изначально сложилась иначе, он сегодня умел бы правильно распорядиться своими силами и свободой. Занялся бы каким-то интересным плодотворным делом. Если бы оставался полноценной личностью. Поймите, не может он сегодня начать нормальное существование. Он сломлен, не приспособлен. На все смотрит сквозь кривую и потрескавшуюся линзу прежнего опыта. Не в состоянии заняться никаким полезным трудом, ни в коем случае не готов стать частицей этого общества. Вы пытались совершить невозможное. Все, хватит – перестаньте опекать и спасать его.

– Я не думала, что вы так циничны и жестоки. – Голос ее дрожит. – И даже если то, что вы говорите... если вы все видите правильно... все равно, всегда есть место чуду. – Она поднимается со скамейки и покидает меня.

Вот так – встала и ушла. Завлекла в пустой, прокисший от сырости сквер и покинула. Унесла с собой свое отчаяние и оставила сидеть тут и созерцать грязную лужу и размокшую дорожку. “Циничны и жестоки”... Возможно. Со стороны виднее. Не исключено, что она права. Не исключено, что она лучше и добрее меня. Но все, хватит – я не желаю больше заниматься проблемой Пятиведерникова! Имею полное право не желать и не заниматься.

“А на ту пору дождь, слякоть, тоска была страшная. Я было уж

воротиться хотел...” Да, пора воротиться. Воротиться к своему очагу, к своим кастрюлям – котлам, горшкам – и позабыть о них обоих. Надо же – сколько людей проживает в этом городе, в этих симпатичных особнячках, выкрашенных в серый, бурый и малиновый цвет – излюбленная местная палитра, – в этих рентабельно распланированных удобных квартирках, а утешить Паулину некому. Местному обывателю не до российских трагедий...

Вернувшись домой, я обнаруживаю в почтовом ящике свое письмо, с месяц назад отправленное наконец Любе. Крупный лиловый штамп поперек конверта: “Адресат выбыл”. Как – выбыл?.. Куда выбыл? Когда, почему?! Это я виновата – что я натворила! Разве можно было так долго тянуть? Ничто, ничто не прибавляет ума! Ни прожитые годы, ни многие опыты... Вероятно, что-то было там – в том ее письме, которое я умудрилась потерять. Что за чушь! Выбыл... Как это может быть? Нет, нет... Спокойствие. Никаких трагических предположений. Позвоню ей. Подумаешь – делов! Вот сейчас же прямо возьму и позвоню.

Не раздеваясь, в пальто и сапогах, с которых на пестренькую дорожку, устилающую коридор, стекают остатки уличной влаги, я набираю номер междугородней телефонной станции – дважды ошибаюсь, но с третьего раза все же накрываю цель и прошу соединить меня с Ленинградом. “Можем принять заказ на завтра”, – отвечает вежливый казенный голос. “Почему – на завтра? А сегодня?” – “Невозможно”. – “Почему?” – “Нет телефонных линий”. – “Хорошо, пусть будет на завтра”. По-прежнему не снимая пальто, опускаюсь в кресло возле столика и смотрю на телефонный аппарат, как будто жду от него каких-то разъяснений – новых, более человеческих слов. Как будто собираюсь сидеть тут до завтра, до возникновения в трубке родного Любиного голоса: “Нинок! Ты где это там запропастилась?..” Когда мы в последний раз разговаривали? Давно. Год назад... Может, и больше. Не потому, что дорого, а потому, что письмо как-то понятнее и сердечнее. Что можно сказать по телефону? Особенно ощущая, что каждое твое слово прослушивают чужие, заведомо враждебные официальные уши. Письма, разумеется, тоже читают, но, по крайней мере, не в твоём присутствии, не в самый момент их написания.

Отправлю телеграмму! Срочную. С оплаченным ответом и уведомлением о вручении. Две: одну Любе, другую Амире Георгиевне. Да, прямо сейчас. Не может же быть, чтобы они обе сразу... выбыли... Обе сразу... нет, не может такого быть...

“Люба, – пытаюсь я диктовать телеграфистке. – Что происходит?

Почему вернулось мое письмо? Почему ты не пишешь?”

– Извините, – прерывает голос в трубке. – Вы не можете сказать по-английски?

Не могу. Адресат не выучился по-английски. Только этого не хватает – объясняться с Любой по-английски!

– Я не понимаю, что вы говорите. Диктуйте по буквам.

Что значит – по буквам? Я и так диктую по буквам: эл, юс, бе, ас, че... Ну да, должна быть такая буква – че. Чёпинг. Те, ос...

– Извините, я боюсь ошибиться, – предупреждает добросовестная служащая. – Думаю, вам лучше лично прибыть на телеграф и написать самостоятельно.

Тоже верно.

– Вы правы, – говорю я. – Я сейчас приеду.

Впрочем, зачем? Напишу текст на бумаге – разборчиво, букву за буквой, и пусть Мартин продиктует. Кстати, где Мартин, где дети? Безобразие, конечно. Стыд и позор: десять лет живу в стране – и даже названий букв не потрудились выучить. Дети будут стесняться такой мамы.

“Не вырастим, что ли? – воскликнула Люба. – Не бойсь, девка, в наилучшем виде вырастим!” И в самом деле – принялась выращивать. Не унывая и ни о чем не печалась. Заменяла собой бабу Валю и благополучно вытеснила ее из Денискиной памяти. Тоже ведь никогда не имела собственных детей. Хотя могла бы родить хоть одного. Не пожелала. “Вот еще! На кой черт они нужны! Нищету плодить”.

Свое женское счастье Люба составила из милиционера дяди Пети и фотографа-портретиста Геннадия Эдуардовича. Оба, разумеется, были женаты, но при этом имели возможность уделять и ей некоторое внимание.

Трудовой день дяди Пети (Федотыча, как величала его Люба) был не нормирован, так же как и ночные дежурства. Можно предположить, что жена его оставалась в неведении относительно Любиного существования. А если и прознала, то имела достаточно бабьей мудрости сделать вид, что ни о чем не догадывается. Впрочем, я ее никогда не видела, так что не могу судить.

Что касается Геннадия Эдуардовича, то он частенько выезжал в командировки от различных газет и журналов, да и от себя лично тоже. Это ему принадлежит оригинальный патент “стрижки” советских колхозов. Кто-то из соучастников по афере отпечатал типографские бланки, на которых значился следующий текст: “Правлению колхоза В рамках культурно-просветительной и идеологически важной работы вам предлагается приобрести комплект художественных портретов членов советского правительства. Стоимость полного комплекта – 60 (шестьдесят) рублей. Деньги надлежит перевести наложенным платежом на счет...” Шестьдесят рублей – сумма, может, и не великая (если принять во внимание численность членов правительства), но, если учесть количество колхозов, доход поступал солидный. И что поражало самого Геннадия – ни один из охваченных им колхозов, при всей ихней нищете, не посмел отказаться от предложения. Сила печатного слова!

К сожалению, удачливый махинатор настойчиво проявлял необъяснимое скупердяйство, что все более и более раздражало добродушную и в общем-то не искавшую корысти Любу. “Ладно мне, но хоть ребенку-то мог бы приволочь шоколадку!” – бурчала она. В “ребенках” значилась я, хотя к тому времени мне уже исполнилось пятнадцать.

Геннадий Эдуардович появлялся у нас не только под предлогом командировок, но и по праздникам – вместе с женой Катей. Каким образом Любе удалось подружиться с ней, для меня по сей день остается тайной, но факт, что они вместе чистили на кухне селедочку, рубили лучок и накрывали на стол, а потом, маненько приняв, дуэтом исполняли любимые песни.

Дядя Петя был не так статен и хорош собой, как Геннадий Эдуардович, зато он был примерным и полезным сожителем. Имея доступ ко всем магазинам нашего района, а в особенности дешевым базарным ларькам, он исправно снабжал нас дефицитными товарами и продуктами (а в те годы все было дефицитом, начиная от муки и гречки и кончая чулками). Мое выпускное платье тоже было сшито Любой из “лоскута”, который поспособствовал достать дядя Петя.

Удивительной представлялась мне ловкость, с какой Люба управляла прибытием и отбытием своих кавалеров, ни разу не позволив им встретиться. Хотя нет, однажды все же вышла промашка. Геннадий Эдуардович вздумал неожиданно заявиться в довольно поздний час, предварительно не уведолив и не предупредив. Как на грех, ему даже не пришлось звонить у входной двери, поскольку одновременно с ним в подъезд вошла одна из наших соседок. Привыкшая к его визитам, она без всяких колебаний впустила гостя в квартиру. Любопытно, что те же самые соседки, которые столь гневно порицали любовные похождения моего отца, к Любиным шашням с двумя женатыми мужчинами относились со снисходительным пониманием.

В ту минуту дядя Петя сидел на Любиной постели еще в форменных милицейских штанах, но уже без сапог и рубахи. Геннадий Эдуардович сунулся было в комнату, но, мгновенно оценив ситуацию, решил избежать досадного столкновения, тут же сориентировался, смутился, извинился, сказал, что жена Катя просила вот передать... Что-то такое передать. И поспешно удалился. На следующий день, однако, он явился выяснять отношения. “А ты что, муж мне, что ли? – напомнила Люба. – Кого хочу, того и вожу! Тебе не обязана. – И, не утерпев, добавила: – Четвертинки отродясь не принес, миллионщик чертов! Еще права предъявляет. Не нравится – не ходи. Как же, ждут его тут – дожидаются! Только и мечтаем, когда уж он соизволит-заявится – друг любезный, миленок ненаглядный!.. Авантюрист недорезанный!”

Как ни странно, он продолжал ходить. Но не очень долго. Взъевшись однажды на “жида” и пройдоху, Люба уже не желала менять направления своих чувств (“жид” в ее лексиконе означало “жадина” без различия

национальностей. Национальные различия, насколько я могла убедиться, Любу не волновали – да хоть татарин!). Геннадий Эдуардович пытался охладить ее гнев, принес-таки и шоколадку, и четвертинку, но снова проштрафился: спросил зачем-то, кто это изображен на фотографии. Две фотографии стояли у нас на буфете неприкосновенными реликвиями: на одной отец был запечатлен в военной форме со многими орденами на груди, а на другой они с мамой сфотографировались в день регистрации своего брака. Свадеб в те годы не устраивали, поэтому белого платья на невесте не было, но торжественная поза новобрачных все-таки недвусмысленно свидетельствовала о сути и смысле события.

– Чего – кто? – вспыхнула Люба. – Сейчас только заметил? Муж мой! Вот кто!

Он, естественно, не поверил и глумливо хохотнул. Если это муж, то кто же с ним по соседству – плечиком к плечу? Уж не жена ли?

Не знаю, то ли он не догадывался, что покусился на главную Любину святыню, то ли преднамеренно решил унижить ее и оскорбить. И тут же за это поплатился – был навсегда и бесповоротно вышвырнут из дома и из сердца. Полагаю, что еще одно обстоятельство повлияло на Любино решение. Дело в том, что жадность Геннадия Эдуардовича вдруг как-то поубавилась, то есть даже совсем перестала проявляться, а щедрость возросла до такой степени, что Люба насторожилась: словно учтя ее укоры, “миллионщик” взялся что ни день таскать “ребенку” гостинцы – вафли и шоколадки, а на шестнадцатилетие подарил духи “Белая сирень”. Да еще вскоре после этого предложил сфотографировать. Явился с шуршащим, блестящим, прозрачным и переливчатым шарфом, которым надлежало укутать худенькие плечи модели. “Еще чего! – пресекла Люба его поползновения. – Своих вон фотографируй. У самого две девки вымахали хоть куда!”

Таким образом дядя Петя вышел в этом соревновании победителем. И когда десять лет спустя после многих жизненных поражений я снова возникла в наследственных пенатах, да еще с дитем, он проявил поистине родственное участие и постарался всячески поддержать и утешить. Но мне его присутствие сделалось невыносимо. Одна мысль о том, что Дениска еще капельку подрастет и вот так же, как я в свое время, будет пытаться не слышать того, что происходит по другую сторону шкафа... Разумеется, я не подавала вида – ни прежде, ни теперь, – но когда дядя Петя, человек в сущности добрый и преданный, переступал порог нашей комнаты и в качестве главы семейства принимался выкладывать на стол квашеную капустку и прочие подношения, мне делалось до обморока скверно. Ради

Любы, ради ее горькой бабьей доли я обязана была терпеть его утренние побряхтывания и отхаркивания и ни в коем разе не давать ни малейшего повода для обиды. Как ни в чем не бывало отвечать на незатейливые вопросы и выслушивать приевшиеся глупейшие шутки, стараясь при этом не глядеть в круглое, безбровое, обветренное от трудной милицейской должности лицо...

Что говорить, Эдик Кузнецов и Ко очень вовремя провели свою попытку угона летательной стрекозы, двенадцатиместного воздушного кузнечика, и тем самым подняли мировое общественное мнение на борьбу за право советских евреев покинуть коммунальные квартиры. Я в вечном неоплатном долгу перед ними.

Мартин забыл поздравить меня с днем рождения. Что ж – бывает. Хотя для него не характерно. Не то чтобы я так уж мечтала о цветах и подарках, но все-таки странно. Такой пунктуальный человек...

Зато вдруг позвонил Денис, и оказалось, что он-то как раз помнит. Помнит, что у него где-то там, за тридевять земель, в тридесятом полуночном царстве, имеется мать и что она некогда родилась именно в этот день. Сообщил, что уже неделю как в Таиланде – в Чанг-Мае. Но попал как раз на период ежегодного цветочного фестиваля, так что все учреждения по этому поводу закрыты и визу выправить не представляется никакой возможности. Поселился в тихом месте и штудирует индийскую мифологию.

– Твой завет, мать, блюду – на брюхе не экономлю. Питаюсь клубникой и ананасами, это здесь в переводе на твердо конвертируемую валюту совершенно бесплатно.

Выяснилось, что не просто так звонит – имеет ко мне поручение. Страховка кончается, требуется продлить еще на полгода.

– Еще на полгода?! – ужаснулась я.

– Ну... не знаю... Ну, сделай на пять месяцев... Только быстренько, чтобы не вышло перерыва.

Опять поинтересовался здоровьем Лапы и пожелал нам всем посильных благ.

В ту же ночь мне приснилось, что мы с ним идем по тропинке, вернее, по довольно широкой дорожке, слева от которой зияет крутой, но в общем-то не опасный обрыв, а справа поднимается плотная стена крепких темно-зеленых кустов с крупными и сочными – тропическими – листьями. А может, и плодами. Декоративно прекрасными гранатами и ананасами. Он был чуть ниже меня – лет эдак тринадцати, я обнимала его за плечи, и постепенно мы вышли к высокой дощатой калитке, за которой лежала (неясная мне во сне) цель нашего похода. Но тут из кустов на тропинку выступил охранник и предложил – на иврите – свернуть направо, на крошечную полянку, с целью досмотра моей сумки. Я знала, что досмотр ничем мне не угрожает, но все же он был досаден, потому что задерживал, а мне вдруг потребовалось срочно, как можно скорей миновать калитку. Я попыталась убедить охранника в том, что он уже проверял нас вчера.

“Правда, – согласился он, – то-то я вижу – знакомое лицо”, но не отказался от своего намерения повторить досмотр и сегодня.

Дело определенно происходило в Израиле, хотя ничто вокруг не напоминало тамошних мест. И все-таки было приятно, что в Израиле, и что мой сын рядом со мной, и что он все еще такой маленький мальчик – совсем ребенок...

А ленинградский телефон упорно не отвечал – не отвечал, и все. И вместо уведомления о вручении телеграммы – пусть не Любе, но хотя бы Амире Григорьевне – пришло, как раз наоборот, уведомление о ее невручении. С тем же грифом “Адресат выбыл”. И всему этому не было никакого объяснения. Чертовщина какая-то, наваждение, морок. Чем больше я думала и строила разные предположения, тем больше недоумевала.

– Допустим, – втолковывала я Мартину за завтраком, – допустим, Люба умерла, попала под трамвай, утонула в Неве!

Дети – три наших очаровательных мальчика, настораживались, прекращали свои важные споры и с интересом ожидали продолжения.

– Неужели никто из соседей не сообщил бы мне об этом? Ведь она наверняка хранит мои письма, а на них есть адрес.

– Боже упаси! – возмущался Мартин. – Как ты можешь, дорогая, делать такие допущения? Ни в коем случае!

– Но почему же она не пишет? Ведь, не получив от меня ответа, она должна была удивиться. Разволноваться. Поднять всех на ноги.

– Дорогая, мы не все можем понять. Тем более на расстоянии. Нужно набраться терпения.

Что я могла возразить и что предпринять? Не обращаться же, в самом деле, в советское консульство... Оставалось только надеяться, что кто-то из наших знакомых из числа досужих туристов или притких бизнесменов поедет туда, в таинственную империю зла, в славный город Питер, отправится по каким-нибудь своим надобностям в Северную Пальмиру и не откажет Мартину – ну кто же посмеет отказать Мартину? – в таком пустяке, в такой любезности: разыскать дом (благо он находится в самом центре Ленинграда) и выяснить, что же там на самом деле произошло. Я даже подумала, не написать ли в наше издательство, напомнить о себе, попросить... Кого же – Людмилу Аркадьевну, Татьяну Степановну? Утрудить их столь странной просьбой. Да нет, они помрут от страха. Как честные советские люди, тут же кинутся исполнять свой гражданский долг, снесут вражескую провокацию в соответствующие органы и письменно

отрекутся от всяких связей с зарубежной империалисткой.

“Нужно набраться терпения”. Я пыталась следовать этому мудрому совету, и днем это кое-как удавалось, но не ночью. Самые разнообразные кошмары только и дожидались той секунды, когда я потеряю бдительность и позволю им ворваться в мою комнату. Однажды мне приснился следующий сон.

Главной в нем была женщина лет пятидесяти пяти, с одной стороны, как будто вполне обыкновенная, напоминающая старшего бухгалтера в каком-нибудь пропыленном учреждении, но с другой стороны – явно наделенная особой осведомленностью в некоторых сферах. Однако это ее качество открылось мне не сразу.

– Что ж, заполним данные, – произнесла она вполне хладнокровно и невыразительно и вытащила из стеклянного шкафчика стандартных – то есть огромных – размеров анкету.

Неколебимо уверенный в себе страж порядка, исполненный нестигаемого служебного равнодушия. Ни осуждения, ни сочувствия. И мне не оставалось ничего иного, как смириться с неизбежностью и неотвратимостью дальнейших событий.

Выяснилось, что действие происходит в арабском доме – арабском не в том смысле, что он принадлежит или когда-нибудь в прошлом принадлежал арабам, – арабском по своему архитектурному стилю: тяжеловесные приземистые комнаты со сводчатыми потолками и такими же сводчатыми оконными провалами. Обнаженный камень толстенных внешних стен пожелтел и словно бы засалился, да и оштукатуренные участки давно нуждались в побелке.

– Ваша родственница? – спросила чиновница.

– Да, родственница. Мачеха. Жена моего отца. Тихвина Любовь Алексеевна. После смерти отца мы жили вдвоем. Очень хорошо, дружно. Я любила ее... Я и теперь люблю ее. – И, совершенно не желая того, я разрыдалась перед этой каменной бабой.

Что, естественно, абсолютно не тронуло ее. Пять или шесть девушек находились в той же комнате. Склонившись над швейными машинками, прилежно строчили какие-то одежды. Откладывали в сторону готовую деталь и принимались за следующую. Длинные широкие столы были завалены тяжелыми тканями – черными, темно-синими или темно-серыми. Все стеллажи по стенам тоже были забиты увесистыми матерчатыми рулонами. Кое-где проскальзывали подкладочные ткани – более легкие и шелковистые, но тех же мрачных тонов. Женщина поднялась из-за стола,

вытянула с полки один из рулонов, привычным вскидом руки раскатала его на столе и мелом стала набрасывать выкройку не то жакета, не то пальто: спинка, два бортика, рукав. Уверенные, четкие линии. Жестом приказала мне встать и сняла с меня мерку. Видно, это была главная часть анкеты, которую следовало заполнить. Девушки оставались погружены в работу и ничем не выдавали своего присутствия.

– Между прочим, это ваше, – произнесла заведующая тем же суконным голосом, вытащила из-под стола небольшой сверток и подала мне.

Я развязала узел и увидела свою черную юбку – тоже Любино изделие и тоже из лоскута, добытого дядей Петей. Вообще-то никто не догадывался, что из лоскута. Мастерница на все руки, Люба умела из чего угодно соорудить нечто воистину достойное восхищения, сама всегда выглядела как депутат районного съезда, победительница социалистического соревнования, участница красноречивого ансамбля и меня не забывала. Как он назывался – этот материал? Сатен? По матовой поверхности крупная косая блестящая клетка. Юбка-шестиклинка. Совсем как новенькая, только почему-то ужасно мятая. Я хотела спросить, имеется ли здесь где-нибудь утюг, но не решилась. Если пошивочная мастерская, то ведь должен быть утюг. Черная юбка, черные чулки и перчатки. Бесподобно аристократичные длинные перчатки... Невиданной красоты. Из тончайшей замши.

– Это тоже – мое? – поинтересовалась я, не в силах поверить в такое счастье.

– Все ваше, – ответила закройщица бесстрастно.

– Но ведь это... ведь они... У меня не могло быть таких перчаток! Это безумно дорогая вещь...

Да, безумно шикарные и дорогие перчатки. В Париже в витрине всемирно известного магазина дамских мод были выставлены такие. Я, естественно, не решилась зайти внутрь. Я даже снаружи, через стекло, смущалась глядеть на них. Ах, к ним бы серое блестящее платье и лаковые лодочки на высоком каблуке!..

– Вы забыли, – произнесла бухгалтерша. – Они хранились в вашей комнате. За потайной дверцей – вместе с тем маслом, которое ваша мать выменяла на часы. Дом поставили на капитальный ремонт и обнаружили тайник с маслом и перчатками.

Так вот в чем дело – дом поставили на капитальный ремонт! Но все равно непонятно: допустим, дом поставили на капитальный ремонт, жильцов выселили, но что помешало Любе сообщить мне свой новый

адрес?

– Простите, – говорю я, – я не знаю вашего имени-отчества...

– У меня нет отчества! – обрывает она строго и пронизывает меня неприязненным взглядом. – Отчества – это только у вас в России.

– А имя... Или фамилия? – зачем-то настаиваю я.

– Арца Индрер, – сообщает она.

– Арца? – повторяю я. – Но...

Нет, не буду же я объяснять ей, что “арца!” в Израиле приказывают собакам: “Арца! – на землю!” – в смысле: “Ложись!”

– Простите... а где бы я могла переодеться?

Она пожимает плечами:

– Где угодно.

В поисках укромного уголка я толкаю какую-то дверь и оказываюсь в ванной – просторной, но жутко запущенной, заваленной старыми ведрами, корытами, баками, стиральными досками. Под потолком подвешена погнутая и облезлая велосипедная рама. Я протискиваюсь к раковине, пытаюсь открыть кран, но в нем нет воды. Все проржавело и развалилось...

Проснувшись, я еще видела эти перчатки. Еще ощущала их на руках. Блаженное прикосновение дивной нежнейшей замши. Однако же... Мрачные ткани, похожее на склеп помещение и главное – имя моей собеседницы. Слишком уж грубая символика. Даже страшно как-то снова засыпать.

Я встала, накинула халат – желто-розовый любимый халат – и направилась в спальню. Если Мартин не спит, если он проснется, расскажу ему. Говорят, если сон рассказать, он не сбудется.

Полчаса, а может, и больше просидела я на краю нашей просторной супружеской кровати, прилегла рядом, попыталась намекнуть на свое присутствие – коснулась его руки, погладила по плечу, окликнула по имени, но он не пробудился. Ничего не почувствовал. Вот уж действительно: спит как убитый...

Вернувшись в свою комнату, под свое душистое, пушистое, всегда утешительное одеяло, я решила, что завтра же отправлюсь в столицу нашего государства, найду там отделение Красного Креста и потребую безотлагательного Любиного розыска. Красный Крест обязан разыскивать исчезнувших родственников. Пора покончить с этой удручающей неизвестностью.

Наутро, разумеется, сон померк, к тому же произошло нечто обычное житейское, воспрепятствовавшее моему отъезду, – не то заболел кто-то из

детей, не то потребовался срочный перевод рекламного проспекта, не помню в точности.

Как выяснилось, и после нашей унылой размолвки, после досадной встречи в дождливом и туманном скверике, Паулина не окончательно и не навсегда разочаровалась в моем дружеском участии.

– Нина, я чувствую, вы совсем не хотите меня помнить, – начала она трагически. Я пожалела, что сняла трубку. – Не отрицайте – ни разу не пришли и даже не позвонили. Все равно... У меня нет выбора. У меня никого нет. Мне необходимо теперь сказать вам что-то такое... Ужасное... Нина, я погибаю! – Отчаяние в ее голосе было подлинным. Но оно и прежде было столь же неподдельным.

Я приготовилась дать полный и безусловный отпор любой попытке втянуть меня в обсуждение поступков Пятиведерникова.

– Только поклянитесь, что вы будете молчать и не скажете никому ни слова, – потребовала она.

– Нет, Паулина, мои принципы не позволяют мне божиться и клясться. И религия воспрещает.

– Религия?.. – изумилась она. – Но у вас нет никакой религии... То есть, может быть, я не знаю, извините... Но обещайте, что вы никому не скажете.

– Если это такая великая тайна, зачем мне знать?

– Нина, я беременна! – провозгласила она и зарыдала.

– И что же? – произнесла я после несколько затянувшегося молчания.

– Мне страшно... страшно подумать... Скоро все откроется... Как я буду выглядеть?

– Это то, что вас волнует? – Кажется, я даже усмехнулась. И ведь было отчего усмехнуться. – Будете выглядеть как любая беременная женщина.

– Нет, я не в этом смысле. Вы ведь знаете, в каком положении я нахожусь... Все думают, что это только ради его устройства... ради права на жительство... Что наш брак абсолютно фиктивный... А теперь...

– А теперь вам представилась прекрасная возможность разъяснить им, что они заблуждались. Что с вами, Паулина? Вам ведь не шестнадцать лет! Вы должны быть счастливы, что судьба посылает вам такой подарок.

– Счастлива?.. – переспросила она.

Однако же... Каков сукин сын! Вот ведь мразь какая... Вселился и принялся пользоваться. Действительно, почему бы не попользоваться и этим? Под боком и совершенно бесплатно. К тому же дополнительный

повод для презрения, а стало быть, дальнейшего использования – во всех отношениях.

– Ребенок – это всегда прекрасно, – произношу я деревянным голосом.
– А в вашем положении...

– Что вы хотите этим сказать – в моем положении?

Что я хочу сказать? Я сама не знаю. Хотела что-то сказать, но забыла что. Хотела сказать, что это великая удача, что другого случая тебе уже не представится. То есть случай всегда может представиться, но ведь ты не решишься, не посмеешь. Без венца и без любви... А тут – перст судьбы. И кто же осудит? Невольная безответная жертва... Надо же – Паулина! Кто бы мог подумать? Отвоевала-таки положенную всякому живому существу крупицу радости, порушила свое юродивое одиночество, будешь теперь матерью, а потом, бог даст, и бабушкой, а от бабушек вообще не требуется ни красоты, ни блеска – только доброе сердце... Токмо во имя спасения ближнего и ради вида на жительство! А может, мы не поняли? Не догадались, не вникли? Может, это все-таки любовь? Какая-никакая – больная, уродливая, злая, а все же любовь, привязанность... Приистекающая, допустим, из чувства подспудной благодарности. Ведь не может же он совершенно, напрочь не понимать, как много она для него сделала. Стала нянькой, другом, матерью, сестрой, опекуной... Но почему я вообще об этом думаю! Какое мое дело?

– Хочу сказать, – кое-как собираюсь я с мыслями, – что вы не обязаны всю жизнь оставаться одиноким борцом за чужие права. У вас тоже есть права... быть женщиной, матерью. Это нормально, естественно. Чего тут бояться?

– Не знаю... – всхлипывает она где-то там, на том конце провода, может, в библиотеке, а может, и дома. – Меня это безумно пугает. Я не могу себе представить... Я никак не предполагала... Нина, ведь это ужасно! И потом, он ведь собирается уехать... Я вам говорила.

– Да пусть он треснет! Обойдемся и без него. Не вырастим, что ли? Еще как вырастим!

– Вы полагаете? А что, если он будет против?

– Разумеется, он будет против. Только кто же его спрашивает?

Если она звонит из дому, то не исключено, что опять подслушивает, мерзавец.

– Не знаю, просто не знаю... Такое бесчестье... Получается, что я как бы в течение долгого периода времени обманывала общественное мнение. Выдавала себя не за ту, кем являюсь... Я правильно сказала: выдавала себя не за ту? Так говорят по-русски?

– Именно так и говорят по-русски. Плюньте на общественное мнение, думайте о себе и о своем ребенке.

– Вы не откажетесь сопроводить меня к врачу? – спрашивает она в конце концов робко, но, кажется, слегка утешившись и приободрившись. – Нина, вы не представляете, насколько мне дорога ваша поддержка. Когда вы так хорошо все говорите, я как-то успокаиваюсь. А когда я одна, я умираю от ужаса... Вы знаете, я ведь никогда не посещала врача этой специализации...

Конечно не откажусь, конечно сопровожу ее к врачу этой и любой иной специализации, не брошу в беде, утешу и приголублю в минуту сомнений и тягостных раздумий. Что делать, так уж вышло, что именно мне выпало утешать и опекать Паулину. Она денно и нощно печется о целой когорте борцов и мучеников, но ведь кто-то на этом свете обязан поддержать и ее.

Перестала рыдать и всхлипывать, деловито поинтересовалась, какие дни мне будут наиболее удобными для посещения врача, и завершила уже вполне устойчивым голосом:

– Я закажу очередь и сообщу вам.

Как две близкие подруги, как две нежные сестренки, дней через пять мы отправились к врачу. Клиника располагалась неподалеку, в районе коттеджей с уютными садиками и прелестными палисадниками, в которых как раз в это время чудесно расцветали не то вишни, не то яблони, а может, и то и другое вместе. Врач принимал на втором этаже. Паулина вошла в кабинет, а я осталась сидеть в приемной на диванчике. Потом она вышла, держа в руках кипу беленьких проштампованных листочков – направления на разные исследования.

– Ну что? – спросила я.

– Он велел мне сделать анализы, – ответствовала она, потупив взгляд.

Мы сели каждая в свою машину и разъехались в разные стороны.

Так и не посетив отделения Красного Креста наяву, я проникла в него во сне и начала умолять трех служительниц милосердия и общепланетарного гуманизма заняться Любиными розысками – трех окончательно выживших из ума, равнодушных ко всему, кроме собственных шляпок и недомоганий, замшелых старушек. Три божьих одуванчика как будто даже обрадовались моему появлению и принялись уверять, что факт исчезновения Любы не типичен, не доказан и вообще не исключено, что тут имеет место забавная проделка – чья-то милая шутка.

– Да это же типичнейшее недоразумение! – воскликнула одна. – Хрестоматийная ошибка! Разумеется, я понимаю! Вы составили одно письмо вашей родственнице в Ленинград, а другое сыну в Чанг-Май и перепутали конверты. Подумайте сами – как же она могла ответить, если письмо ушло в Чанг-Май?

Я пыталась доказывать, что не писала в Чанг-Май, вообще никуда не писала, кроме как Любе в Ленинград, и мое письмо вернулось именно из Ленинграда, а не из Чанг-Мая, но это нисколько не убеждало их. Они и слышать не желали ни о каком Ленинграде. В три голоса упрямые старушечки твердили, что все прекраснейшим образом разъяснилось и у меня нет ни малейших оснований для волнений.

Ничего не помнящие и почти полностью отключенные от окружающей действительности, они тем не менее наперебой перечисляли классические случаи почтовых небрежностей и оплошностей, неоднократно приводивших к досадным последствиям и постыдным разоблачениям. Несмотря на мои отчаянные попытки воззвать к их здравому смыслу и служебному долгу, они стояли на своем и вынудили меня выслушать поучительную историю о том, как в 1913 году, как раз в канун Первой мировой войны, юный растяпа почтальон доставил пакет, адресованный господину Воксману-отцу, в собственный особняк проживающего на той же улице господина Воксмана-сына. И если бы еще этот глупый мальчишка вручил послание непосредственно господину Воксману-сыну, то, вполне возможно, ничего бы и не случилось, поскольку сын, скорее всего, распознав ошибку, передал бы пакет отцу. Но в том-то и дело, что почтальон вручил его супруге господина Воксмана-сына, которая, по причине сильного волнения, не взглянув как следует на имя адресата, поспешно вскрыла пакет и обнаружила в нем надушенную и затейливо

сложенную записку на бледно-розовой бумажке, начинавшуюся словами: “Мон шер, мой нежный друг! Не сердись за вчерашнее, жду тебя сегодня после полудня в любое удобное для тебя время” – и заканчивающееся подписью “Твоя Жизель”. Заподозрив, что муж завел интрижку с некой заезжей француженкой, пользующейся в их городе самой дурной славой, и находясь в возбужденном состоянии, в смятенных чувствах, бедная женщина не выдумала ничего лучшего, как отстаивать свои поправленные права путем нанятия частного сыщика, которому было поручено доподлинно уличить гнусного лукавого прелюбодея во всех его проделках, настолько доподлинно, чтобы тот уже не смог ни от чего отпереться и отвертеться. А сыщик, при всей своей добросовестности, естественно, не смог обнаружить в данном случае ни малейших следов супружеской измены, поскольку записка на самом деле предназначалась Воксману-отцу, что, может, и не делало почтенному старцу особой чести, но в то же время, учитывая его вдовствующее положение, несколько не порочило. Истинная неприятность заключалась, однако, в том, что, ведя неотступное наблюдение за господином Воксманом-младшим, сыщик установил, что тот является одновременно английским и китайским шпионом со всеми вытекающими отсюда последствиями. И, не смея пренебречь своим патриотическим долгом, передал собранную им информацию в надлежащие инстанции. Так что ревнивая супруга собственными руками...

Я почувствовала, что проваливаюсь в вязкую жижу их безумия, а старушечки, окончательно позабыв обо мне, погрузились в приятные воспоминания, в любезные их сердцам времена, в свою очаровательную юность, в раннее детство, в невинные шалости и, смеясь, с восторгом сообщали друг дружке, как играли с кузенами в прятки и как торжествовали, что их долго не умели отыскать.

– Да-да, дорогая! – лопотали они, вытягивая из тайников своего распадающегося сознания все новые подробности забав девяностолетней давности. – Никто, никто не смог обнаружить меня до самого ужина! – И тут же в помещении Красного Креста вознамерились продемонстрировать, как забивались в пропахшие камфарой и туалетной водой прабабушкины шифоньеры и драпировались многослойными подолами пышных материнских платьев.

Я закричала, завопила – от отчаяния, беспомощности и злости. Старицы не услышали, но из соседнего помещения возникло еще одно женское лицо, как видно, с более чуткими ушами, и принялось утешать меня. Подала стакан с водой – выпейте!

– Неужели вы не понимаете – у меня никого, никого, кроме нее, не

осталось! – рыдала я. – Я обязана разыскать ее! Обязана что-то сделать, предпринять какие-то шаги! Я не могу больше...

Дама лепетала какие-то слова – неискренние и слащавые, старухи по-прежнему шалили и не замечали меня. Я схватила предложенный мне стакан с водой и изо всех сил запустила им в стоявший напротив хорошенький двустворчатый шкафчик. Почтенный старинный шкаф. Не стану пить эту воду, этот подлый настой забвения...

Раздался дребезг разлетающегося стекла, и зазвонил телефон.

Денис услышал мою печаль в краю вечного удушающего цветения. Благодаря достижениям современной цивилизации двум душам удастся иногда пробить брешь в тысячах нас разделяющих верст, просверлить дырочку между двумя вселенными.

Покидает Таиланд и держит путь в Индию.

– А домой ты не собираешься?

– Домой? – переспросил он, как будто не поняв или не расслышав. – В принципе, когда-нибудь да, но пока нет. Как Лапа, жива?

– Жива, – ответила я. – Жива и здорова.

Вот уж, действительно, достойный предмет для неусыпного беспокойства! Но не могу же я вдруг ни с того ни с сего начать рассказывать ему про Любино таинственное исчезновение, про беременную Паулину и мерзавца Пятиведерникова. Про мои ночные кошмары. У каждого свои трагедии и свои тревоги.

– Ладно, мать, пока, не грусти. Я еще позвоню. – И повесил трубку.

Утром я поняла, что сегодня же, теперь же, не откладывая, поеду в Красный Крест. Все дела не стоят Любиного мизинца.

Столица встретила меня тишиной и странным ломким блеском в неподвижном, наэлектризованном воздухе. В небе теснились мелкие темно-серые облака, оправленные, каждое по отдельности, в причудливую рамку цвета расплавленного олова. Улица, по которой я шла, была почему-то, несмотря на полуденный час, безлюдна, зато плотно уставлена и увешана рекламными щитами разных размеров. Передовая техника, приманка для глаз усталого и пресыщенного горожанина, – а может, и не такая уж передовая, может, я раньше не обращала внимания. Каждые двадцать секунд одно полотно, восхваляющее невиданные доселе товары и услуги, автоматически сменяется другим: новая лощеная картинка с тревожным шелестом, с назойливым пластиковым шуршанием низвергается на место прежней, исчерпавшей запасы красноречия.

Здание, в котором разместился Красный Крест, оказалось под стать свинцовым облакам: вся его верхняя часть, четыре или пять последних этажей, была обернута в серебряную фольгу, облицована чем-то вроде хромированного железа, нестерпимо ярко вспыхивающего под лучами летнего солнца и тут же оплывающего жирными мутными пятнами в тот момент, когда солнце скрывается за тучами. Неужели архитектор сознательно преследовал столь мерзкий свето-цветовой эффект? Или все это сотворено исключительно в целях рентабельности и экономии средств?

Из того же желтушного, стеариново тусклого матерьяла были выполнены и самораздвигающиеся входные двери. Поднявшись на лифте на третий этаж, я попала в лабиринт крошечных клетушек, отгороженных друг от друга невысокими пластиковыми панелями. Мне указали на одну из выгородок, за которой размещались два канцелярских стола и при них две прилежные служащие. Но не успела еще первая из них поинтересоваться целью моего визита, как в проеме возникла заведующая всем обществом. Я сразу узнала ее, поскольку только недавно видела во сне. Это она поведала мне поучительную историю англо-китайского шпиона, господина Воксмана-младшего, разоблаченного из-за неразумной подозрительности ревнивой супруги. Как же я сразу не вспомнила! Вся страна знает эту почтенную даму, происходящую из некогда могущественной аристократической семьи и являющуюся последним отпрыском древнего благородного рода, которому с ее смертью придет конец. Даже мне, при всей моей непричастности к местному фольклору, известны многие дивные

подвиги ее легендарных прародителей. Портреты ее то и дело мелькают на страницах газет и журналов – в этой благополучной стране до обидного мало заслуживающих общественного внимания проблем, поэтому любая пикантная ситуация становится предметом долгих пересудов и обсуждений. Въедливые журналисты и парламентарии при каждом удобном случае намекают, что старушке, дескать, пора бы уже на покой, поскольку она страдает расстройством памяти, почти ничего не видит и плохо слышит, зачем же, дескать, с таким упорством цепляться за ответственную должность и давать повод для злых насмешек, почему бы добровольно не отстраниться от дел? Но в том-то и беда, что старица не осознает своего нынешнего состояния и в пику недругам жаждет не просто почетно председательствовать во вверенном ее попечительству учреждении, но и активно вмешиваться в решение всех, подчас достаточно острых и чреватых международными осложнениями, проблем. Устранить ее силой не представляется возможным. Это было бы воспринято как жесточайшая обида, нанесенная даже не лично ей, но всем ее славным предкам и, в сущности, самим национальным устоям.

Очевидно, приняв меня за кого-то другого, она останавливается и радостно сообщает, что мое обращение вызвало широкий отклик и обязательно будет принято во внимание при рассмотрении данного вопроса. Встретив мой недоуменный взгляд, обе сконфуженные сотрудницы беззвучно вздыхают и склоняют коротко остриженные головы над бумагами. Пообещав непременно позвонить мне на следующей неделе и сообщить о результатах своих усилий, заведующая удаляется, а я принимаюсь излагать свою скромную просьбу – разыскать Любу. И вот мы уже заполняем анкету.

– Год рождения вашей родственницы?

– То ли двадцать седьмой, то ли двадцать восьмой. А может, и двадцать шестой – точно не знаю. Шестого апреля, а какого года, не могу сказать.

– А ваш отец?.. Он...

– Он умер в 1955 году.

– До какого времени вы поддерживали с ней связь?

– До самого последнего! То есть до конца прошлого года. До Рождества.

Женщина смотрит на меня с сомнением.

– Но ведь это совсем недавно...

Я пытаюсь объяснить.

– Ну да, но теперь мне отвечают: “Адресат выбыл”. А куда выбыл, невозможно добиться. Какое-то заколдованное царство. Один наш

знакомый побывал там недавно, говорит, будто бы какая-то западноевропейская страна приобрела в этом квартале дом под свое посольство, а соседние дома – это ведь в центре города – поставили на капитальный ремонт. Но если это так, то ведь жильцов куда-то переселили. Не выбросили же их на улицу! Должен же кто-то знать, куда их переселили. Дело, разумеется, не в ремонте, дело в том, что соседние дома нашипиговывают подслушивающими аппаратами, – поясняю я.

И напрасно. Красный Крест в лице благожелательной круглолицей чиновницы явно начинает сомневаться в моем здравомыслии.

– Не понимаю, – недоумевают женщина. – Вам известен прежний адрес и вы не можете выяснить, куда их переселили?

– В том-то и дело! Говорят: обращайтесь в адресный стол. А в адресном столе отвечают: для того чтобы начать поиск, нужно указать фамилию, имя-отчество (имя отца), точную дату рождения и место рождения. А без этого они, дескать, не ищут. И прежний адрес ничем не может помочь, потому что против прежнего адреса указано только: выбыла, а куда выбыла и по какой причине – не указано.

– А вы не пытались обратиться к общим знакомым?

– Пыталась. Нет у нас общих знакомых! Телеграфировала одной бывшей соседке, но и она “выбыла”. Отвечают, что тоже выбыла. Без места рождения и точной даты не соглашаются искать... Я написала в загс, в горсовет, отовсюду отвечают: следует обращаться в адресный стол. А адресный стол... Я вам уже объяснила... Замкнутый круг!

– Да вы не волнуйтесь, – говорит чиновница. – Я уверена, что ваша мачеха отыщется.

Я не волнуюсь. С какой стати мне волноваться...

Из смежной клетушки является еще одна точно такая же щекастая аккуратненькая тетенька и принимается успокаивать меня, даже поглаживает легонько по плечу и при этом лопочет что-то быстренько-быстренько, склонившись к уху сослуживицы – на своем замысловатом и невнятном языке, – потом, не сводя с меня тревожного взгляда, направляется в коридор, туда, где стоит автомат с минеральной водой, и возвращается с полным стаканом.

– Выпейте воды, не волнуйтесь...

Они мне не верят! Считают, что я все выдумала, что не существует никакой Любы в Ленинграде. Что я не в своем уме.

Я с превеликой осторожностью опускаю стакан на стол – опасаясь, что вода может расплескаться и залить их драгоценные бумаги.

Все три Красных Креста взирают на меня с жалостью. Наверно, не

следовало сюда ехать. Не нужно никого искать. Ничего не нужно. Переживем... Переживем и это. Ну, не получит Люба моего письма. Не получит моих подарков. Так что? Можно подумать, что она без них не обойдется! Что у нее нечего надеть. Да она и из дому-то почти не выходит – куда наряжаться? Велика важность – письмо, посылка... Дошли – хорошо, не дошли – тоже не беда. Был же случай, что вернули с надписью “недозволенные вложения”. И кажется, даже не однажды. Обратная доставка, разумеется, за счет отправителя. И еще сиди и гадай, что именно из твоих вложений не дозволено – то ли кружевная косыночка, то ли кожаные перчатки, то ли ангоровая рубашка.

– Извините, – говорю я. – Я буду ждать ваших сообщений. Но главное, чего я никак не могу понять, – почему она сама не пишет? Я-то ведь никуда не переезжала!

Меня заботливо провожают до лифта. В сущности, милые женщины. Нужно поблагодарить их.

– Вам далеко ехать? – спрашивает одна из них участливо.

“Все смотрели на него с каким-то странным любопытством и с каким-то необъяснимым, загадочным участием...”

– Может быть, попросить кого-то проводить вас?

– Нет, что вы! Спасибо, – говорю я. – Все в порядке. – И даже пытаюсь улыбнуться.

Все в порядке. Нужно только взять себя в руки и набраться терпения. Так или иначе когда-нибудь эта загадка разрешится.

Едва сойдя с электрички, я тут же натываюсь на Пятиведерникова. Только его мне сейчас не хватало. Он явно пьян и потому решителен и игрив. Наверно, угощался в одной из привокзальных забегаловок – лечил душу. Мое появление воспринял как нежданную удачу.

– Госпожа советница! Какой сюрприз!.. Давненько не виделись. Если я правильно понимаю... госпожа советница изволили отлучаться... Ба, уж не в столицу ли наведывались?.. Угадал? Что же не сообщили? Охотно составил бы компанию. Бросил бы все дела – черт с ними, с делами! – и предстал бы по первому зову. Ей-богу, рад услужить. Или не нуждаетесь? Брезгуете? Напрасно – исключительно от чистого сердца... Вместе прогулялись бы. При взаимном удовольствии...

Мое молчание не смущает его – напротив, поощряет к дальнейшему развитию монолога.

– Что ж – пусть так! Одинокая прекрасная дама... путешествует в трагическом одиночестве. Действительно – мало ли какие житейские

обстоятельства? А я навязываю свое утомительное общество. Неделikatно. Женщина имеет право на маленькие невинные тайны. Вы правы – гнать этих наглых приставал! Неразумно сующих свой нос...

– Слушайте, не лень вам так бездарно паясничать?

– Нисколько. Тем более если сумею таким образом развеять вашу печаль. Вы ведь печальны? Отчего? Откройте свое натруженное сердце...

– Хватит, остановитесь, – требую я. – Не тащитесь за мной! Остановитесь вот тут, на этом месте, и не смейте преследовать меня. Измените направление своих мыслей и движения.

Как бы не так – остановиться, изменить направление мыслей! Нет уж, ни за что. Я пересекаю длинную привокзальную площадь, украшенную сквером с фонтаном и памятником одному из королей или военачальников – нет, кажется, все-таки одному из наших славных королей, хотя и в военном мундире, – он тащится рядом и в полный голос разглагольствует:

– Понимаю – Пятиведерников недостоин! Опять, свинья, хрюкает!.. Вместо того чтобы мурлыкать! Какая прелесть – мурлыкать! Почешут за ушками, а ты знай себе мурлыкай... выгибай спинку. Кис-сонька!.. Пятиведерников – ласковая... послушная кисонька. Всем угодить!.. Великая цель! Благое призвание!

Мы с двух сторон огибаем роскошную пальму, в связи с летним сезоном вывезенную из оранжереи на свежий воздух. Гигантская кадка на двух пушечных колесах дополняет и подчеркивает величие памятника. А ушки у него приметные – как два поджаристых чебурека: толстые и разгоревшиеся от спиртного.

– По-моему, тут больше подойдет другой образ: вы проживаете в этой стране не на положении кошки, а на положении крысы. Доедаете объедки с чужих тарелок, а при случае можете и куснуть.

Позеленел. Только что пурпурные уши побледнели, сделались фиолетовыми. А ведь и вправду подпрыгнет и укусит. Нет, справился с обидой. Проглотил. Однако же сбился с заданного тона – утратил запал веселости.

На остановке три благообразные старушки степенно дожидаются автобуса. Вцепившись в них взглядом, он некоторое время размышляет, как бы и старушек включить в свой спектакль, а затем изрекает:

– Старые мымыры! Эсэсовки на заслуженной пенсии. Направляются на сборище... попечительниц ящериц и ядовитых пауков. Вот по ком виселица плачет!

Возле мусорной урны валяются темные очки – то ли кто-то нечаянно обронил, то ли хотел выбросить, да промахнулся. Пятиведерников

наклоняется, поднимает очки, некоторое время вертит в руках, как будто даже намеревается примерить, но вдруг с остервенением швыряет свою находку старухам под ноги. Те с завидным хладнокровием игнорируют хулиганскую выходку, делают вид, что ничего не заметили и не почувствовали. Достоинство и сдержанность. Пуританская выдержка.

Пытаясь если не окончательно отделаться, то хотя бы слегка отдалиться от него, я захожу за стеклянный кубик остановки. Он не отстает.

– Понимаю: возмутительно – превысил полномочия. Совсем охренел!.. Перешел, что называется, границы дозволенного. Оскорбил общественное мнение. Забрюхатил собственную женушку. Где это слыхано? Собственную драгоценную обожаемую половину!.. Нарушение!.. Нижайше извиняюсь. Умоляю не гневаться. Все оттого, что не получил должного воспитания. Между прочим, это еще требуется доказать. Старая дева с куриными мозгами и пылким воображением. Склонна к художественным фантазиям и разного рода преувеличениям. Беременность, как бы не так! В ее-то возрасте. Не беременность, а как раз наоборот – самый обыкновенный климакс. Случается – по достижении сорока с хвостиком лет. Да-с, эдаким досадным хвостиком!

Я выступаю живым заслоном между ним и ни в чем не повинными старушками.

– И главное, что? Правильно: отщепенец, враль, тунеядец, полное ничтожество, а туда же – размножаться! Сам, можно сказать, поганец, живет на счет несчастной своей жены и еще имеет наглость производить себе подобных!..

– Не “можно сказать”, а действительно живете на счет своей несчастной жены, – уточняю я. – И в добавок над ней же еще и издеваетесь! Пользуетесь тем, что встретили доброго и безответного человека.

Умолк. Задумался. Подыскивает достойный ответ.

– А вы вот что мне лучше объясните, госпожа... поборница морали: в Израиле что, не получилось у вас? Не вышло с замужеством? Не водятся, что ли, на Святой земле богатенькие старички? Готовые очароваться миленькой иностранкой?

– Напрасно стараетесь, – говорю я как можно равнодушнее. – Неужели вы думаете, что меня задевают ваши высказывания?

– Не задевают? А жаль... Нет, тут вы, конечно, правы – муж, деточки... Важная субстанция... Я вот и сам... Меня, между прочим, тоже... ваши оскорбительные высказывания абсолютно не задевают – высказывайтесь себе на здоровье! А что? Может, и вправду крыса!.. На

правду нельзя обижаться. – Перевел дух, затих на минуту и вернулся к прежнему вопросу: – А все-таки – что вас заставило устремиться в это болото? В эту мерзкую, вонючую, заплывшую жиром дыру в европейской заднице? Где, между прочим, у вас никого: ни друга, ни брата, ни единомышленника. Нет и не предвидится. Пустыня Гоби! Ну, хорошо, ну, уцепились за своего старикашечку, а дальше что? Что дальше, я пытаюсь понять!.. В пределах видимости одни истуканы. Бесчувственные чурки в роли наставников человечества. Да, извольте – любуйтесь на них, подражайте им! Как же – у них денежки водятся! Последняя и окончательная истина – денежки!.. На всю округу ни единой живой души. Не считая разве что меня...

Я не выдержала и усмехнулась:

– Как вы хорошо говорите. Если бы вы так же складно писали.

Опять побледнел от досады, но тут, на мое счастье, подошел наконец автобус, я забралась в него вослед за тремя степенными представительницами порядочного общества и отчалила. А он остался покачиваться на пустой остановке и обдумывать, что дальше. Дальше-то что...

Как есть у каждого человека любимые книги, так есть и любимые сны. Один из них, из самых дорогих и желанных, впервые явился мне в первые же месяцы моего нового замужества. И с тех пор посещает каждый год – не всегда в одно и то же время, но обязательно приходит: приголубить и поддержать.

Ничего в нем, собственно, не происходит: я спускаюсь от нашего невяковского дома вниз, туда, где должно находиться опоясывающее весь этот район шоссе, но вместо шоссе вижу просторный деревенский двор с сараями, пристройками, кадками, ведрами и какой-то мычащей и кудахтающей живностью. Дальше полагается быть пустыне, но пустыня отменена, ее нет, а сразу же, метров через двести, открывается белесый каменистый морской берег.

И тотчас меня захлестывает великая радость – ведь сказано: когда море дойдет до Иерусалима! Вот оно и дошло, ликую я в сердце своем – в наши дни, в это время!.. Ну, не чудо ли? Ведь жили на земле люди и получше нас, но отчего-то не сподобились. А маловеры смеялись, издевались – дескать, если мы скажем этим вполне практичным и прагматичным евреям, что завтра на базаре белые булки будут раздавать бесплатно, они ни за что в такую утопию не поверят. А в пришествие Мессии – вещь в тысячу раз более нелепую и невероятную – верят неотступно который век подряд. И ни за что не готовы расстаться с этой своей вредной и сокрушительной верой. Для них же в первую очередь очень вредной и сокрушительной – нет, не согласны – за все земные блага! Ну, не смешно ли?

Вот же вам! Узрите теперь и устыдитесь – вот оно лежит в двух шагах от вас: Мертвое море – тихая живая вода... Три женщины, пристроившись на камнях, полощут белье. Одна из них Люсенька. Это я знаю точно, хотя не вижу лиц. Ну что ж – даже если она не смотрит на меня, мне все равно светло и радостно. Радостно оттого, что она тут, на самом правильном месте...

Исполнилось и свершилось – море дошло до Иерусалима. Три женщины сидят на камнях и полощут белье в тягучей, тяжелой, до вязкости просоленной, напитанной солнцем воде.

На этот раз сон явился в ночь с субботы на воскресенье. И я вновь, в который уже раз, подивилась ему и тут же преисполнилась надеждой, даже

убеждением, что он обязательно должен предвещать что-то доброе и необыкновенное. Помнится, в тот же день Мартин объявил, что мы едем к Анне-Кристине. Зимой испугался деревенской скуки, а теперь сам загорелся, счел правильным и даже необходимым побывать в родных местах и повидаться с сестрой. Мы скоренько собрались, упаковались и в среду утром в полном составе, с тремя сыновьями, Лапой и четырьмя подвешенными на автомобильном задке велосипедами двинулись на север – на север, на север, навстречу белым ночам, белым березам, прозрачным озерам и прочей обласканной и согретой незаходящим солнцем застенчивой северной природе.

Едва выехав из города, попали в пробку – что делать, вся страна в эти дни перемещается в одном и том же направлении, так что даже самое благоустроенное шоссе не способно справиться с нагрузкой...

Мы переночевали в кемпинге, а едва выехав на шоссе, увидели “BMW”, валяющийся в кювете на боку вместе с прицепом-вагончиком. Вот что случается с теми, кто слишком торопится и не останавливается на ночь в кемпингах.

Чем дальше мы ехали, тем выше и величественнее становились березы и сосны по сторонам, в особенности березы. Голубые полосы озер мелькали среди леса, в голубеньком небе неторопливо оплывало лучистое золотистое солнце, иногда на берегу одного из водоемов возникал аккуратненький рыженький домик с белыми переплетами окон и беленьким крылечком. Или беленькой верандой.

В таком же рыжем доме под черной крышей проживала и Анна-Кристина, теперь, после смерти матери, одна-одинешенька. Разумеется, она обрадовалась прибытию брата и племянников – двое старших были ей знакомы по прежнему визиту пятилетней давности, так что она имела возможность изумиться их внезапному повзрослению. Нас поджидал роскошный и обильный ужин, после которого брат и сестра долго-долго неторопливо беседовали вполголоса, делились какими-то своими заветными мыслями, обсуждали насущные дела и, кажется, вовсе про меня позабыли. Не решаясь покинуть их, чтобы не показаться неделикатной и невнимательной, я принялась потихоньку убирать со стола и мыть посуду. Дети убежали знакомиться с домом и окрестностями. Наконец Анна-Кристина поднялась и провела нас в родительскую спальню, где загодя была приготовлена свежая постель. Очевидно, для лучшего сохранения тепла в зимнее время огромная деревянная кровать, занимающая большую часть комнаты, имела не только высокие спинки, но и добротные боковины с нешироким плавным вырезом посередке – возможность нечаянно

скатиться во сне с такого ложа полностью исключена.

Мартин присел на постель, скинул обувь, оглядел выкрашенные светлой краской дощатые стены, перевел взгляд на окошко, затянутое хорошенькими голубенькими занавесками, и вдруг удрученно всхлипнул.

– Что ты? – спросила я, примащиваясь рядом и обнимая его за плечи.

– Извини, дорогая, – пробормотал он. – Просто невозможно это понять – как это может быть? Почему?! Та же самая комната, та же кровать, кажется, даже те же самые занавески... Стены остались, вещи остались, а их нет... Когда я был маленький, совсем маленький мальчик, я просыпался утром и бежал к родителям в постель. Почти каждое утро... Особенно по воскресеньям... Я ведь был самый младший из детей. Ты понимаешь – все то же самое! – Плечи его затряслись сильнее, и я покрепче обняла его. – А их нет... Ни отца, ни матери...

– Что же делать? – вздохнула я. – Согласись, они прожили хорошую жизнь... Честную. Вырастили детей и ушли с чистой совестью.

– Да, дорогая, – подтвердил он. – А все-таки это неправильно. Неправильно, что люди покидают тех, кто их любит... Так вдруг...

Не так уж вдруг, подумала я. В девяносто-то лет... А вслух сказала:

– Что делать? Человек приходит в этот мир не для того, чтобы застрять в нем навечно, а для того, чтобы выполнить свое предназначение и вернуться к Отцу небесному...

Однако даже это мудрое изречение не особенно его утешило.

– Ужасно, – повторил он сокрушенно. – Ужасно знать, что их больше нет. Какая-то чудовищная несправедливость...

Солнце, припавшее теперь почти вплотную к горизонту, било в окно, прямо в глаза – тоненькая кисейная занавеска была бессильна задержать его яркие лучи. Но Мартин не видел этого дивного света, какие-то иные картины открывались его взору...

Потом в течение полутора месяцев мы помогали Анне-Кристине сохранить и поддержать ее немудреное и тем не менее явно разваливающееся хозяйство. Мартин выкосил траву вокруг дома, залатал и покрасил крышу, наладил огородный инвентарь. Мы ходили в лес по грибы и по ягоды, варили варенья, сушили и мариновали грибочки, катались по озеру на лодке и даже ловили рыбу. Однажды, когда мы сидели на берегу, появился какой-то мужчина – молодой, лет тридцати, не больше, ладный, стройный, приветливо поздоровался и отвязал лодку. Лица я не успела разглядеть, скорее всего, обычное местное лицо, а голос вдруг показался знакомым – напомнил кого-то, но кого? Силилась вспомнить, но так и не

вспомнила. Прыгнул в лодку и выплыл не спеша на простор. Я запомнила его сапоги: высокие, мягкие, плотные, с отогнутыми голенищами – рыжеватые, как дома в селении, а отвороты другого цвета: бледно-сизые. Почему-то вдруг сделалось грустно и досадно, что Мартина все приветствуют, все с ним здороваются, все его знают, а я тут как бы и не существую. Хотя в общем-то этот человек поздоровался с нами со всеми, но понятно, что в первую очередь с Мартином. Возник и исчез, ускользнул по водной глади...

Мой муж взволнованно общался с друзьями детства, тоже в большинстве своем давно проживающими в крупных городах и наезжающими в родные края только во время отпуска; наведывался с мальчиками в ближайший городок, чтобы играть там в гольф и в теннис, и, к моему удивлению, регулярно посещал по воскресеньям местную кирху – вместе с Анной-Кристиной. Причем пару раз брал с собой и детей. Насколько мне было известно, прежде он не проявлял к религии ни малейшего интереса. Возможно, его тянуло туда еще и потому, что рядом с кирхой располагалось кладбище, на котором были похоронены дорогие ему люди: отец, мать, один из братьев и две сестры.

Игрушечное протестантское кладбище, чистенькое и ухоженное, – ни ограды вокруг могилки, ни могильного холмика, ни скамеечки, на которой можно присесть, предаваясь тихой грусти. Ничего. Ровненькие, проведенные по линейке ряды вертикально торчащих из земли надгробных плит такого размера, будто под ними лежат не взрослые люди, а одни только дети или, скорее, гномики. Старые камни проще и грубее и еще слегка различаются формой, цветом, а иногда и высотой, но свежие все на одно лицо: черные, отшлифованные до блеска доски, ровно семьдесят сантиметров в ширину, ровно пятьдесят в высоту и десять, самое большее двенадцать в толщину. На лицевой стороне выгравировано имя покойного и даты жизни. Перед каждым камнем полукруг взрыхленной земли с двумя-тремя низенькими цветочными кустиками – будто под камни подстелены кружевные салфеточки, тоже почти одинаковые. Зеленая травка. Полное равенство перед лицом смерти. Никакой гордыни. Нетрудно догадаться и о том, что заключено между каждыми двумя датами: честная и скромная трудовая жизнь без особых страстей и происшествий. При желании можно проследить и статистическую кривую роста и дальнейшего уменьшения численности местного населения, а также увеличения в последние десятилетия средней продолжительности жизни. Слава богу, почти никто уже не умирает в детском или юношеском возрасте.

Оставаясь дома одна, я размышляла о том, что же будет с домом, когда

не станет и Анны-Кристины, когда и она займет свое место возле родителей и сестер. Пожелает ли Мартин продать хозяйство или оставит, чтобы хоть изредка бывать здесь и навещать родные могилы?

Накануне отъезда я вышла прогуляться напоследок по лесу. Мартин отказался сопровождать меня, сказал, что обещал Анне-Кристине починить стул и табуретку. Побродив немного по опушке и подышав сырым мшистым воздухом, я повернула обратно к дому и еще издали заметила темную фигуру сидящего на табуретке старика. Она поразила и напугала меня – сколько безнадежной горести в этой позе, в поникших плечах, в бессильно склоненной на грудь голове! Мне показалось, что я вижу дух отца Мартина. Что ж с того, что светло? Ведь на самом деле уже полночь, самое время для призраков и загробных теней. Да не так уж и светло, сумерки – как-никак, август. Прошло несколько мгновений, прежде чем я осознала, что передо мной не дух лесной и не покойный отец, а сам Мартин.

В школе, в третьем или четвертом классе, на уроках развития речи нам время от времени предлагали подобрать подпись к картинке. Открывшейся теперь моим глазам картине могла соответствовать только одна подпись: “Все кончено, все погибло...” Я стояла и смотрела – в надежде, что он вот-вот очнется, возьмет себя в руки, стряхнет усталость, выпрямится и встанет на ноги. Но он продолжал сидеть неподвижно, будто слился в единое целое с этим скорбным сумраком, с грубой тяжелой табуреткой. Будто сам превратился в кусок дерева. Я не знала, что мне делать: подойти, чтобы как-то ободрить и утешить моего великолепного, вечно бодрого и молодежавшего, полного задорного оптимизма, могучего викинга или не смущать его, сделать вид, что я ничего не заметила?..

Прощаясь с Анной-Кристиной, я еще раз поблагодарила ее за прием, за это чудесное лето, за великолепный праздник, который она устроила нам всем. В ответ она вздохнула, глаза ее повлажнели, она утерла их ладонью и долго не отнимала руки от лица – сухой морщинистой руки вечной труженицы, прожившей долгую безупречную жизнь. Мартин обнял сестру и зарыдал. Анна-Кристина, так же как и я, не ожидала столь бурного проявления чувств. Она похлопала брата по спине, но это не помогло. Он не разжимал судорожных объятий и не желал слушать наших увещеваний. Дети с некоторым испугом наблюдали непривычную сцену и даже попытались вмешаться, потянуть отца за рукав: “Папа, пойдём!”

Может быть, один из них, подумала я, глядя на своих подросших за лето сыновей, может, один из этих мальчиков когда-нибудь вот так же приедет сюда, в свое фамильное гнездо, с женой и детьми и тоже предастся

сентиментальным воспоминаниям. Вспомнит отца и мать и старенькую тетку Анну-Крестину. Хотя вряд ли: жизнь со дня на день меняется, стремительно наращивает темп, не оставляет возможности оглядываться назад.

Мартин не стал спорить, когда я предложила вести машину.

Мы вернулись домой во вторник, а в среду утром раздался требовательный, непрерывный звонок в дверь. То есть не звонок, а нежный перезвон, потому что дверные звонки теперь для услаждения слуха жильцов исполняют мелодичные отрывки из произведений Баха и Моцарта. Но все-таки непрерывный и требовательный. И Мартин почему-то не спешил открывать. То ли слишком устал с дороги, то ли удалился в магазин, а может, на почту. Делать нечего – я поняла, что неизбежно придется встать и открыть, для чего необходимо проворно выпрыгнуть из постели, поспешно всунуть ноги в тапки и накинуть халат и с тревогой в сердце, а может, и в голосе вопрошать:

– Кто там?

Ответа не последовало, но в дверь заколотили кулаком.

– Кто там? – повторила я.

– Я! – рявкнул снаружи Пятиведерников.

Пришлось впустить его. Вид у него был дикий и взгляд безумный.

– Где она? – Схватил меня за руку, как будто опасаясь, что я вырвусь и убегу от него.

– Паулина? – уточнила я.

– Паулина!

– Не знаю. Откуда я могу знать? Здесь ее нет.

– Нет?

– Нет и никогда не было.

Действительно, так уж получилось, что я многократно бывала у нее и дома, и в библиотеке, а она у меня, за все время нашего знакомства, ни разу.

– Что-нибудь случилось? Зайдите, расскажите. В чем дело? Что-нибудь произошло? Что-нибудь между вами произошло? Говорите!

Он продолжал сжимать мою руку, но как будто не понимал, чего я добиваюсь. Потом отступил и забормотал:

– Хорошо. Пусть, хорошо... Значит, не была... Хорошо... – повернулся и направился к выходу. И, спускаясь по ступеням, продолжал повторять: – Ничего, хорошо...

Я не стала ни останавливать его, ни догонять. Все это могло быть очередным дурацким представлением, дежурной истерикой с перепоя.

Часа через два я позвонила в библиотеку – Паулины там не было. И дома тоже, по-видимому, не было. Дома вообще никто не отвечал.

Дней через пять, а может, через неделю меня пригласили в полицию. Серьезный степенный следователь расспросил о характере моих отношений с Паулиной, о ее близком и дальнем окружении, о том, когда я ее видела в последний раз. Я ничего от него не утаила, постаралась припомнить все подробности нашей последней встречи, упомянула о направлениях на исследование – белых листочках, которые она сжимала в руке, выйдя из кабинета врача.

Не думаю, чтобы я хоть в какой-то мере помогла расследованию. На прощанье следователь протянул мне свою визитную карточку: “Если что-нибудь еще вспомните или узнаете – звоните”.

Как выяснилось, к врачу Паулина больше не вернулась и никаких анализов нигде не делала – во всяком случае, в официально зарегистрированных клиниках. Была ли она действительно беременна, установить не удалось, поскольку врач в тот единственный визит ее не осматривал, просто выдал стандартные при таком обращении направления. Библиотечные коллеги про беременность ничего не слышали, но подтвердили, что в последние недели она была сама не своя и чрезвычайно нервничала. Ни родственников, ни настоящих друзей у нее не было – множество знакомых, которые и раньше не поддерживали с ней особенно тесных отношений, а потом и вовсе отделились из-за тягостного и компрометирующего присутствия подозрительного русского мужа.

Пятиведерникова задержали. Весь его “послужной список” жутким образом свидетельствовал против него и заставлял заподозрить самое ужасное. Паулина должна была бы – узнай она об этом – прийти в отчаяние: арестовали-таки у нас в стране российского диссидента! Причем она сама какими-то таинственными своими поступками способствовала случившемуся. Похоже, что большой мир, включая фюрера Вагина, остался равнодушен к происшествию. Мне разрешили передать ему сигареты и еще кой-какие мелочи. Не исключено, что разрешили бы и свидание, но я не добивалась – не испытывала ни малейшего желания видеть его, а тем более беседовать. Передала записку: “Я верю, что вы ни в чем не виновны и скоро освободитесь”. Пива находящимся под следствием пересылать не позволялось.

В конце концов Пятиведерникова выпустили, не найдя, видимо, никаких доказательств преступления. Один раз, проезжая по городу на машине, я увидела его. Не знаю, имел ли он перед собой какую-то осмысленную цель, но если и имел, то двигался к ней замысловатыми

прерывистыми зигзагами, явно смущавшими попадавших навстречу пешеходов. Силась не рухнуть, время от времени приостанавливалась и цеплялась за стены. Светлое меховое пальто было заляпано грязью, хотя погода стояла сухая и достаточно теплая, так что оставалось непонятным, откуда взялась грязь и зачем вообще потребовалось меховое пальто.

Я не остановилась.

Позвонил Денис – из Нью-Дели – и без лишних слов сразу же приступил к главному:

– Лапа жива?

Я разозлилась:

– Слушай, хватит! Ты что, совсем там сдурел, в своих Таиландах? Больше тебя ничто не интересует?

– Мать, ты что?

– Ты пятый раз спрашиваешь!

– Ну извини, мать, не рефлексируй – все-таки, знаешь, моя собака...

Да уж, твоя – как же! Приволок однажды с улицы крошечного, беспомощного, окоченевшего щенка, выкупал в раковине, завернул в мое любимое полотенце, после чего с чувством выполненного долга отстранился от всех дальнейших забот. Вы тут кормите, растите, ухаживайте, выгуливайте, прививки делайте, а собака будет моя. Поинтересуюсь изредка, под настроение, из какого-нибудь прекрасного далека. И посокрушаюсь, если что не так.

– Выслать тебе ее наложенным платежом?

– Мать, все-таки я ее нашел, – не уступил он.

– Спасибо. Когда домой изволишь прибыть, собачий хозяин?

– Еще не знаю.

– Дорогая, по-моему, это для тебя, – сказал Мартин, передавая мне трубку.

– Госпожа Сюннангорд? – вопрошает дерзко-назидательный женский голос.

Да, это я. Я – госпожа Сюннангорд. Именно этой звучной и гордой фамилией одарил меня Мартин вместе с прочими благами.

Ужасно тамошний голос – невозможно ошибиться: высокий, одновременно надменный и заискивающий, но, главное, полный неиссякаемого советского оптимизма.

– С вами будет говорить Эвелина Заславская.

“Будет говорить”! Распоряжение свыше. А может, я вовсе не желаю говорить с Эвелиной Заславской?

– Нина? Нинка, это ты? Здравствуй! Не узнаешь? Ну, попробуй угадай, кого тебе судьба подшвырнула!

Судьба? Претензии, однако же... И “подшвырнула”...

– Понятия не имею.

– Тамару, Томку Ананьеву помнишь?

Еще бы! Ананьевы, соседи, после войны вселились в нашу вымершую квартиру: дядя Толя, тетя Аня, Мишка и Томка. Томка – моя ровесница, на пару месяцев младше. Но ведь было сказано: Эвелина.

– Кто вам нужен? – спрашиваю я строго.

– Нинка, да ты что? Совсем зазналась? Фотографию нашу помнишь? День рождения? Когда восемь лет мне исполнилось. Перед нашим домом. Дядя Коля Степанов снимал. Мы с тобой рядом стоим! У меня платье с белым воротничком. Помнишь?

Фотографию помню. Она и теперь лежит у меня в правом верхнем ящике стола. Десяток худеньких, серьезных девочек с серыми личиками и коротенькими челочками над испуганными глазами да два или три остриженных под нулёвку мальчика. Наткнулась недавно, когда искала Любино письмо.

– Если Томка, то почему Эвелина?

– Партийная кличка! – хохочет она. – После объясню.

– А откуда ты тут взялась?

– Да ниоткуда не взялась! Работаю тут. Давно уже. В советском посольстве. Восемь лет уже! Представляешь, понятия не имела, что ты

тоже здесь. А тут на днях нечаянно наткнулась на твою фамилию. Знаешь что? Давай встретимся! Я как раз сегодня должна ехать в ваш городишко. Ресторан “Ретро” знаешь? На Кунгсхольмен? В три часа устраивает?

– Извини, – сопротивляюсь я. – Как-то это все слишком неожиданно... Дети вот-вот должны вернуться из школы...

– Да брось ты – дети! Не обойдутся, что ли, пару часов без мамочки? У всех дети! Давай, давай выползай! Я потом, может, полгода в вашу сторону не выберусь. Значит, в три в “Ретро”, договорились?

– Хорошо, – соглашаюсь я, сама не очень-то понимая, почему и зачем.

Ресторан “Ретро”... Вроде бы, если не ошибаюсь, место встреч гомиков. Но, возможно, заодно и лесбиянок. Кто их знает. Неужели это действительно Тамарка? Дядя Толя пробивной был мужик, преуспевающий хозяйственник – шустрил по спортивной части. Хоть и имел четыре класса образования, но даже за границу посылали. Не то в Прагу, не то в Варшаву – на западные страны международные отношения в то время не распространялись.

Что ж – как-никак десять лет прожили в одной квартире, хотя нельзя сказать, чтобы особенно дружили. Очень светлая и очень курчавая головка. У тети Ани и дяди Толи волосы тоже были светлые, но совершенно прямые, а у Томки – будто предок Пушкина принял участие в ее производстве. Настоящая негритянская шевелюра – только белобрысая, как лен. Служит в советском посольстве... То есть в определенном ведомстве. Чудеса... Уж такая ничем не выдающаяся была девочка и училась весьма средненько. Нечаянно наткнулась на мою фамилию... Где это она на нее наткнулась? И на какую? Я с тех пор дважды меняла фамилию. Странно все... Странно и подозрительно. Может, следовало с кем-то посоветоваться, прежде чем соглашаться встретиться? Позвонить в Министерство иностранных дел? Времени особенно не осталось наводить справки. Ответит какая-нибудь секретарша, которая ничего не знает и не собирается утруждать себя глупостями. Не исключено, что встреча для того и назначена на сегодня, чтобы у меня не было времени долго размышлять и советоваться. Ладно – авось бог не выдаст, свинья не съест.

– Мартин, – втолковываю я своему законопослушному и благонамеренному супругу, – это звонила моя соседка по нашей ленинградской квартире. Мы с ней не виделись тридцать лет. Она теперь работает в советском посольстве и хочет со мной встретиться.

– О, конечно, дорогая! Конечно, ты должна пойти.

– Не уверена, что должна, но пойду. Ресторан “Ретро”. Ты ведь знаешь, где это?

– Ресторан “Ретро”? Разумеется, дорогая. Иди и ни о чем не волнуйся.
– Если я долго не вернусь, сообщай в полицию.
– В полицию?.. Дорогая! – Он недоволен, даже возмущен. – Неужели ты тоже заражена этой манией? У вас, бывших советских, коллективное помешательство: во всем видеть происки Кэ-джи-би! Это смешно! Пугаетесь призраков, которые сами же создаете. Сами придумываете и сами пугаетесь. Если ты хочешь знать мое мнение, то это не только неразумно, это даже неприлично – поддаваться такого рода маниям.

Разумеется, более всего мы обеспокоены тем, как бы не вышло какого неприличия. Как бы кто-нибудь, не дай бог, не поставил под сомнение наше здравомыслие.

– И все-таки я запишу для тебя ее фамилию и название ресторана.
– Не беспокойся, дорогая, я запомню.
– На всякий случай – вдруг забудешь.
– Дорогая, по-моему, ты не вполне отдаешь себе отчет в том... – Обида мешает ему закончить фразу. – Я еще, кажется, не впал в маразм и способен как-нибудь... Если ты так опасаясь этой встречи, отмени ее, чего проще?
– Не сердись, – вздыхаю я и целую его в щеку.
Ни единой ссоры. Никогда, ни малейшей размолвки...

Встречу отменить можно – но можно ли отменить судьбу?

Две женщины, и обе блондиночки, сидят за столиками по разные стороны от оформленной в виде фонтанчика колонны. Которая из них? Очевидно, вон та – в темно-синем вельветовом платье в горошек. Очень миленькое платье – простенькое и славненькое, замечательно подчеркивает стройность фигуры и стоит наверняка не меньше тысячи. А может, и двух, а может, и трех. Нельзя экономить на представительстве.

Тетя Аня каждый год шила Томке два платья: ситцевое на Первое мая и байковое на Седьмое ноября. Я ей жутко завидовала – моя мама не шила мне ничего.

– Нина! Нинок!.. – Она вскакивает – подскакивает – мне навстречу и плотно зажимает в жарких объятиях. Покачивает из стороны в сторону и никак не желает отпускать – наверно, это должно означать, что мы с ней ужас, ужас какие близкие люди! Две закадычные подружки, на тридцать лет потерявшие друг друга из виду. Наконец она чуть отстраняется, но только затем, чтобы с умилением и восторгом заглянуть мне в лицо: – Нисколько не изменилась! Вот ни на крошечку!

Зато она изменилась: из худенькой невзрачной девчушки превратилась

в прямо-таки на загляденье интересную даму. Откуда только что берется...

Наконец ей удастся справиться со своими ностальгическими эмоциями, мы усаживаемся за столик, и возле нас тотчас возникает бесшумный официант. Она начальственно распоряжается, заказывает то да се – все, по моему разумению, чрезмерно дорогое – и, предупреждая возможные возражения, бросает:

– Не бойся – фирма платит.

– Даже за частную встречу бывших соседок?

– Да кто узнает-то? – Ах, какой небрежный и щедрый взмах руки! – Оформим как служебную.

Неужели Томка? Томка или не Томка, но с ролью справляется. Классно работает. Квалифицированно. Даже, можно сказать, вдохновенно.

– Представляешь – я обалдела! Какая-то Нина Сюннангорд. Начинаю листать: Нина Тихвина! Все – точно – совпадает! С ума можно сойти! Так, значит, замужем, четверо детей?

У нее неоспоримое преимущество: она знает обо мне все, а я о ней ничего. И даже не уверена, что она действительно та, за кого себя выдает.

– Что начинаешь листать?

– Ну как – что? – смеется она. – У нас на всех на вас – бывших наших – досье имеются. А ты как думала?

– Ишь ты, какая неотступная опека!.. – вздыхаю я, может быть, даже громче, чем следует. – А я читала, будто бюджет у вас весьма ограниченный. Денег ни на что не хватает...

– Это кто ж такое выдумывает? Паулина твоя, что ли? Не слушай! Нормальный бюджет – не жалуемся.

– Я бы ни за что тебя не узнала... Знаешь, что я вспомнила, пока ехала сюда? Как вы натянули веревку между вешалкой и тети-Зининым сундуком, а я не заметила, наткнулась и грохнулась. Даже кровь из носу пошла.

– Точно! – подхватывает она радостно. – Это Славка Витюков придумал: давай, говорит, натянем веревку, выключим свет и позовем ее! Как будто лампочка перегорела. А ты, вообще-то, порядочная рева была.

– Да, наверно... Длиннющий был коридор... Было где взять разгон. А по стенам, по стенам – чего только не висело и не стояло: корыта, ванночки, раскладушки, доски стиральные, да и прочее всякое, чего коммунальная душа не позволяет выкинуть...

– Еще бы! За каждый сантиметр боролись. А паркет? Помнишь наш паркет? Ужас! Весь в колдобинах! – хохочет она. – И без веревки недолго было все ноги переломать. Небось как в войну расковыряли – буржуйки топили, – так и осталось. Часть паркетин выдрали, а часть так и торчали.

Верно, так и торчали... Видно, у тех, что выдирали, сил уже не было выдрать до конца. А тем, что пришли на их место, решительно на все было наплевать. Государство обязано! Да, вот с чего начинается родина – с дороги из комнаты в кухню, с раскуроченного паркета, с двадцатисвечевой лампочки Ильича... Видно, все-таки она – Томка. Кто еще может помнить эти стены, дырявые корыта, изуродованный пол: серые растрескавшиеся, расшатанные – недорасшатанные, недовыдранные плашки?

– Бываешь в Ленинграде? – спрашиваю я.

– А как же! И в Ленинграде, и в Москве.

– Ну и как там? Как твои-то? Живы-здоровы?

– Не все... Отец умер. От рака печени. Представляешь – говорят, рак печени только исключительно у алкоголиков бывает. А он – вот уж не по этому делу был! На праздник, и то не всякий раз, рюмочку опрокидывал. Судьба такая – в два месяца скрутило. А мама ничего, жива-здоровая. Квартира у нее теперь хорошая – на Васильевском острове. Ничего, справляется пока. Да она не старая еще – шестьдесят девять лет. По нынешним временам пустяки, верно?

– А Миша?

– Миша – хорошо. Он ведь – помнишь? – на математичке из своей школы женился. На первом курсе еще.

Нет, я не помню. Откуда мне помнить? Они к тому времени уже переехали от нас – получили две комнаты в соседнем доме.

Официант водружает перед нами пахучее дымящееся блюдо, и мы принимаемся за еду.

– А у тебя что? Замужем? Есть дети? – продолжаю я.

– А как же! Еще как замужем! Муж у меня – большой человек. Сын в десятом классе.

– Что значит – большой человек?

– Значительный человек, – поясняет она с выражением. – Ну, как тебе сказать? Вроде дипломата...

Хорошее обозначение – вроде дипломата. Без утайки. Все точки над “и”... Знай наших...

– А ты? – в свою очередь интересуется она. – Не вянешь тут от скуки со своими буржуями? Обратного не тянет?

– В Ленинград? Нет, не тянет. Иногда сон такой жуткий снится – теперь уже реже, правда. Будто приезжаю в Ленинград, хочу подружек своих разыскать, однокурсниц, кого-то из знакомых – и никого, пусто, будто ветром всех повымело, исчезли и следов не оставили. Совсем чужой город, до того переменялся, невозможно узнать. Улицы другие, дома – не то чтобы

новые, но совершенно не те. Приезжаю наконец в аэропорт – обратно лететь – и вижу: ничего нет: ни билета, ни денег, ни визы, ни паспорта. Чувствую, все – погибла. Ужасное такое состояние, будто в преисподнюю провалилась.

– Ну уж ты скажешь – в преисподнюю! – обижается она. – Ленинград – красавец. Ты даже представить себе не можешь, как он расцвел за эти годы.

– Может быть... Для тебя это все иначе. Ты после войны приехала. А для меня Ленинград – вечный погост. Не просто погост – логово смерти... В нашей квартире больше половины людей не стало. И даже могилки не удостоились. И на это сил не хватало. В Неву под лед скидывали. Доставляли на саночках – и в прорубь. Лесосплав.

– Ну тебя, Нинка! – отмахивается она. – Вот уж нашла, об чем вспоминать!

– А я о самом главном вспоминаю, о таком, чего, может, никогда и никому не расскажу. Другие не поймут, а ты должна понять: ты из нашей квартиры. Бывали, знаешь, такие минуты, еще в школе, стою иногда на набережной, смотрю на Неву и вижу – скелеты под водой плавают. Красиво вокруг, величественно, белая ночь, а в Неве скелеты, тихо так кружат, все дно вымощено костями... Знаешь, человек когда от голода умирает, он весь серый становится.

– Ну тебя к бесам! Свят, свят, свят! – крестится она, но как бы не всерьез, как бы шутейно. – Ты, Нинка, чокнутая. Я всегда замечала, что ты чокнутая.

– Возможно. Я разве отказываюсь? Действительно, нормальные люди с годами забывают, а я с годами все больше вспоминаю. Полтора миллиона трупов. Много... А кто-то и не вошел в ту статистику. Опоздал. Мама моя, например, не вошла, она ведь после умерла. Сложно даже доказать, что из-за блокадного голода. Или от этого целебного напитка из пихтовых и еловых ветвей – слыхала? Людей уверяли, что это витамины, что это спасет и поддержит, а это был яд.

– Да перестань ты!

– А потом вы приехали – на их место. В самом буквальном смысле. Не просто в их комнаты – на их же кровати, на те же простыни, на те же подушки... Люди вымерли, а вещи остались. Я не упрекаю – боже сохрани! – не выбрасывать же добро. Тем более что тогда каждая тряпка на вес золота ценилась. Понятно – живые должны жить... Но страшно, Томка, страшно это – я будто сквозь стены видела: вы на этих постелях по двое лежите, возле каждого живого – мертвец...

– Да уж!.. С тобой не соскучишься. – Она откидывается на стуле, трясет кудряшками, отгоняет неаппетитную картину и размышляет, стоит ли продолжать налаживание контакта в свете подобных настроений. Неожиданная реакция. Не предусмотренная планом. – По-моему, ты нарочно меня дразнишь. Ты этого и помнишь-то не можешь. Ты моя ровесница, тебе в блокаду года еще не исполнилось.

– Чего сама не помню, то по маминым рассказам знаю. И потом, ты не думай – они сами приходят, напоминают... В последнее время все настойчивей. Я их не гоню.

– Ну а что – что можно было сделать?! Что ты хотела – чтобы мы сдались немцам?

– Между прочим, знаешь, что в этой истории самое страшное? Что немцы ведь обыкновенные, нормальные, хорошие люди. Сами теперь не могут понять, как это все случилось. Бес попутал!

– Хорошие? – морщится она. – По-моему, довольно мерзкие рожи. Расчетливые сволочи. И бесстыжие. За копейку маму родную продадут.

– Для дипломата ты неправильно рассуждаешь. Политически некорректно.

– А я тут с тобой не дипломат. Как чувствую, так и говорю. Если хочешь знать, мне тоже есть чего вспомнить. Мы, может, не так, как вы, голодали, а тоже будь здоров натерпелись. У матери два брата на фронте погибли, у отца – четверо. Младшему еще семнадцати не исполнилось. Ну так что – всю жизнь теперь рыдать и душу травить? Какая от этого польза? Их все равно не воротишь...

– Да нет, ты не думай, я тоже не всегда была чокнутая. Не постоянно, во всяком случае. Тоже и на каток бегала, и в кино. Мама умирала: не от чего-нибудь – от этого самого отвара вместо витаминов. Он, как потом выяснилось, разрушительно действовал на почки. Мама умирала, а я в кино бегала.

– Ну и что – казнить теперь из-за этого?

– А бабушка и дедушка в Белоруссии погибли. От руки фашистских оккупантов и их пособников. На каждый случай соответствующее клише: “Фашистские оккупанты и их пособники”. Сгнили в какой-то вонючей яме. Вся мамина семья: отец, мать, сестры, племянники. А я, представь себе, совершенно про них не думала. Вообще ни про что такое не думала. Потом иногда как будто натыкалась на что-то странное: братики-то мои двоюродные, надо же – они ведь там, в этих рвах... Но так, мельком, между работой и концертом: как будто это сто лет назад случилось и ко мне вообще не имеет никакого отношения. В молодости мы все оптимисты –

верим в светлое будущее.

– А я и теперь оптимист, – сообщает она. – Вот еще! Пока живы – надо жить. Они умерли, нету их. Умерли, Нинка, все! Из-за бабушек и из-за дядюшек и нам теперь себя уморить? Закахнуть в слезах?

– А ведь какая большая семья была бы – в гости, наверно, друг к другу ездили бы, может, учились бы вместе, жили по соседству. Между прочим, моя мама была не старше твоей, могла бы и по сей день жить-поживать да добра наживать...

– Да... – потягивается она, – нелегко тебе с таким характером. Вот уж не ожидала. Тебе только в церкви покойников отпевать. Большие деньги, говорят, можно на этом заработать. Как муж-то тебя терпит? Кстати, что ж ты про Евгения своего не спрашиваешь?

– Своего? Мы с ним двадцать лет как развелись.

– Восемнадцать, – уточняет она. – И не по твоему желанию.

Вот как далеко простирается их осведомленность!

– Не по моему, – подтверждаю я.

– Между прочим, со второй женой тоже развелся.

– Не может быть!

– Точно говорю. Ты, вообще-то, поела бы. Хватит уж прошлое ворошить.

– Спасибо, не голодная вроде бы. Мы тут неплохо питаемся.

– Все равно. По таким ресторанам небось не каждый день ходите. Разошелся и женился на вдове с двумя детьми. И своего в придачу привел. И еще двоих родили.

– Что ж, приятно слышать.

– Приятно? Что ж тут для тебя такого особо приятного?

– Не совсем, выходит, дурной человек... Если столько детей растит.

– Крестился потому что.

– Да ну?!

– Точно!

Да уж... Неисповедимы пути твои, Господи. Если только она не врет. Но тут вроде бы и смысла никакого нет врать. Разве что из любви к искусству... Рассказала бы лучше про Любу. Люба-то куда подевалась? Может, ждет, что я сама спрошу? Так я ведь не спрошу. У нее – ни за что не спрошу. Что же это такое получается: вместо портрета товарища Сталина – иконы? Бедный товарищ Сталин – последнее прибежище...

– Ты про всех так подробно знаешь или только про меня? – интересуюсь я, подхватывая на особого профиля вилку кусок нежнейшей осетрины. Действительно: не пропадать же добру.

– Такая наша обязанность – знать, – усмехается она не без гордости.

Что ж – у каждого своя стезя и свое призвание.

– Про Паулину тоже знаешь? – решаюсь я приступить к главной теме. Ведь не затем я сюда явилась, чтобы предаваться воспоминаниям детства и наслаждаться изысканной кухней.

– Паулина... Паулина – особый случай, – тянет она уклончиво и даже как-то досадливо поморщившись.

– Ваша работа? – спрашиваю я, заранее предвидя естественные возражения, но пусть знает мое мнение об их организации.

К чему нам лукавить и притворяться? Объяснимся на смелую ногу.

– Да ты что! Что нам, делать больше нечего? Связываться с чокнутыми неврастеничками!.. Небось муженек ее драгоценный.

– Не думаю. Он задирист, но не агрессивен. Если и агрессивен, то только на словах.

– Да? Ты так полагаешь? А тебе известно, за что он в первый раз сел?

– А что – были и последующие?

– Будут! – отвечает она убежденно. – Между прочим, если не знаешь, так слушай: за попытку изнасилования и убийство своей одноклассницы. Вот так! Не агрессивен... Не волнуйся – сам во всем признался.

Брешет. Наверняка брешет.

– И ты меня вызвала, чтобы это сообщить?

– Да что ты, Нинка, в самом деле! – возмущается она. – Вот уж заноза! Ничему не доверяешь. Конечно, если бы не эта история, я бы на тебя вряд ли вышла. А тут стала просматривать – с кем встречалась, с кем водилась, – оказывается, ты. Ну и, естественно, захотелось увидеть, поговорить. Сто лет не виделись... Согласись – не каждый день такое совпадение. Ты вот про маму свою упомянула, а я ведь прекрасно их помню: и дядю Сережу, и тетю Любу...

Это, видимо, главный и последний козырь. Призыв не отвергать родства и близости. В невинности своей приласкать, ободрить и завязать таким образом новую дружбу...

– Да, – говорю я, – в жизни бы не поверила, что встречу тебя, да еще в таком качестве. Что ж, вот и увиделись, и поговорили... – И, дождавшись возникновения официанта, прошу: – Мне, пожалуйста, отдельный счет.

Увиделись и поговорили... Зачем?

– Перестань! – возмущается она. – Сказала ведь: сегодня я плачу.

– Нет, Эвелина, – отвечаю я, выкладывая на стол денежки. – За счет вашей организации мы не кушаем. Извини.

– И зря, между прочим! – злобится она. – От нас – если по-хорошему –

большая польза может выйти. А если по-плохому – то как раз наоборот.

Не Томка, точно не Томка. Томка хоть и приняла участие в натягивании веревки, а все же была пришибленная и малосообразительная девочка. А эта деловитая, бойкая. Совсем не похожа. Кудряшки только совпадают. Наша директриса Марья Ивановна однажды поймала ее в раздевалке и принялась орать: “Страмница! Два вершка от горшка, а уже прически делаешь! Шестимесячную сделала, дрянь позорная!” – и поволокла в ближайший туалет под кран ликвидировать результаты возмутительной “шестимесячной”. Как Томка ни вырывалась, как ни пыталась доказать, что она такая родилась и уже целых шесть лет ходит в таком виде в эту самую школу, – ничто не помогло.

Нужно быть полной идиоткой или садисткой, чтобы заподозрить, что двенадцатилетняя девочка – в те-то пуританские годы! – осмелилась сделать шестимесячную завивку. Да откуда бы она и деньги взяла? Ничто не помогло. Марья Ивановна с яростью драла ее кудряшки, Тамарка визжала и выла под струей холодной воды, и мне было очень ее жалко – несмотря на давешнюю злокозненную веревку...

Эвелина – эвель, подумала я, садясь в машину. Надо же... Жива ли моя соседка Томка? А Пятиведерников ни в чем не виновен. То есть, может, какой-то очередной своей выходкой и подвигнул Паулину на безумный поступок, но не убивал, как пытается и явно, и исподволь убедить Эвелина Заславская. Да и в тот раз тоже, скорее всего, никого не убивал. Не важно, что “сам во всем признался”. Одного отдельно взятого человека, молодого, неопытного, одинокого и растерянного, к тому же не вполне психически устойчивого, при желании можно убедить в чем угодно – даже в самом гибельном и неправдоподобном. Пожилого, между прочим, тоже... Главное – внушить чувство вины. А факты можно подтасовать и подогнать, слепить по ходу дела.

И вот что интересно: хоть она и сказала “может, полгода потом в вашу сторону не выберусь”, но выбралась весьма скоро. Дней через десять я увидела ее в центре города выпрыгивающей из длинной шикарной машины с затемненными стеклами и скрывающейся в ближайшем подъезде. Номер на машине был не дипломатический – самый обыкновенный, но это, несомненно, была она. Меня она, скорее всего, не заметила. Здание, в которое она устремилась, оказалось жилым домом – во всяком случае, никаких табличек на дверях не имелось. Машина сразу же укатила, стало быть, в ней кто-то сидел: может, шофер, а может, и высокопоставленный

муж – закопченные стекла не позволяли увидеть.

Мне необходимо было поделиться с кем-то своими открытиями и подозрениями. Но с кем – с Мартином, Эндрю, доктором Рутеншицем? В конце концов я решилась позвонить полицейскому следователю. Он ведь сказал: звоните. Разумеется, Эвелина Заславская не по его части, но все-таки невозможно утверждать, что ее внезапное появление никоим образом не связано с таинственным исчезновением Паулины.

Следователь весьма внимательно выслушал меня, записал номер машины, озабоченно нахмурился и сказал:

– У нас возникло такое подозрение: в этом деле может присутствовать политическая подоплека. Она, конечно, досаждала советским своими петициями. Но утверждать что-либо невозможно. Фактов – никаких. Ни малейшей зацепки. Мы не знаем практически ничего. К тому же я сомневаюсь... – Он посмотрел на меня, взвешивая, стоит ли продолжать, но все же закончил: – Сомневаюсь, что у нас захотят раздувать эту историю.

– Разве правоохранительные органы не обязаны обеспечивать безопасность граждан? – спросила я.

– В принципе, да, – согласился он поскучневшим голосом. – Но вы даже не представляете себе, сколько людей в этой стране исчезают внезапно и бесследно. Был человек – и нет. К тому же... существуют соображения... иного порядка. Боюсь, что сейчас не самый удачный момент... для всестороннего расследования.

– Надеюсь, что он когда-нибудь наступит, – сказала я. – Удачный момент для всестороннего объективного расследования.

Он промолчал.

От Дениса поступило донесение, что уже ознакомился со всеми достопримечательностями Индии и восходит теперь в горы Кашмира.

“Здравствуй, мать! Много писать не стану, т. к. выбрал совершенно неподходящее время и место. Нет, не бойся – все предельно прилично и нравственно. Руки стынут, пар изо рта валит, полпервого ночи (моцаэй шабат), высота 2 тыс. метров над уровнем моря, а может, и более. Тут сейчас ясная морозная погода, звезды искрят, прямо над головой происходит противостояние Юпитера. Надеюсь, зубная паста не застынет в тюбике. Безумные одичавшие туристы сперли полотенце. Везде сплошной

Восток. Правда, нашел другое, кем-то брошенное, но оно все в глине и черт знает в чем, а мое было чистое и почти новое. Впрочем, это не важно. Триста долларов твои просвистал и по инерции влез в долги. Помню, что и сам одолжил кому-то \$ 30, вот только запомнил – кому. Вот ведь маразм! Ну ладно. Привет. Твой сын Денис”.

Угроза товарища Заславской: “А если по-плохому – то как раз наоборот”, – не замедлила осуществиться. Гнусно и мелко. Не думала я, что все будет настолько подло и мелко. Я вывела Лапу прогуляться, а надо сказать, что я делала это не так уж регулярно, утром ее частенько выгуливал Мартин, то есть брал с собой, отправляясь в магазин или еще по каким-нибудь делам, по вечерам – Эрик. Не исключено, что исполнителям замысла пришлось немало человеко-часов проболтаться возле нашего дома, прежде чем удалось подкараулить именно меня, но чего не сделаешь ради торжества идеи! Как всегда, приблизившись к парку, я спустила собаку с поводка, и она радостно поскакала вдоль изгороди, отклоняясь то вправо, то влево и приостанавливаясь, чтобы подробнее ознакомиться с каким-нибудь завлекательным запахом. И тут по абсолютно безлюдной улочке пронеслась длинная темная машина с непроницаемо затемненными стеклами и ловко заляпанным грязью номером, вильнула в сторону, смяла газон, сбила Лапу с ног – с четырех шустрых собачьих лап – и на полной скорости исчезла. Летучий голландец... И это в стране, где любой водитель предупредителен до слащавости, готов опоздать на самолет и даже на заседание государственной ассамблеи, лишь бы никоим образом не нарушить священных прав пешехода.

Лапа пронзительно завизжала, я кинулась к ней, подхватила на руки, она обмякла и повисла – теплое, милое тельце, совершенно искалеченное и беспомощное.

Между двумя этими действиями была несомненная разница: когда они со Славкой Витюковым натягивали веревку поперек коридора, они не могли полностью предвидеть, что именно произойдет – что я так расшибусь и даже кровь польет из носа. В конце концов, они были всего лишь дети, задумавшие злую шутку, но недалёковидные. А тут нападение было совершено взрослым человеком, прекрасно сознающим неизбежные последствия.

Я помчалась с пострадавшей на руках домой – чтобы взять машину и отвезти ее к ветеринару, с трудом протиснулась во входную дверь и увидела нашу соседку с нижнего этажа, которая стояла на пороге своей квартиры и кокетничала с электриком. Парень был одет в фирменную форму и копался

в каких-то проводах под потолком. Завидев меня, соседка вальяжно выгнула бедро и томно сообщила:

– Они все сходят по мне с ума! Просто не могут пройти мимо... Все как один!

Не мне – не мне было отрицать это утверждение. Шесть лет назад семнадцатилетний Денис прожил у нее едва ли не целый год. Хотя, как мне доложили доброжелатели, она оказалась почти моей ровесницей, но в отрочестве или даже в детстве ее перекормили какими-то гормональными препаратами, тормозящими естественное развитие ребенка, – она занималась художественной гимнастикой, и тщеславные родители (а может, и тренеры) пытались таким образом создать из нее чемпионку. В те времена спортивные комитеты еще не догадались за этим следить. Выдающейся чемпионки не получилось, но она так и осталась недоростком – правда, с неестественно широкими для ее миниатюрной фигурки бедрами – и, кажется, даже слегка пострадала в умственном отношении. Но при этом начала проявлять настойчивую заинтересованность в мужчинах, более всего молоденьких.

– Помогите мне! – воскликнула я зачем-то, очевидно совершенно потеряв голову. – Помогите мне открыть дверь!

За последние пять лет мы с ней ни разу не перемолвились ни единым словом.

Она как бы очнулась, увидела собаку у меня на руках и произнесла брезгливо:

– Фу, какая гадость! С нее что-то капает!.. Вы тут запачкаете нам ковры.

Ветеринар сокрушенно покачал головой.

– Спасите ее! – требовала я. – Сделайте что-нибудь! Сделайте так, чтобы эта собака жила!

– Она не будет жить, – сказал он. – Ей уже не с чем жить. У нее повреждены многие внутренние органы.

– Сделайте операцию! Сделайте что угодно. Но чтобы эта собака жила!

– Невозможно, – постановил он. – Даже если она каким-нибудь чудом выживет, она останется полным инвалидом.

– Пускай! Лишь бы была жива.

– Вам хочется иметь собаку-калеку? Хромую и изуродованную?

– Мне хочется, чтобы она жила.

– Я подыщу вам другую собаку, – пообещал он. – Если хотите, такую

же рыжую и лохматую. С такими же ушами.

– Мне не нужна другая собака! Мне нужна эта. Вы не понимаете? Вы обязаны спасти ее! Спасите ее...

– Невозможно. Поверьте, я не враг собакам. Нужно сделать ей укол – усыпить и прекратить тем самым ее мучения.

Каким-то последним отчаянным усилием Лапа вдруг приподняла голову, поискала меня взглядом, нашла, успокоилась – и затихла. Решила, что если я рядом, то, значит, все в порядке. Все хорошо. Карие собачьи глаза закатились. Укол не потребовался.

Когда я вернулась домой, Мартин разговаривал по телефону – кажется, с Юнсонами. Все три наших сына дружно играли в детской. Из распахнутой двери неслись их веселые вопли.

Я сбросила с себя одежду, перепачканную в собачьей крови, и легла в постель. Меня знобило. Нельзя было идти на эту встречу в ресторане “Ретро”. Если бы не пошла, ничего бы не случилось... Ничего бы не случилось...

Не сразу, но на следующий день Эрик заметил наконец Лапино отсутствие и спросил:

– А где Лапа?

Я решила, что обязана сказать правду. Не всю, разумеется, но некоторую ее долю.

– Лапа попала под машину.

– И умерла? – уточнил Хед.

– И умерла, – подтвердила я.

– Насовсем-насовсем умерла? – как-то задорно, будто приглашая братьев повеселиться, повторил Фред.

И все трое рассмеялись.

Я почувствовала, что пол покачнулся и уходит у меня из-под ног. Ухватилась за трехэтажную кровать, постояла немного и потихоньку двинулась к двери. Они вернулись к игре. “Нет, это не мои дети, – подумала я. – Это какие-то подкидыши. А может, они не понимают, что такое смерть? Думают, что это как в кино? Как в мультфильме...”

Дня через два, а может, три позвонил Денис:

– Привет, мать! Как поживаете? Лапа жива?

– Нет, не жива, – произнесла я после несколько затянувшегося молчания. – Нету больше Лапы...

Зарыдал – как-то нарочито громко, обвиняюще, – а потом вообще бросил трубку.

“Ну, извините, – подумала я, а может, даже произнесла вслух. – Недокараулили. Недосмотрели. Прощляпили Лапу – пока вы там изволите набираться ценных впечатлений...”

Он этого не слышал.

Пришел ответ из Красного Креста. С приложением какой-то российской выписки – от руки – из какого-то протокола с синим расплывчатым официальным штампом: “На ваш запрос сообщаем, что Тихвина Любовь Алексеевна, жительница г. Ленинграда, 9 января сего года...”

“Девятого января 1905 года, – тотчас пробудились сведения, почерпнутые из учебника истории, – Кровавое воскресенье, расстрел мирной рабочей демонстрации...” – вслед за этим запись в мамином дневнике: “9 января 1942 г. Ходят упорные слухи, что в Мурманске стоят эшелоны с продуктами для Ленинграда”. Сколько рабочих погибло при расстреле мирной демонстрации? Свыше тысячи? Свыше тысячи плюс полтора миллиона так и не дождавшихся эшелонов с продуктами. Проклятый город!

“...9 января сего года, – вернулась я к тексту, уже зная продолжение, но еще надеясь, что оно каким-то чудесным образом переменится, – находясь в гостях у своей сестры Боровицкой Валерии Алексеевны, в деревне Узовка Архангельской области, угорела насмерть в бане вместе с двумя другими женщинами, о чем в Книге записей гражданского состояния...”

Все это выглядело полным бредом и дурацким розыгрышем и в то же время вполне могло быть правдой. Заурядное, будничное происшествие. Чему тут удивляться? – так тому и следует быть: трем женщинам угореть вдруг насмерть в деревенской бане.

Но если это правда, если действительно... Если Любы больше нет... Нет, не может быть!.. А как же наша комната? Вселили кого-то? Разумеется, не могут же они допустить, чтобы жилплощадь пустовала... Да, но что же с нашими вещами? Как же?.. Отцовский письменный стол... Фотографии... Выкинуты на свалку?.. Вместе с буфетом и диваном? Нет, буфет и диван вряд ли так скоро выбросят. Но все-таки... Почему никто не потрудился выслать мне документы, фотографии? Хотя что я говорю – документы запрещено вывозить. Только нотариально заверенные копии.

Любино письмо, которое я умудрилась потерять, пришло под Новый год. Значит, было отправлено где-то в начале декабря. Зачем, с какой стати она среди зимы потащила в деревню к сестре? На Рождество, что ли? Все может быть – писала же, что ходила на Пасху в церковь, куличик освятила.

Это Люба-то – бесстрашная безбожница.

Однажды, году, наверное, в 1967-м, к нам явился Любин племянник, невзрачный деревенский парень, решивший поступать в Ленинграде в какой-то не то институт, не то техникум. Явился без предупреждения, зато с письмом от бабушки, Любиной матери, – та обращалась к дочери с призывом подсобить многострадальной старшей сестре, колхозной матери-одиночке, помочь по-родственному единственному ее, в крепкой нужде выращенному сыну устроиться в городе на учебу, позволить пожить у нее, покуда не получит койки в общежитии.

Не помню, поступил подросток в институт или нет и если поступил, то получил ли, как предполагалось, воделенную койку, зато помню, что Люба его появлению нисколько не обрадовалась, бурчала, что, дескать, глядите: как им надо, так явились не запылились, родственнички дорогие, а как не надо, так и целый год не вспомнят, и вообще, на кой он черт тут нужен, взрослый парень, когда у нее девка в доме (то есть я), и еще что-то в том же духе, но дело, как я понимаю, было вовсе не во мне – племянник был тихий и застенчивый, как мышка, скромнее некуда, но его присутствие расстраивало Любину личную жизнь: не осмеливалась она при нем привечать ни дядю Петю, ни Геннадия Эдуардовича – опасалась, как видно, дурной славы, что пойдет по родной деревне. Не могла допустить такого.

Прочтя сообщение раз и другой, я опустила конверт на стол и задумалась. Что ж это, дурная ворожба? кошмарный сон? колдовство, что ли, какое надо мной совершается? Сначала Паулина, теперь Люба. Хотя нет, по хронологии наоборот: Люба, если верить выписке из протокола, угорела в бане девятого января, а Паулина исчезла сравнительно недавно, в начале лета.

Люба, Паулина, Лапа... Хотя Лапа, конечно, не человек – всего лишь собака. Милая такая, родная, всеми любимая и всех обожавшая собака... Лохматый комочек неумной ласковости и безграничной преданности.

Люба угорела в бане, и никто не сообщил мне. Не поставили в известность, не позвали на похороны... Даже фотографий не послали. Нелюди.

Не нужно было, не следовало обращаться ни в какой Красный Крест. Приспичило, видите ли, выяснить, что именно за причина, почему не пишет! Ну вот, теперь ты выяснила, много ли это известие принесло тебе пользы? Облегчения? Отраднее ли тебе стало? Нет, не стало ни легче, ни отраднее... Побеспокоилась навесить себе на душу новую кручину – горькую и неизбывную... Бедная, бедная Люба. Еще одна страница в этом

изломанном, равнодушном мире... Что ж тут удивляться, что вспомнила про сестру в деревне. А кто еще у нее оставался? Подружки в цеху? Амира Григорьевна? Федотыч, дядя Петя, как она сообщала, вскоре после моего отъезда вовсе перестал бывать. Бросил. С чего бы это? Тут бы, кажется, только и радоваться, жить-поживать, добра наживать – в любви и согласии, – когда никто не мешает, не досаждают, не глядит букой из угла, не путается под ногами... А он взял да исчез. С самой той осени не наведалься ни единого разочка. Заявился, правда, в клуб на пятидесятилетие, да и то сидел поодаль, затесавшись среди коллектива, вроде как посторонний – последний долг отдать.

Ну и шут с ним, разрази его кондрашка, Люба не из тех, что станут по такому случаю горевать да слезы лить; если ему не требуется, так и нам ни к чему, и раньше не набивались, а теперь уж и подавно обойдемся. На пенсию, передавали, вышел, огородный участок получил, засел, как крот в норе, картошечку, помидорчики разводит, агроном вишь какой выискался!

Как я должна была откликнуться на это донесение? Что присоветовать и чем утешить? Что придумать в ответ на печальное сиротливое признание? Каким образом осушить ее слезы? Нет, не прониклась я ее горем, не потрудились, не отыскала слов, не попыталась развеять ее кручину, проигнорировала сей щепетильный вопрос. Тем более что не было у меня ни малейшего желания вспоминать дядю Петю. С пятидесятилетием, разумеется, поздравила – что ни говорите, важная дата, хотя для женщины, понятное дело, достаточно огорчительная. Но мне-то самой сколько было в то время? Я даже и представить себе такого не могла – пятьдесят. Я посылки ей отправляла и тем самым полагала свой долг перед ней отчасти уже выплаченным.

А дядя Петя недолго поогородничал на пенсии – года два спустя дошли до Любы слухи, что помер. Она и об этом мне сообщила – так, вроде бы между прочим, помер вот Федотыч, а до того сильно хворал, говорят. Я опять не отреагировала и соболезнования не выразила. Что ж, помер так помер – сама ведь писала, что и до этого не показывался. А потом еще одно письмо было – про то, как столкнулась она на кладбище с дяди-Петинной женой. Так вот вышло нечаянно, что обе в один и тот же день потянулись навестить могилку. И произошла у них там беседа. Нет, ничего особенного. Помянули покойника добрым словом, поговорили и разошлись.

Не исключено, конечно, что случай Любы и Паулины является следствием какого-то коварного заговора, выношенного в недрах дьявольски могущественной и, видимо, страдающей от смертной скуки организации. От безделья, распушенности и безнаказанности расплодилось

в ней, как черви в гнилом грибе, любители поиграть чужими судьбами. Но где же их выигрыш? Ведь не делаются же они от этого бессмертными, не надеются присвоить себе остаток чужих, насильственно укороченных жизней?

“...ВОЗМОЖНОСТИ НЕТ не выиграть, это верно, верно, двадцать опытов было со мною, и вот, зная это наверно, я выезжаю из Гомбурга с проигрышем...”

Каждый из нас тащит за плечами эдакую плетеную корзину с перегородкой посередке. За левым плечом – достижения, за правым – убытки. Убытков, как правило, больше, поэтому с годами мы все сильнее кренимся на сторону и, заметив нарушение равновесия, пытаемся подпереть себя клюкой. Исправить положение. Выкидываем перед последним прощанием какой-нибудь дурацкий фортель. Завещаем, например, все свое состояние любимому коту, утратившему от множества прожитых лет всякий интерес к тем удовольствиям, которые приобретаются за деньги.

У мамы в Ленинграде был дальний родственник, покинувший родной городишко еще до революции. Не то двоюродный дядя, не то троюродный брат, юноша весьма одаренный и в не меньшей степени вздорный. Благодаря своим незаурядным способностям сумел добиться покровительства некоторых влиятельных представителей прогрессивно мыслящего петербургского общества и получить право на жительство в столице, минуя лицемерное крещение. Имя тем не менее переименовал, причем самым решительным образом – не так, как другие, из Абрама в Аркадия или из Вольфа во Владимира, а полностью перечеркнул свое неправильное прошлое и, наплевав на волю родителей, нарекших его Шломой, сделался Арсением. Очень лихо продвинулся по научной линии, поддержал большевистский переворот и был назначен директором одного из первых советских научно-исследовательских институтов. Однако допустил непростительную и необъяснимую слабость – когда в Ленинграде появился его младший брат, тоже достаточно способный молодой человек, принял его в свой институт на какую-то незначительную должность. Развел кумовство. Более того, временно поселил у себя дома, в своей директорской квартире.

А брат тоже оказался субъектом вздорным и невыдержанным, в скором времени поссорился со многими сослуживцами и наболтал чего-то лишнего. И вполне естественным в те годы путем канул в бескрайние сибирские просторы. Оставив великодушному старшему брату на память потрепанный чемодан и звание члена семьи врага народа. Нельзя сказать, что Арсений слишком жестоко пострадал, но карьера его пресеклась и пошла на убыль. Из директоров его перевели в начальники одной из лабораторий, а потом, ровно за два месяца до коварного нападения

фашистской Германии на Советский Союз, и вовсе посоветовали, несмотря на далеко еще не преклонный возраст, выйти на пенсию. Так что война и блокада застали их обоих, его и его сорокапятилетнюю жену Соню, в статусе бесправных пенсионеров. Вернее, пенсионера и домохозяйки. Что это означало, не нужно разьяснять. И вот тут начинается самое интересное: во всех приключившихся с ним несчастьях бывший Шлома обвинил не себя, не брата, не советскую власть, а вовсе ни к чему не причастную и ни о чем не осведомленную Соню. Прямо-таки возненавидел ее.

Страничка из маминого дневника: “Сегодня встретила на Невском Шлому. Тащится с палочкой, еле волочит распухшие, как колоды, ноги, валенки разрезаны почти до самого низа, нос сизый, острый, еле узнала. Не выдержала и подошла. Что у вас, спрашиваю, как вы себя чувствуете? А он: чувствую себя прекрасно, у меня все отлично. Даже великолепно! Приятно, говорю, слышать. Оказывается, оставил Соню одну и больше ею не интересуется. Перебрался жить в соседнее здание, благо пустых квартир хватает. Наконец-то, говорит, я обрел желанную свободу. Она, дескать, подлая и хитрая женщина, пыталась меня преследовать: разыскала и стала совать какое-то барахло, кусок мыла, кусок сахара, какие-то хлебные огрызки. Я категорически отказывался взять, но она положила все это на стол и скрылась. Воспользовалась тем, что мне трудно подыматься с постели. Думала, что я соблазнюсь ее подношениями и таким образом вновь подпаду под ее власть. Что с помощью этих кусков ей удастся меня закабалить. Что я не устою, проглочу этот мерзкий хлеб и он изнутри, из глубины моей утробы, начнет руководить моими чувствами и поступками. Но я встал и все выбросил. Да! Если кому-то это нужно, пусть воспользуется. Пусть попадет к ней на крючок, в эту ее ловушку.

Арсений Михайлович, говорю, дорогой, опомнитесь, вы же умный, образованный человек! Как это некто посторонний, совершенно с вашей Соней не знакомый, может попасться к ней на крючок? Подумайте, ведь это она ради вас старалась, принесла такую жертву! Как же вы можете так поступать? А он: только так и не иначе! Вот, после двадцати с лишним лет чудовищного плена я разорвал наконец окончательно эти оковы, в которых она держала меня. Я сегодня счастливейший человек на земле! Помилуйте, говорю, зачем же вы так несправедливы? Зачем обижаете ее? И тут не знаю, что со мной сделалось, от слабости, наверно, или от голода, – чувствую, слезы по щекам текут, а на улице ведь мороз. Вот, говорю, мы с вами сейчас стоим и беседуем, а она там одна, совсем одна в смертный свой час... Ведь если она отдала вам свой последний хлеб... Тут он совсем взбесился, палкой на меня замахнулся – то есть как бы замахнулся, сил-то

не было высоко поднять, кричит: „А, это она тебя подслала!” Окончательно сошел с ума. Подумать только: счастливейший человек...”

Что ж, действительно, нельзя же – чтобы на весь город не было ни одного счастливого. Должен найтись хоть один.

У нас сегодня все сложнее, и счастье уже не столь легко достижимо.

Без малейшего колебания бросив собственного сына, умненького, милого и ни в чем абсолютно не виноватого мальчика, и отшатнувшись в раздражении даже от минутной встречи в театральном фойе, любвеобильный папаша растит теперь, представьте, пятерых детишек, двоих при этом чужих. Если только сообщение Эвелины не ложно. Ничего не скажешь, много странного и таинственного происходит на этом свете. Жаждал потрясающих, грандиозных свершений, рвался в высшие сферы, решительно презирал малые зарплаты в сто десять рублей, а кончил так уныло и незатейливо.

По прошествии двадцати лет – двадцать лет спустя – можно на все взирать свысока и ничему не удивляться. Тихонько вздохнув и усмехнувшись про себя, поразмыслить на досуге о превратностях судьбы. Порадоваться, что все это осталось так далеко и давно позабыто. Но что правда, то правда, не по моему желанию перевернулась и раскололась наша любовная лодка. По моему желанию она, надо думать, долго бы еще крутилась в мутном омуте посреди ржавого болота.

Но я бы куска сахара не понесла. Нет, не понесла бы. А он бы, как я теперь догадываюсь, и не выкинул. Ведь не пренебрег же черно-красным жилетом.

Хотя неизвестно, что хуже, что муторнее и позорнее – ведь была еще ночь посреди кучи складенных дров и мусорных баков. Ну, может, не вовсе ночь – поздний промозглый вечер. Долгое мучительное ожидание у знакомого подъезда в надежде на его появление. Почему я вообразила, что он не дома? Догадалась по темному окну? Может, по телефону ответили? Нет, по телефону вряд ли – по телефону я бы не решилась, побоялась бы, что узнают голос.

Много всяких людей проходило через двор – жильцов из этого подъезда, а также других. Никто из них не обращал на меня внимания, поскольку дело происходило некоторым образом в тени, в самое темное, самое декабрьское время года, да и погода была ужасная – снег валил хлопьями, и мокро было, грязно, сыро и удушливо, короче говоря, при обычном ленинградском климате, когда каждый разумный человек, чем-нибудь прикрывшись и забившись лицом в воротник, спешит нырнуть в

ближайшее сухое убежище.

Мерзлый туман и прогорклая капитальная гарь. Позиция меж угольной кучи и мусорных баков – в ожидании не разговора, не объяснения – нет, нет, конечно! – только чтобы взглянуть и увидеть. Позарез вот потребовалось еще раз взглянуть и увидеть. Не спрашивайте зачем.

Новые и новые люди заходили в подворотню, но все не те. Только постоять – наблюдателем посторонним, – отметить, как он пройдет мимо, не глянув, разумеется, в сторону мусорных баков, и все, больше ничего не надо. Увижу, успокоюсь и отправлюсь домой. Скажу Любе, что была в кино. Или в театре.

Наконец уже и всякое движение прекратилось, и люди перестали заходить в подворотню, погасли одно за другим многие окна, снег сменился дождем, потом где-то глухо пробило полночь. Ноющая, до костей пронизывающая сырость, холод, трепет до последней жилочки – зачем? Ведь могла бы сидеть весь вечер дома, в теплом углу, в мирной беседе о том о сем с Любой и дядей Петей, белье, например, могла бы перегладить...

Не исключено, что в это самое время, пока я не спускала глаз со знакомой двери, серенькой мышкой забившись в ледяную щель между нечистыми и промерзшими баками, он уже находился у новой жены, в современном благоустроенном районе, вдали от слякотной подворотни, мокрых дров и мусорных куч.

Но никто не заметил и не узнал. Вздорный поступок не обернулся публичным позором. Да и о чем тут много распространяться? Ну да, ну пусть – совершаем по молодости и по глупости неверные шаги. Увлекаемся и упорствуем в своих заблуждениях. Но в конечном счете осознаем бесперспективность и нелепость ситуации и скрепя сердце принимаем правильное решение: в критический момент хватаем себя за волосы и вытягиваем на спасительный берег благоразумия. Ведь не над кем-нибудь там посторонним поглумился господин Голядкин-младший – исключительно самого себя взял за шкуру и вывел на чистую воду, пристыдил за разные слабости и бредни, заставил осознать особенную надобность приобрести в жизни вес и достоинство, найти твердую почву под ногами и пожалеть о напрасно растроченных на извозчиков целковых. Коренным образом исправив свое поведение, сыскал и заслужил уважение в свете. Пленил своими новыми спокойными и благонамеренными манерами соблазнительную Клару Олсуфьевну и единородного ее высокопоставленного папеньку Олсуфия Ивановича Берендеева. Вернул прежние убытки, устроил себе легкое и приятное, завидное положение.

Был один человек – мечущийся и сомневающийся, робкий и спотыкающийся, с трепетанием сердца и дрожью во всех членах, короче говоря, слюнтяй и ветошка, а стал другой – степенный и уравновешенный, с толстым зеленым портфелем, достойный сопровождать лично господина директора, пользующийся доверием его высокопревосходительства, направляемый по особым поручениям, то есть сделавший завидную карьеру, кругом полезный и надежный. Если посмотреть со стороны, так ведь следует только одобрить подобную метаморфозу, перемену на благо индивида и общества. Из шута в большого человека. Тысячная толпа восхищается вами и приветствует вас, новый господин Голядкин, гордость вы наша и упование, – тысячная толпа рукоплещет вам, делает вам ручками хлоп-хлоп-хлоп! ножками топ-топ-топ и в воздух чепчики. Топ-топ-топ! – да, вершина, победа, Эверест! Извел в себе врага своего, изжил в своей натуре смехотворные, неудобные и ненужные качества, мешавшие продвижению и пристойности, и приобрел взамен их власть необыкновенную. Отчетливую возможность погубить любого. Подчинил себе обстоятельства и сделался непроницаемым для житейских бурь и людских слез. И не так уж много требуется для желаемого усовершенствования – суметь только взглянуть на себя трезво и непредвзято, определить подлежащие искоренению недостатки и выработать надлежащие правила. Втоптать в грязь господина Голядкина-старшего, чтобы скрылся он под ней окончательно, чтобы даже макушка его не торчала и не дергалась, чтобы никто и не вспомнил, что существовало на свете подобное недоразумение. Оплакаться в потаенном уголке заблуждения и горячность юности и публично отречься. Нынешние Крестьяны Ивановичи огромные прибыли имеют, содействуя пациентам совершить указанное превращение: посредством различных психологических курсов и тренажей дотянуться до господина Голядкина-младшего. Поставить себя на правильную ногу с начальством и с подчиненными, да и в личном общении не переходить безопасных границ. В случае чего тотчас заметить нежелательность дальнейших отношений и немедленно прервать их, не тратя драгоценного времени на бесплодные мечты и метания. Тем более на стояние под чужими окнами.

Но если верить Эвелине, так выходит, что и новый брак не принес обещанного совершенства. Не получилось счастливейшего человека. Подумать только – ушел, да еще и сынишку забрал. Но как же она отдала? Как согласилась?

Усни, усни, душа моя, сон освежает. Пусть так: Люсенька, Люба,

Паулина. Таинственный и непреложный закон бытия: всеобщая глобальная суперсимметрия. Ничего, все уже было и опять будет. Отражение в пространстве и во времени. В бесконечном строе зеркал. Чаще всего кривых, но при этом скаречно хранящих образы Арсения Михайловича и тети Сони и многих других... Ничего, не надо отчаиваться, может быть, все еще и уладится к лучшему. Ну что же? Чем тут можно помочь? Если нет сил, если совершенно уже не осталось сил, дозволено забыться и устраниться. И потом – кто сказал, что мы уже не встретим их на этом свете? Все еще может проясниться, обернуться досадным смешным недоразумением. Паулина вполне может найтись, вернуться, возникнуть как ни в чем не бывало в своей библиотеке, и Пятыведерников опять начнет буянить и капризничать, назло ей распевать на лестнице, под благопристойными добрососедскими дверями, удалые русские песни. И мы все будем счастливы, ужасно, до смешного, до неприличия счастливы, как веселенькие сытые дети. И про Любу все может оказаться неправда. Мало ли, что казенный бланк и синий штамп – долго ли им затребовать любой бланк?.. Ничего, приспособимся как-нибудь жить дальше. Огибать острые углы. Направим свой челн в тихую заводь, к причалу если не радости, то по крайней мере покоя. Что в этом зазорного?

Пятиведерников двигался по тротуару – чистенький, трезвый, отутюженный, в элегантном добротном плаще и с черным блестящим портфелем в руках. Увесистым деловым кейсом. Совершенно новый, неузнаваемый и правильный господин Пятиведерников. В первый момент я решила, что это не он, просто кто-то сильно на него похожий, но нос – нос с пышной нашлепкой, эдаким чрезмерным, но в то же время неотъемлемым довеском – не мог принадлежать никому другому.

“Не верьте им, не связывайтесь с ними, они лгут, они гнусно наслаждаются построением и наслоением этой лжи, похваляются ловко сотканной паутиной, в которой всем нам назначено увязнуть и пропасть. И вам в первую очередь. Не губите свою душу, бегите от них!” – хотелось мне крикнуть из окошка машины, но, судя по всему, было поздно: он уже сдался, ухватился за них, поверил, что обретет там опору и некий новый, еще не испробованный смысл своего злосчастного и беспутного существования. Уже не презренный прихлебатель, а часть коллектива, деталь мощного механизма, уже отряхнулся и воспрял, замечен, обласкан, приглашен постоять возле державного мизинца. Допущен в канцелярию. Полезен! Посвящен в какую-нибудь мелкую гнусную каверзу. Удостоен личной беседы с товарищем Эвелиной Заславской. Сунул голову в петлю, в пасть людоедов и крокодилов и убедил себя в правильности и неотвратимости принятого решения...

Забавно, подумала я, я ведь так и не выяснила, как его зовут. А может, он и имя переменял?

Самое скверное, что и с Мартином происходило нечто странное. Я уже привыкла к тому, что всякий раз, возвращаясь домой или даже просто выбираясь за чем-то из своей комнаты, застаю его в одной и той же позе: сидящим возле телефона и беседующим с кем-то из представителей семейства Юнсонов. Только с ними он был по-прежнему бодр и приветлив. Со всеми остальными, даже с детьми, сделался ворчлив и всем недоволен, с Эндрю умудрился едва ли не поссориться, на звонки его отвечал кратко и угрюмо и сам первый не искал общения. Временами – к сожалению, все чаще – погружался в сентиментальные воспоминания и как будто обвинял нас всех в том, что жизнь уже не так хороша, как прежде. Хмурился и обижался, раздражался от любого пустяка, стал брюзгой и придирой. Я не

знала, что и думать. Северная погода, бесконечная осенняя сырость, серость и тьма за окнами тоже не добавляли радости.

Эрик на ядовитые замечания отца научился огрызаться и презрительно фыркать. Хед ударялся в слезы. Мне сделалось как-то неуютно, тяжело и плохо в собственном доме. Я с трудом перетаскивалась из одного дня в другой, через силу совершала необходимые действия, отправляла детей в школу и заваливалась спать дальше, опаздывала сдать переводы, придумывала какие-то отговорки и чувствовала, что скоро по-настоящему заболею.

Но Мартин опередил меня.

В тот день лил дождь, дело вполне обычное для конца ноября. Фру Юнсон явилась в прозрачном плаще, с которого стекали потоки воды, принесла нечто хозяйственное, срочно затребованное Мартином: не то сито, не то дуршлаг, не то кастрюльку для особо полезного приготовления овощей на парбу. Я не удержалась и заметила, что у нас имеется такая же точно, не стоило беспокоить соседку. Мартин не удостоил меня ответом, а как только за ней захлопнулась дверь, опрометью кинулся к телефону. Хотя я и не имею обыкновения прислушиваться к чужим разговорам, но тут мне довольно скоро открылось, что он беседует с малышкой Линдой. Невинная хитрость: успеть, пока мать преодолевает расстояние от нашего подъезда до своего, поболтать с дочкой, задать несколько шуточных вопросов и получить желанные ответы. Услышать милый голосок. Похоже было, что юная фигуристка на том конце провода вовсе не разделяла пылкового воодушевления дяди Мартина и не стремилась поддержать навязанную ей беседу. Я вздохнула, но промолчала.

Положив наконец трубку, Мартин появился в кухне, покрутился немного, будто что-то отыскивая или припоминая, и снова устремился в коридор.

– Так что ты собираешься готовить? – перехватила я его на полдороге.

– О чем ты, дорогая? – откликнулся он, стремясь продолжить свое движение.

– О кастрюле. Зачем она тебе понадобилась?

– А, это не сейчас, это потом! – поспешил он отвертеться и снова набрал заветный номер.

На этот раз трубку сняла сама фру Юнсон. Мартин для приличия слегка полюбезничал с ней, а потом спросил:

– А нельзя ли на минуточку, на одну крошечную минуточку, попросить к телефону нашу милую горячку, нашу сердитую Линду? Скажите ей, фру Юнсон, что у дяди Мартина есть для нее небольшой сюрприз. – И игриво

хихикнул.

На той стороне произошло некоторое замешательство, видимо, милая гордочка и вправду сердилась и отказывалась от продолжения совершенно ненужных и досаждавших ей разговоров, но потом под нажимом матери все-таки сдалась. Мартин просиял и умудрился почти слово в слово повторить все, что уже сообщил пятью минутами раньше. Когда он повесил трубку, я не выдержала:

– Послушай, по-моему, это переходит все границы.

– О чем ты, дорогая? – насупился он.

– Это просто неприлично. Надеюсь, ты не забыл, что между тобой и крошкой Линдой существует значительная разница в возрасте?

– На что ты намекаешь? – возмутился он и горделиво вскинул подбородок.

– Я не намекаю, я говорю абсолютно прямо и недвусмысленно: неприлично пожилому дяде вязаться к тринадцатилетней девочке. По пять раз на дню выискиваешь предлоги для абсолютно пустых и бессмысленных бесед.

– Каких бесед? – засопел он. – Дорогая, я не понимаю тебя. Что с тобой? С какой целью ты это выдумываешь: я в последний раз разговаривал с Линдой месяц назад!

За ужином мы обменялись несколькими ничего не значащими фразами, Мартин вдруг оживился, раздурманился – от горячего чая, что ли? – принялся сыпать своими любимыми, на протяжении многих лет отточенными шуточками и снисходительно задирать нас. Ни я, ни дети не разделили его внезапной веселости.

– Вы снобы, – провозгласил он. – Вы все снобы!

Я уложила детей спать и ушла в свою комнату. Он остался сидеть перед телевизором.

Забыться и уснуть не удавалось. Перед закрытыми глазами мелькали обрывки каких-то грязных, мучительных сцен, припоминались, то неясно, то резко, неприятные злобные лица, лезли в голову мотивы мерзких советских песен. Наконец я не выдержала, встала и направилась на кухню, чтобы разогреть себе молока с медом – как известно, этот напиток обладает успокаивающими свойствами.

Мартин по-прежнему сидел в кресле перед телевизором, глаза его были полуприкрыты, рот широко распахнут, из горла вырывался не то храп, не то хрип. Я тронула его за плечо, он не отреагировал, но голова скатилась на сторону и хрип сделался более натужным и прерывистым. Я бросилась к телефону и вызвала амбуланс.

Прибывший совсем еще молоденький врач возмутился, почему я вызвала обычную машину, а не реанимационную.

– Вызовите то, что считаете нужным, – подсказала я и набрала номер Эндрю.

После пяти или шести гудков откликнулась наконец сонная Агнес, пробурчала сипло, что в данную минуту Эндрю не может подойти к телефону, но сейчас же выезжает к нам. Врач сделал Мартину какой-то укол и потребовал, чтобы я показала ему лекарства, которыми пользуется мой муж. Я пошла в спальню и вытащила из тумбочки объемистую картонную коробку, битком набитую какими-то таблетками и капсулами.

– И все это он принимал? – воскликнул целитель, порывшись в снадобьях.

– Не знаю. Откуда я могу знать?

– Как это вы не можете знать? Как вы могли допустить такое! – вознегодовал он.

– Странно, – сказала я, – вы рассуждаете так, как будто речь идет об умственно неполноценном. Каким это образом я могла что-то допустить или не допустить? Он взрослый человек и поступал так, как считал нужным.

– Да, разумеется, – буркнул врач. – Взрослый! Слишком даже взрослый. Судя по этим запасам, прикладывал немалые усилия к тому, чтобы сделаться помоложе.

“Доживите, уважаемый доктор, до его лет, а после судите, – хотелось мне одернуть нахала, – в ваши годы легко посмеиваться над старичками”. Но я только вздохнула и благоразумно промолчала.

Минут через пять прибыла реанимационная команда, Мартина уложили на каталку и принялись колдовать над ним. Хрип то стихал на несколько секунд, то вновь возобновлялся. Я радовалась, когда он возобновлялся. Потом мне объявили, в какую больницу его увозят, и поволокли каталку к дверям. Мне надлежало ждать Эндрю. Как только он появился, мы вместе отправились в больницу.

– Дети остаются одни, – сказала я тоскливо.

– Ничего, – успокоил он на ходу. – Ничего не случится. Мы с Миной постоянно оставались одни.

С этой ночи началось мое почти круглосуточное пребывание возле больничной койки. Фру Юнсон, золотое сердце, взяла под свою опеку детей. Возможно, я была не права, но я не позволяла им навещать отца. Я не хотела, чтобы он запечатлелся в их памяти таким – несчастным, разбитым, беспомощным, опутанным проводами и шлангами, с распахнутым беззубым ртом и остановившимся бессмысленным взглядом. Как же это нечестно, неправильно – превратить такого великолепного мужчину в жалкую, убогую развалину. Судьбе недостает элементарного хорошего вкуса...

Врачи упоминали закупорку какой-то артерии и произносили многие умные слова, из которых мне удалось уловить лишь “медикаментозная интоксикация” и “цианоз”, попеременно взвешивали предпочтительность то активного вмешательства, то терпеливого ожидания естественной очистки организма от переполнивших его ядов, уповали на вероятное самовосстановление жизненно важных систем и улучшение состояния, но это улучшение если и происходило, то очень медленно и вяло.

Смешно было бы отрицать мою вину. Я обязана была хоть что-то заметить, обратить внимание на все эти странности, начиная с необъяснимого эпизода на катке, когда болезненно честный и принципиальный Мартин так легко и небрежно простил своему бывшему приятелю, бесстыжему Стольсиусу, оказавшемуся гадким, недостойным мошенником, все его возмутительные подлости (так и оставшиеся, кстати, мне неизвестными). А чего стоит неумная нежная опека юной леди, малышки Линды, да, в общем-то, и вся неожиданная дружба с Юнсонами? А внезапные приступы обидчивости и раздражительности? И многое другое. А я не желала вникать, небрежно отмахивалась, взирала свысока и издали, на все смотрела сквозь пальцы. Приписывала внезапную забывчивость и слезливость возрасту и старалась не видеть тревожных знаков...

Вскоре к моим бдениям присоединилась фру Брандберг, прикатила откуда-то высокое инвалидное кресло, величественно взгромоздилась на него и замерла вместе со своей великолепной прической, упершись недвижимым взглядом не то в Мартина, не то в какую-то таинственную точку в пространстве. Годы идут, а прическа не меняется. Поначалу я думала, что ее присутствие позволит мне время от времени отлучаться

домой, хоть немного приглядывать за детьми и за хозяйством, но вскоре убедилась, что это была напрасная надежда. Она регулярно, будто на службу, являлась утром и сидела до вечера, но совершенно отрешенная от всего окружающего, застывала безмолвно с остановившимся взглядом и приоткрытым ртом и составляла вполне достойную пару для Мартина в его нынешнем положении, только что не хрипела при дыхании. Медперсонал не обращал на нее никакого внимания.

Каждый день после обеда, примерно в одно и то же время, возникал Эндрю, беседовал с врачами – подробно и дотошно выспрашивал о результатах анализов и обследований, но, получив все необходимые разъяснения, тут же удалялся.

Однажды появилась и Агнес, обвела палату брезгливым взглядом и без всякого стеснения кивнула в сторону фру Брандберг:

– А она что тут делает? Отдыхает от домашних неприятностей?

Я промолчала.

– Так что ты собираешься предпринять? – поинтересовалась моя невестушка.

– В каком смысле – предпринять?

– То есть как – в каком? – хмыкнула она. – Надеюсь, тебе известно, что к первому января вам предстоит освободить квартиру.

– Освободить квартиру? Зачем? С какой стати?..

– Замечательно! – возликовала она. – Ты что, действительно ничего не знаешь? Не знаешь, что квартира заложена и перезаложена? Неужели он посмел не поставить тебя в известность?!

Из ее рассказа складывалась следующая картина: год назад господин Стольсиус, на правах давнего приятеля, втянул Мартина в какую-то авантюру, соблазнив перспективой крупной и верной прибыли. Деньги на первоначальные затраты были добыты в банке под залог нашей квартиры. Разумеется, и это предприятие окончилось точно так же, как все предыдущие затеи моего дорогого мужа, – полным крахом. Сославшись на разные неучтенные неблагоприятные обстоятельства, Стольсиус категорически отказался возместить свою часть убытков, поэтому Мартину не оставалось ничего иного, как взять еще одну банковскую ссуду – под гораздо более убийственные проценты. Расчет его был верен: он приобрел биржевые акции, в тот период стремительно возраставшие в цене. Через два-три месяца стоимость их должна была составить такую значительную сумму, что этих денег хватило бы и на выкуп квартиры, и на погашение долга. Разумеется, не прошло и трех дней, как биржа упала, рухнула, разразились кризис, глад, мор и всемирный потоп, и акции утратили более

половины своей стоимости. Чтобы хоть как-то еще продержаться на плаву, Мартин перезаложил квартиру на совершенно уже безумных условиях. Теперь же, когда все опции оказались вычерпаны до дна, а сам удачливый предприниматель благополучно переместился под больничные своды, мне надлежало в месячный срок освободить помещение да еще остаться с солидным долгом на шее. Поведение Мартина Агнес не удивляло, она, оказывается, давно его раскусила, удивляло ее только одно: как я могла целый год ничего не замечать и ни о чем не догадываться?

Что ж, подумала я, это еще раз доказывает, что мы оказались великолепной парой: муж, готовый без оглядки ринуться в любую западню, любую медвежью яму, и безгранично доверяющая ему, во всем на него полагающаяся жена, беспечно и легкомысленно плывущая по житейскому морю вместе с четырьмя детьми. Ведущая душеспасительные беседы с такой же не от мира сего приятельницей – беспомощной и бессильной опекушкой всех страждущих российских борцов; зачитывающаяся в городской библиотеке записками заокеанского сумасшедшего – американского друга Пятиведерникова; посещающая, то во сне, то наяву, отделения Красного Креста и бегающая на свидания с представителями советских разведывательных органов. Что и говорить – достойны друг друга...

Но посуди, милая, что, например, было вчера со мною: отправив тебе письма с просьбой выслать деньги, я пошел в игорную залу. Верить ли: я проиграл вчера все, все до последней копейки.

Ах, какие подлые эти немцы!

Пришли же мне немедленно, сейчас как получишь это письмо, двадцать (20) империалов. Немедленно, в тот же день, в ту же минуту, если возможно. Не теряй ни капли времени.

Если ты успеешь послать в тот же день, то есть сегодня же (в среду), то я получу завтра, в четверг. Если же пойдет в четверг, я получу в пятницу.

Спешу на почту: может быть, ты уже успела выслать деньги, и я их сегодня и получу.

И обделай это все сама, одна, хозяйке не говори, то есть не советуйся.

Ну, на этот счет можно не беспокоиться... Чтобы Мартин когда-нибудь с кем-то посоветовался – нет, такого не было и не предвидится. Гордость не позволит. Но, конечно, и страх, что схватят за руки и как-нибудь, не приведи Господь, удержат от совершения очередной непоправимой глупости.

Две бездны, две бездны, господа, – в один и тот же момент...

Верить ли: я проиграл вчера все, все до последней копейки, до последнего гульдена. Не дав себе отдохнуть и опомниться, бросился на рулетку, начал ставить золото и все, все проиграл, до последней копейки, то есть осталось всего только два гульдена на табак.

Дикое положение, решительно... Что делать... Ах, какие подлые!..

Да, Стольсиусы подлые, карты меченые, и исход всех этих начинаний известен наперед. А тем не менее действие упрямо разворачивается по заранее, раз и навсегда, заданной схеме.

Родная моя, родная моя... Как ужасна эта страсть, как беспредельно это безумие...

Ангел мой, повторяю тебе, что я не укоряю тебя.

Нет – чего нет, того нет: укорять в своих проигрышах жену мой Мартин даже и в мыслях не держит. Простой человек, без таинственных российских вывертов.

Прощай, Аня, прощай, радость моя, будь весела и счастлива...

А Гоголя, Федор Михайлович, позвольте вам заметить, все-таки неудачно вы передразниваете, нескладно и неудачно – в шуточно-описательном роде, ей-богу, нескладно. Пародия должна быть дерзкой, хлесткой, этот жанр для того и существует, чтобы выявить слабости оригинала, неловкость и незадачливость автора, а у вас что же? В том же стиле и тем же слогом, да только слабее и вовсе не шуточно и не смешно. Даже неловко, неприятно как-то читать. Закрадывается глупая мысль, что вы ему, Николаю Васильевичу, позавидовали – что он-де умеет так: спроста, без затей и с таким лукавством, а вы в этом плане вышли слегка неуклюжи. Оттого и обиделись. Рассердились, что не на все литературные вкусы можете выступить настоящим властелином. Что же делать, надо и другим что-то оставить. Вам одному всей ноши и не поднять.

Знаете, сегодня целое учение выстроилось – про Другого. “Безнравственность есть сдвиг внимания от Другого к себе”. Узнаете? Другой господин Голядкин находился, по-видимому, в превосходном расположении духа. В руках его был последний кусок десятого расстегая, который он в глазах господина Голядкина отправил в рот, чмокнув от удовольствия.

Но где ж тут другой? Где сдвиг и где безнравственность? В сущности, совершенно такой же самый, только слегка вывернутый наизнанку, рукавами наружу, милый и трогательный, любезный нам господин Голядкин... Ну, немножко обжора, ну, жаден капельку, не упустит случая воспользоваться открывающимися возможностями, слегка поживиться на

счет ближнего, ну так что ж такого?

– Что ты молчишь? – вопрошает Агнес. Ей не терпится услышать, что я намерена предпринять.

– Ничего, как-нибудь утрясется, – произношу я, обретая вдруг в эту стеснительную минуту мужество необыкновенное – несокрушимую стойкость перед лицом всех бедствий. – Прежде не померли, и теперь, бог даст, справимся.

– Ты ненормальная! Вы оба не в своем уме, – заключает она и, немного поразмыслив, кивает в сторону Мартина: – То есть его уже практически не существует. Так что хочешь не хочешь – тебе придется расхлебывать эту кашу самой.

– Ну, на улицу небось не выкинут. Я что-то не видела, чтобы в этой стране мать с тремя детьми и мужем-инвалидом выкидывали на улицу.

– Ты собираешься жить в двухкомнатной квартирке в районе для бедноты? – произносит она язвительно. – Среди всякого социального отребья? Иностранных рабочих, алкоголиков и выпущенных на волю преступников? Чтобы твои дети...

Я могла бы поведать ей, среди каких алкоголиков и люмпенов прошло мое детство, но боюсь, она не поймет. Не сумеет оценить. Ей ведь не случалось заглядывать на наше дно. Она даже отдаленного представления не имеет о том, что такое питерский заводской район и коммунальная квартира на двенадцать комнаток. Да и скучно мне как-то становится обсуждать с ней это.

– Ничего, – замечаю я с некоторым злорадством, – Эндрю, я уверена, не допустит, чтобы его братьев затолкали в район бедноты и вынудили жить среди такого ужасного сброда.

– Братьев?.. – повторяет она в недоумении, но потом преодолевает свою тупость и прослеживает мысленно семейные связи. И взрывается негодованием: – Ах, вот на что ты рассчитываешь! Не жди и не надейся! Я не допущу, чтобы мои девочки пострадали из-за фокусов старого идиота.

– А между прочим, – напоминаю я, – этот старый идиот является владельцем издательства.

– Я докажу, что он невменяемый! Что, кроме убытков, он этому издательству не принес ничего!.. – Поперхнулась собственным возмущением, бросила на меня испепеляющий взгляд. Если б могла, так, наверно, и пришибла бы на месте. – И если Эндрю вздумает покрывать его долги...

– Что тогда? – интересуюсь я.

Она не желает продолжать. Вскрикивает и выносятся из палаты. Пытается даже хлопнуть дверью, но современные больничные двери устроены так, чтобы легко и беззвучно распахиваться в обе стороны. Поэтому гнев Агнес заставляет их только слегка покачаться на идеально гладких, лишенных привычного трения осях.

Фру Брандберг, неотлучно присутствовавшая при нашем продолжительном разговоре, хранит несокрушимый нейтралитет: за все время не шелохнулась и не изменила ни позы, ни выражения лица.

Не буду паниковать раньше времени и огорчаться из-за того, что должно свершиться еще не скоро – почти через целый месяц. Месяц – немалый срок, всякое может произойти... В конце концов, меня никто ни о чем не предупреждал, в известность не ставил и подписки о выезде – или невыезде – не требовал. Я живу своей жизнью и ничего не знаю – точно так же, как не знала полтора часа назад. Буду думать только о хорошем. Мартину сегодня получше. Врач тоже подтвердил, что наметились сдвиги к лучшему. Когда я умывала его утром, у него дрогнули веки. Он, кажется, даже услышал, что я говорю. Не исключено, что он и теперь слышал все мерзости, произнесенные Агнес. Это было бы крайне нежелательно. Совсем некстати. Дурные вести могут разволновать и огорчить его, затормозить процесс выздоровления.

Агнес – подлая дура. А между прочим, больше всего ее бесит, что я младше ее. Никак, видите ли, не может запомнить, сколько мне лет. “Как, разве тебе нет пятидесяти?..” Нет, Агнес, милая, мне нет пятидесяти, мне не скоро еще будет пятьдесят, а тебе, дорогая, вот-вот. Я понимаю, обидно: ты ведь жена сына, а я – отца. И все-таки ты старше меня и останешься старше, покуда не помрешь!.. Ни за что не позволю тебе и твоим девочкам воспользоваться нашей долей в издательстве. Мартин его создал, плохо ли, хорошо, столько лет поддерживал и никому не обязан уступать своих прав. Если хочешь знать, мои мальчишки Мартину родные сыновья, а твои девочки – всего лишь внучки. Вот так-то, накоси выкуси! Ты живешь, невестушка, в опасном заблуждении, будто тебе выписана охранный грамота, будто ты на веки вечные застрахована и от района бедноты, и от прочих мерзостей. А это, голубушка, не так, никто не застрахован...

Мысли о неотвратимо и, может, даже в эту самую минуту надвигающихся на Агнес разочарованиях смягчают удар от горького известия и слегка утешают. Я пересаживаюсь поближе к Мартину и принимаюсь гладить его неподвижную, но все-таки теплую руку.

– Не обращай на нее внимания. Не сдавайся, мой витязь,

выздоровлявай, все будет хорошо. Все еще будет хорошо... А Юханна подождет. Подождет еще немножко: лет десять-пятнадцать. Пока у нас все наладится. И дети подрастут. Что такое какие-то десять-пятнадцать лет против вечности? Она славная женщина, Юханна, и очень терпеливая. Она ведь знает, что в конечном счете ты придешь к ней и вы опять будете вместе и счастливы. Ну, капельку поспорите, кому ехать в город сегодня, а кому – завтра, а потом помиритесь. Меня ты, скорее всего, там и не вспомнишь. А если вспомнишь, то только как смутную, неясную тень. Немного обидно, но что делать – все права на ее стороне, как бы я ни старалась, мне не удастся смутить вашу великую любовь. Вечную и незыблемую, крепкую, как скала, любовь. И еще более незыблемую добропорядочность.

А может, в один особенно грустный декабрьский денек ты все-таки почувствуешь вдруг мое присутствие и вздохнешь. Скажешь: зачем мне жить, если ее нет здесь, рядом? А Юханна не пожелает снести влечение супруга к чужой черноволосой женщине и скажет: если так, иди к ней, я достаточно горда, чтобы не стоять на твоём пути. Если ты любишь меня не всем сердцем и не всей душой – пожалуйста, иди к ней. Можешь даже по дороге заглянуть к фру Брандберг. Хотя нет, уж что-что, а наше супружество она тебе простит. То есть не простит даже, а просто не заметит. Не различит меня, не придаст значения. Смерть – это бесконечный счастливый сон, не правда ли?

Плохо, что я не сразу отметила эту странность: одновременное свое пребывание в двух параллельных мирах. Не знаю, сумею ли я объяснить. Представьте себе, что вы стоите перед широкой стеклянной витриной и наблюдаете происходящее внутри здания: люди ходят по комнате, разговаривают о чем-то, совершают какие-то действия, зеркало на стене усиливает свет торшера, открываются и закрываются двери в соседние помещения. Но одновременно вы видите, как по поверхности той же витрины проплывают отражения уличных событий: и здесь тоже жизнь – передвигаются люди, проплывают автомобили, мигают светофоры, дети играют в классики, кто-то подзывает собаку. Во всем этом нет ничего ужасного до тех пор, пока вы способны различить, какие картины принадлежат улице, а какие – пространству за стеклом. Но в тот момент, когда предметы и люди с обеих сторон начинают путаться, меняться местами, расслаиваться или, наоборот, слипаться друг с другом, складываться в каких-то невозможных монстров, когда автомобили, визжа тормозами, с яростью налетают на мебель, сбивают и давят сидящих в креслах, вам становится жутко, хочется завопить от боли и отвращения, зажмуриться, не видеть и не слышать этого безобразного светопредставления, бежать, бежать...

Возможно, если бы я с самого начала осознала опасность, можно было бы еще как-нибудь призвать действительность к порядку, восстановить границы и пределы реальности... Но я ничего не почувствовала и не заподозрила.

Нет сомнения: я сидела в больничной палате возле Мартина, но в то же самое время...

В то же самое время я пребывала на своем обычном рабочем месте в нашем ленинградском издательстве. На столе передо мной лежало что-то вроде плаката – большой лист плотной белой бумаги, в центре которого был отпечатан какой-то текст, скорее всего – детское стихотворение, обрамленное яркими цветными рисунками, из которых больше всего мне понравился крупный красный птенец, очевидно снегиренок, нахохленный и смешной. Я силилась разобрать текст, но меня беспрерывно отвлекали. Наталья Степановна, которая после Люсиной смерти заняла ее место за столом напротив, рассказывала про свою невестку – как та, дуреха, купила новую сумочку и тут же на радостях, растяпа эдакая, прямо в магазине, в

толпе, принялась переключать содержимое старой сумки в новую и, разумеется, в толчее и давке у нее украли кошелек. А возможно, она этот кошелек сама обронила, а ловкий человек тут же подцепил. Во всяком случае, когда она хватилась, кошелек со всей почти зарплатой, то есть с пятьюдесятью рублями, уже не было. Я высказалась в том плане, что недопустимо хлопать ушами, жулье так и вьется в ожидании таких вот восторженных легкомысленных гражданочек, но в то же время...

В то же время в палату вошла сестра, проверила показания приборов и сообщила, что через несколько минут Мартина повезут на вечерние процедуры.

Одновременно в палату заглянул Андрюша Аникин, из архивного отдела, увидел, что начальство все разбежалось, и решил поболтать с нами, поделиться своими очередными обидами на почве женского коварства, – поведал, как познакомился на днях с одной, такая вроде приличная девушка, а все-таки обманула и не пришла на свидание, а он, как дурак, почти целый час ждал. Фру Брандберг, по своему обыкновению, промолчала, не шевельнулась и даже не слотнула, а Наталья Степановна вступилась за женскую честь: “Что уж ты сразу так обрушился? А может, случилось что? Вон, говорят, авария в метро была, два часа поезда стояли...”

Тут медсестра явилась за Мартином, я поднялась, чтобы помочь ей выкатить кровать из палаты, мы вышли в коридор, Наталья Степановна и Аникин семенили рядом, Наталья Степановна даже порывалась тащить стойку для инфузии. В какой-то момент я вдруг изумилась их присутствию, замерла на месте, встряхнула головой, и они исчезли. Вместе с симпатичным снегиренком.

– Что же это такое? – пробормотала я. – Сон наяву? Бред?..

Но на самом деле еще не испугалась и не огорчилась – восприняла все как нечто хоть и странное, но не заслуживающее особого внимания. Не ведала еще, что меня ожидает дальше.

Медсестра отлучилась на минуту в соседнюю палату, я стояла посреди стерильного гладко-серого больничного коридора и дожидалась ее возвращения. Мне показалось, что Мартин с некоторым интересом наблюдает за мной одним глазом – второй был заведен на сторону и вверх.

Двери в залу растворились с шумом, и на пороге показался человек. Показался совсем не старый, можно даже сказать, молодой интеллигентный человек, выполненный по моде конца шестидесятых – в светлой окладистой бороде и толстом деревенском свитере. Вылитый Хемингуэй.

В Америке, я думаю, никогда не мельтешило столько двойников Хемингуэя, сколько их вдруг развелось в России. В России они так и множились, так и множились!.. Копия Хемингуэя уселась в такое же точно инвалидное кресло, в каком уже несколько суток пребывала фру Брандберг. Нас разделял низенький журнальный столик.

– Видели? – спросил молодой человек и придвинул ко мне малогабаритный черно-серый томик.

– Нет...

– Вчера из типографии. К сожалению, не могу подарить, но полистайте. Правда, это еще не окончательный вариант – в некотором смысле черновик...

Я раскрыла упакованную в кожимитный переплет книжицу. “Яков Петрович, мне совестно смотреть на вас, Яков Петрович, вы не поверите... Дайте мне это письмо, чтобы разорвать его в ваших же глазах, Яков Петрович, или если уж этого никак невозможно, то умоляю вас читать его наоборот...”

– Какой же это черновик? – удивилась я. – Это не черновик. Это классика. Одно из самых известных произведений русской литературы.

– Черновик, – упорствовал он, – черновик, потому что все еще можно исправить и дополнить. Переписать набело. Прочитать наоборот, отменить и усовершенствовать. Зачем, объясните мне, зачем вы погрузились во всю эту дребедень: коммунальная квартира, двадцатисвечовая лампочка!

– Что же делать? Это мое прошлое.

– Так покиньте ваше мерзкое прошлое, забудьте, не цепляйтесь за него! Что с вами? Вы совсем неплохо начинали – втачали в полотно своей жизни Иерусалим и Париж, Берлин и Рим...

– Нет, Рим я не втачала, я никогда там не была.

– Вы упоминали Рим.

– В связи с Пятиведерниковым. Пятиведерников погибал в Риме. А Паулина спасла его. Так ей казалось – что спасла...

– Между прочим, эта ваша Паулина тоже порядочное недоразумение. Паулина, Пятиведерников!.. Что вы в них нашли? Нету более интересных и достойных людей? Жизнь дается один только раз, и прочесть ее надо так... Надо прочесть ее так... Помилуйте, что же это? Забываю основные тезисы... Преждевременный склероз... Не важно! Детали не важны, главное – прочесть надо так, чтобы было хорошо, приятно, весело и ни в коем случае не было мучительно больно. Встаньте, приподнимитесь на минутку, встаньте, прошу вас! – потребовал он неожиданно.

Я удивилась такой настойчивости, но все-таки встала.

– Я вам продемонстрирую на примере вашего платья, – объявил фальшивый Хемингуэй солидно.

– Моего платья? Но это вообще не мое платье – я видела его на Эвелине, сотруднице советского посольства. Как, каким образом оно оказалось на мне?!

– Какая вам разница – как да почему! – фыркнул он. – Обратите внимание: такая юбка называется шестиклинка. Действительно, ее удобно шить из лоскута ввиду незначительного размера каждого клина. Но ведь можно отойти, отказаться от этого убожества, разнообразить, облагородить! Да, разумеется, все мы жертвы обстоятельств, но мы же и истинные закройщицы собственной судьбы! – Он обернулся к двери, которую вчера еще я принимала за широкое зеркало, призывно махнул рукой, и из стенки выпорхнули три юные девицы. У каждой в руках был отрез сияющей воздушной ткани.

– Добавляем еще три клина, – прокомментировала происходящее копия Хемингуэя, – и получаем девятиклинку! Переворот, революция! Ваше платье преобразилось, украсилось, обогатилось новыми возможностями...

– Это не мое платье, у меня никогда не было такого.

– Не перебивайте меня! – воскликнул он раздраженно. – Я могу потерять нить... О чем мы говорили? Вот так всегда! Что за манера – уводить разговор в сторону! Ах да – обогатилось новыми оттенками. Не изменив при этом ни своего назначения, ни объема вашей талии. Мы лишь расширили горизонты. Вставили несколько дополнительных секторов. Вы ведь знаете, что такое сектор?

– Конечно. Западный сектор Берлина.

– Хорошо, пусть будет Берлин – тройственная ось: Рим – Берлин – Токио. Три клина. Но к черту политику! С тех пор как между политиками заключен пакт о ненападении, то есть о взаимной неприкосновенности враждующих соперников, эта область потеряла для обозревателя всякую привлекательность. Ни острого сюжета, ни сложных коллизий, ни неожиданных развязок. А ваша матушка, если я не ошибаюсь, была математиком?

– Математичкой. Она преподавала в техникуме.

– Ага, вот видите – преподавала в техникуме, образованная женщина. И она наверняка объяснила вам, что вселенная безгранична. Хотя и конечна. По вселенной можно передвигаться в любом направлении, безостановочно. Безгранично искать и находить! Так почему же вы откнулись в самые серые и непривлекательные будни нашей отечественной

истории, пусть недавней, но тем не менее уже минувшей? Эта книга обязана выглядеть по-другому.

– Эта книга не имеет ко мне никакого отношения.

– Ну, тут-то вы определенно ошибаетесь!

Он расплылся в торжествующей, но одновременно и снисходительной улыбке и потряс у меня перед носом черно-серой книжицей. Небрежно, однако же чрезвычайно ловко швырнул ее на журнальный столик таким образом, что она распахнулась на нужной странице. Я увидела знакомые фотографии – портреты спортсменов, развешанные по стенам в комнате Ананьевых.

– Надеюсь, теперь вы признаете, что это ваше платье. От вас, и только от вас, зависит, что за сцены и что за картины будут украшать эти страницы! Петербург, милочка, – это не только блокада и лопнувшие трубы, не только товарищ Киров и товарищ Сталин, это в первую очередь великолепные дворцы, канделябры, роскошные кареты, рождественские балы!

– Товарищ Киров и товарищ Сталин – это не Петербург, это Ленинград, – уточнила я. – А в рождественские балы я не могу уткнуться, поскольку в моем прошлом их нет.

– Что значит – нет? Хорошенькая женщина должна стремиться к прекрасному. Кружиться в вальсе, порхать, парить, скользить... Представьте себе – высокие залы, потолки, расписанные известными мастерами, венецианские зеркала, великолепные окна, отблески свечей, гобелены, фрески, ангелочки в медальонах, а главное – вы – вы – божественной ножкой по навощенному паркету!..

– Паркетом у нас топили буржуйку, – попыталась я втолковать этому заносчивому вралю. – Топили буржуйку, чтобы сварить младенцу кашу и просушить пеленки. И чтобы был кипяток. Для голодающих это очень важно – глотнуть кипятку, поддержать температуру тела. Так что от паркета почти ничего не осталось, понимаете – по нему невозможно скользить, он выщерблен, как сосновая шишка, изгрызенная крысами.

– Чем-чем выщерблен?.. – поморщился он.

– Крысами! Вам что, никогда не приходилось видеть сосновой шишки, изгрызенной крысами?

– Это где же вам посчастливилось такое наблюдать? В блокадном Ленинграде?

– Нет, представьте себе – в святом Иерусалиме. Крысы – чрезвычайно смышленные и ловкие животные. В Иерусалиме они приспособились жить на соснах – вместо белок. И питаться шишками.

– Экая мерзость! Как вы позволяете такой гадости застревать в своем сознании! Нет, я вижу, вы безнадежны... Крысы! Что за пакость! Я потратил на вас уйму времени, подарил вам три клина, три сектора, тройственный союз, сотворил для вас дивный сверкающий наряд, а вы... Вы бесстыжи, нахальны, самонадеянны, упрямы, готовы все освистать и охаять, загубили все мои начинания, все изгадили, – запричитал он, стаскивая с носа темные очки и утирая ладонью набежавшие слезы. – Низкая, подлая натура! Следовало догадаться. Уж если вы избрали себе в проводники господина Якова Петровича-старшего...

Темные очки – у Хемингуэя? Откуда он взялся, поганец эдакий? А ну кыш отсюда! Я тебе покажу – подлая натура! Распустил язык, подражатель бесстыжий. Самому цена две копейки в базарный день, а туда же: напялил свитер и бороденку – и глаголет, поучает!

Он исчез, я огляделась вокруг и ясно различила все ту же тихую, унылую палату. И вот тут-то мне сделалось по-настоящему страшно. Что же это со мной творится? Откуда это берется?

Пытаясь преодолеть наваждение, я встала и вышла в коридор. Медсестры сидели за длинной стойкой, одна разговаривала по телефону, две другие заносили какие-то данные в личные карточки пациентов. Я решила поговорить с ними, услышать нормальные человеческие голоса, задать какой-нибудь вопрос, но не успела – мое сознание опять сместилось куда-то в сторону.

– Чему вы удивляетесь? – сказал Пятиведерников, отхлебывая пиво из вместительной кружки. – Самый распространенный тип подсоветского интеллигента – ракушка-прилипала: оглянется по сторонам и найдет, к чему прилипнуть! Хоть к Пушкину, хоть к Бердяеву, хоть к Киплингу.

Это кто же тут рассуждает – про ракушку-прилипалу? – подумала я. Пятиведерников? Ну и ну!

– Да, прилипнет, натянет на свою мерзкую рожу маску какого-нибудь умника, пророка, гения, встанет на котурны, будет изображать наставника и педагога! Страдателя за гибнущее общество. Полезные советы давать – неразумным меньшим братьям... По жизни и по литературе.

Но я уже была начеку и не собиралась позволить этому потоку завладеть собой окончательно. Я встряхнулась и избавилась от самозванца – совершенно не похожего на себя Пятиведерникова.

К сожалению, ненадолго.

– А вам не приходилось... – прошипел он угрожающе и двинулся на меня столь решительно, словно собирался вдавить в стерильную

больничную стену. Наши лица сблизилась настолько, что я различила в глазах у него, на радужной оболочке, крупные белесые пятна. – Не приходилось... хоть разочек... быть, например, вбитой в карцер – метр на метр? – Кружка плясала у него в руке, пиво выплескивалось на пол и на несвежую рубашку. – Четверо суток – без воздуха, без света – не случалось?!

– Не случилось, – призналась я честно, пытаюсь ускользнуть как-нибудь в сторону, под спасительное крыло медсестричек, и не стала уточнять, что кроется за выражением “быть вбитой” и где именно находился упомянутый карцер. – Сочувствую.

В самом деле душа моя подлинно скорбела о его страдании.

Девушка, пришедшая вручить нам то ли счет, то ли выписку из истории болезни, заметила пивную лужицу на стойке, отошла и вернулась с тряпкой. Мы оба умолкли и терпеливо наблюдали, как она неспешно и деловито водит голубенькой тряпкой по серенькому мрамору.

Оторвав наконец взгляд от влажной плоскости и от кружащей по ней тряпки, я увидела, как Пятиведерников бледнеет, синееет, как спазма сжимает его горло и не позволяет втянуть в легкие воздух.

Выяснилось, однако, что это не Пятиведерников, это Мартину плохо – это он хрипит, задыхается, приборы бьют тревогу. Я бросилась к дверям – призвать сестру, врачей.

Фру Брандберг тоже неожиданно вынырнула из своего транса, захлопнула рот, распрямилась и стала с участием наблюдать за действиями врачей. Не желая более рисковать, те постановили подключить искусственное дыхание.

Фру Брандберг обернулась ко мне и спросила:

– У вас осталась в России семья?

– Да, – призналась я. – Большая семья – где-то в белорусских болотах. Бабушка, дедушка, тетки, дядя, двоюродные сестрички, братья... И все они были абсолютно здоровы, не нуждались ни в какой медицинской помощи...

– О!.. – простонала она понимающе и принялась качать головой – монотонно, безостановочно, как китайский болванчик. – Примите мои сожаления...

– И еще одна бабушка, где-то в деревне, на севере, – прибавила я, воспользовавшись ее вниманием. – Я, правда, ни разу не была там. И Люба... Большая семья...

Состояние Мартина стабилизировалось, и мы снова оказались в палате

втроем – он, я и фру Брандберг.

Но и Пятиведерников, не теряя драгоценного времени, вновь выпростался из зеркальной поверхности одного из прилежно жужжащих приборов.

– Вы осуждаете меня, – произнес он мрачно. – Не отпирайтесь, я вижу, что осуждаете. – И вдруг взвизгнул: – Вам наплевать, что это мой единственный шанс!

– Наплевать, – согласилась я. – Уйдите, исчезните, оставьте меня! Чего вы от меня хотите? Я ничего не знаю и не желаю знать, устраивайте свою жизнь сами.

– Я уже устроил, – скривился он.

Что же это? Что же это такое! Я погибаю... Мне больно, невыносимо! Тяжко и страшно. Кто-то злобный, чужой, какой-то вражеский лазутчик забрался ко мне в голову, сидит там, крутится – подлое инородное тело, наглый раздувшийся еж, серый дерюжный мешок, набитый шипами и терниями, толкается, пихается, прожигает насквозь своими ядовитыми иглами, пытается разодрать, располовинить мое сознание. Никогда в жизни мне не было так плохо – даже в те дни, когда меня собирались выкинуть из нашей комнаты. Вскочить, закричать, завывать: помогите мне, помогите! Но к кому, к кому я могу обратиться свой вопль? К фру Брандберг, к дежурной сестре, к Агнес?

Мы то и дело сетуем на одиночество, на отсутствие подлинного внимания и понимания, абсолютно не сознавая, что это такое на самом деле – настоящее безграничное одиночество. Одиночество – это не тогда, когда никто не позвонил и не пришел, это когда в целом свете нет человека, которому можно было бы открыть свою невероятную тайну: мое сознание предает меня. Мое сознание подсовывает мне незваных гостей, которые ни при каких обстоятельствах не могут находиться в этой палате, в этой больнице, складывает фразы, которых никто не произносил.

Я должна уйти, я не могу больше оставаться здесь. Вся эта обстановка погружает в отчаяние, притягивает безумие.

Я спустилась в вестибюль и позвонила Эндрю. Сообщила, что у Мартина случился припадок удушья, но тем не менее я вынуждена теперь уйти. Нет, ничего страшного, но у меня невыносимо разболелась голова. Да, наверно, переутомление. Боюсь, что и завтра я не смогу быть в больнице. Эндрю, ты должен что-то придумать, нанять сиделку. Хорошо, мы еще поговорим об этом. Но имей в виду, что завтрашний день на тебе.

Нельзя затягивать разговор, я могу снова отчалить к иным берегам и сболтнуть что-нибудь несуразное. Это будет ужасно – если он догадается,

что со мной. Агнес тотчас объявит нас обоих неменяемыми и недееспособными – и Мартина, и меня. Нет, я обязана держаться. Приложить все усилия к тому, чтобы говорить разумно и связно, не допускать никакого разлада в словах и мыслях в присутствии посторонних. Чего бы это ни стоило. Ни в коем случае не доставить Агнес такой радости – упечь меня в желтый дом.

Домой, домой, дома и стены лечат. Вопрос только, сумею ли я в таком состоянии вести машину. Ничего, поеду не торопясь, на самой малой скорости. Выйду на свежий воздух, станет лучше. Вдох – выдох... Да нет, все хорошо, все нормально. Мы едем, едем, едем в далекие края... Вот уже и мост. Бесконечно длинный мост через плоский осенний залив. Унылое чудо современной техники. Видимо, какой-то закон сужения и расширения материалов требует, чтобы центральная часть сооружения – метров сорок – была деревянной. Поверх поперечных досок настелены продольные пупырчатые стальные полосы, от соприкосновения с которыми шины издадут глухое надрывное рыдание. Будто трубит крупное смертельно раненное животное. Непредвиденный побочный эффект, удручающий звук, от которого и в нормальном-то состоянии мне всякий раз делается не по себе, а сегодня особенно.

А может, это самый прекрасный выход? Одна секунда – сорваться, перелететь через перила и кануть в воды залива. Все равно рано или поздно... Может, это и есть самый подходящий момент? Надеюсь, здесь достаточно глубоко, чтобы быстро пойти на дно и раз и навсегда погасить все тревоги и печали. И достаточно мелко, чтобы машину обнаружили. Это разрешит все проблемы. Мартин получит страховку и сможет выкупить квартиру. Дети, во всяком случае, что-нибудь получат.

Однако нельзя слишком увлекаться радужными перспективами. Страховка – это хорошо, но ради тех же детей нужно все-таки попытаться благополучно добраться до дому. Постараюсь сконцентрировать внимание исключительно на этой задаче и не растекаться мыслью ни по дереву, ни по железу...

В конечном счете мне удастся без всяких происшествий и неожиданностей преодолеть знакомый маршрут и даже поставить машину на ее законное место в гараже. Я поднимаюсь в свою – все еще свою – квартиру, беседую с отвыкшими от моего присутствия детьми и со старшей дочерью Юнсонов, которая приставлена приглядывать за ними. Я говорю ей, что она замечательная девушка и ее мама замечательная женщина.

– Я чрезвычайно благодарна вам: вам и вашей маме, всей вашей семье – вы столько делаете для нас. Вы совершенно не обязаны. Вы

удивительные, исключительные люди. Передайте вашим родителям, что я чрезвычайно признательна им. Я не знаю, что бы я делала без вас. Я никогда, до последних дней своей жизни не забуду вашего внимания, вашей доброты... – Я обнимаю ее за плечи и не могу сдержать жгучих слез.

– Что вы... – возражает она растерянно, даже испуганно. – Люди должны помогать друг другу...

– Да, детка, конечно, но они не так уж часто это делают. А вы... вы благороднейшие люди. Настоящие друзья... Мартин сразу это понял. Не знаю, как я сумею отблагодарить вас...

– Не плачьте, – утешает она. – Мама уверена, что дядя Мартин выздоровеет.

– Да, да, конечно! Конечно, он выздоровеет...

Она уходит, и я остаюсь одна со своими притихшими и понурыми мальчиками. Им тоже нелегко. Хотя они еще не знают, каково это – выбирать между безумием и погружением в бурые воды залива. Холодные и мутные декабрьские воды...

Велик соблазн проглотить одну маленькую беленькую таблеточку. Забыться. Хотя бы на время. Но опасно. Воля расслабляется от этих подлых снадобий, можно окончательно утратить всякий контроль над собой.

Я забираюсь в постель, накрываюсь с головой одеялом – все: не знать, не думать, не видеть, не слышать! – и, как ни странно, довольно быстро засыпаю. Сначала меня еще мучают какие-то кошмары: глухая ночь, беспросветный мрак, осенний хлад, Невы тревожное волнение... Наводнение... Вот оно что – разбушевавшаяся стихия. Нева бурлит, выходит из берегов, свирепеет, вздувается, выплескивается на набережную, раскатывается по улицам. Какой-то парень, оступившись, падает на мостовую, барахтается в сталкивающихся потоках, машет руками и не может подняться. Пьяный, что ли? А может, это и не Нева вовсе? Какая-нибудь совсем другая река в совсем другом месте... Где-нибудь в Китае... Волны отшвыривают беднягу то к одному, то к другому тротуару, а он никак не находит, за что ухватиться. Нужно спуститься, помочь ему. Я бегу по лестнице, по каким-то переходам, но потом забываю, совершенно забываю о цели своего движения. “Но все-таки вода, – нашептывает мне кто-то на ухо, – вода – это хорошо... Доброе предзнаменование...”

Под утро все терзания и тревоги покидают меня, и я совершенно успокаиваюсь. И даже вижу удивительный и прекрасный сон: будто мы все, сотрудники нашего иерусалимского издательства и еще какие-то университетские работники с гуманитарных факультетов, заседаем на пушкинском семинаре в Беэр-Шеве. Вернее, уже закончили и теперь

усаживаемся в автобус, чтобы ехать домой. Кто-то вдруг спохватывается: “Куда же это мы? Мы же едем в сторону Эйлата!” И действительно, за окном тянется каменистая впадина, широкая сухая долина, а над ней горы изумительной красоты – четкие зубчатые скалы, но не голые, как им положено быть в этих местах, а сплошь покрытые пышной свежей травой и цветами. То есть не сплошь, неверно – отдельными, но многочисленными ярко-зелеными коврами всевозможной формы. Драгоценными искусно выложенными малахитовыми панно.

Уточнив маршрут, шофер разворачивается, и мы катим теперь в сторону Иерусалима. Шоссе тянется вдоль узкого берега длинного, недвижимого, заросшего камышами водоема. Да нет, какие камыши? Это не камыши, это египетский папирус. Крупные птицы плавают в воде, наверно страусы, но может – и не страусы. Вообще-то, припоминаю я, в Негеве живут страусы, но страусы не летают и не плавают, вероятно, это какие-нибудь особо крупные цапли. Умные маленькие головки на высоких серых шеях торчат из воды и поглядывают на окна автобуса, но без особенного интереса и, главное, без всякого страха. Мне делается так хорошо, так радостно оттого, что водитель ошибся направлением и в результате мы увидели эти прекрасные горы и этих гордых птиц.

Встаю я не просто здоровая, но почти счастливая. Ничего – ни нахальных голосов, ни навязчивых видений. И солнышко – не израильское, конечно, не великолепное и победоносное, – бледненькое северное декабрьское солнышко, но все-таки проглядывает сквозь тучи.

Не стоило так пугаться. Все не так уж ужасно. Видимо, действительно переутомление. Отдохну немного, и все станет на свои места.

Выясняется, кстати, что сегодня первый день рождественских каникул. Вот и прекрасно! Мы пойдем в город, найдем что-нибудь интересненькое, какие-нибудь игры, аттракционы, пообедаем в кафе – пускай у детей будет праздник...

Под вечер раздается звонок. Эндрю сообщает, что потратил целый день на то, чтобы добиться ответа от института социального страхования, и в конечном счете эти мерзавцы объявили, что Мартину, при его уровне доходов, не полагается оплачиваемой государством сиделки.

– Ты должна сходить в банк и получить официально заверенную справку о том, что квартира заложена и перезаложена, – наставляет он меня. – И о том, что у вас не имеется никаких сбережений. Что вы стоите на краю полнейшей катастрофы.

– А может, проще взять частную сиделку? – подсказываю я. – В

больницу, я слышала, постоянно наведываются женщины, желающие подзаработать. Медсестры их знают и готовы поручиться за их добросовестность.

– Ни в коем случае! – возмущается он. – С какой стати? Отец всю жизнь аккуратнейшим образом платил налоги. И никогда, можно сказать, ничем не пользовался. С какой это стати в трудную минуту мы должны выкладывать свои денежки? А для чего же существуют социальные службы? Иди и требуй!

Я понимаю, что никуда не пойду и ничего не стану требовать, но продолжаю покорно выслушивать его мудрые доводы.

Впрочем, я уже не слышу его.

Пришло письмо от Мины, американской дочки Мартина. Сокрушается и сочувствует, но правда ли, что все так трагично, как сообщает Эндрю? Неужели нет никакой надежды на улучшение? Она со своей стороны готова приехать и забрать отца к себе. Вопрос только, как посмотрят на это американские эмиграционные власти, дадут ли разрешение. Впрочем, надеется на положительный ответ, поскольку она, являясь заведующей домом престарелых, способна обеспечить ему весь надлежащий уход и лечение.

Я тотчас, не откладывая, поблагодарила свою падчерицу за внимание и просила не беспокоиться. Прости меня, Мина, ангел мой, я ценю твою заботу, но мы и тут, слава богу, способны обеспечить надлежащий уход и лечение. Если же ты будешь столь добра и любезна, что вышлешь денег на ночную сиделку, то мы не откажемся. Наше финансовое положение оставляет желать лучшего. Что касается надежды на улучшение, то надежда, разумеется, сохраняется, и врачи вовсе не считают, что положение безнадежно. Скорее напротив. Так что не стоит отчаиваться. И вообще, как известно, надежда умирает последней.

Надписав адрес и запечатав конверт, я собиралась уже выйти на улицу, чтобы отнести письмо на почту, в двух кварталах от нашего дома, но потом вспомнила, что почтовый ящик имеется и при въезде в больницу.

Но не успела я подрулить к элегантным ажурным воротам прошлого века и выбраться из машины, как меня окликнула Эвелина.

– Это ты? – изумилась она вполне невинно и дружелюбно. – Что ты тут делаешь?

От бурного выражения радостных чувств и пылких объятий, однако, воздержалась.

– Как, ты не знаешь? – усмехнулась я. – Вы же все знаете.

– Ах, Нинка, Нинка!.. – укоризненно покачала она головой. – Ну что ты за колючка такая? – и прибавила прямо-таки сердобольно: – Заболел, что ли, кто?

– Извини, я спешу, – произнесла я мрачно, заранее огибая ее, чтобы не вздумала приблизиться.

Во внешности ее произошли некоторые изменения. Как будто слегка раздалась, пополнела. Но, может, это только кажется из-за пушистой приталенной шубки. Волосы! – поняла я. Из-под шерстяной коричневой

шапочки выбивались крупные рыжие кудри. Для чего бы это прелестной блондинке краситься в рыжий цвет? Резонно предположить как раз обратное – что рыжий и есть ее натуральный цвет, а в блондинку перекрасилась тогда исключительно ради встречи со мной. Чтобы убедить меня, будто они с моей бывшей соседкой Томкой Ананьевой – одно лицо.

– А, между прочим! – воскликнула она. – Паулина-то твоя нашлась!

Я невольно притормозила.

– А как же! – засмеялась она. – И не где-нибудь, а именно что у вас там, на Святой земле – в монастыре святого Георгия! Поступила послушницей. Я так и предполагала – что-нибудь в этом роде.

– Этого не может быть, – заметила я. – Святого Георгия – это мужской монастырь.

– Да?.. – протянула она без особого смущения. – Ну, может, не Георгия, Георгины какой-нибудь...

Я не стала слушать дальше и направилась к почтовому ящику. А когда вернулась к машине, никакой Эвелины – ни льняной, ни рыжей – уже не было.

Зато в палате меня ожидала встреча с Паулиной. Нет, она появилась не сразу и все время оставалась слегка прозрачной, но очень правдоподобно ежилась и дрожала от холода в своем темно-сером, набухшем от дождя пальто. Мокрые, слипшиеся волосы жидкими прядками свисали по сторонам опавшего лица.

И вдруг я замечаю у нее на шее обрывок мокрой грязной веревки. Как у той несчастной собаки, которая, не выдержав холода, голода и побоев, сорвалась с привязи и бежит по пустынному осеннему парку в надежде наткнуться на какую-нибудь заплесневелую корочку.

Горло мне сжимает мучительная спазма, подобная той, которая недавно чуть не погубила Мартина. Я зажмуриваюсь, опускаю голову и стараюсь несколько секунд совсем не дышать, а когда справляюсь с удушьем и снова открываю глаза, вижу перед собой только тоненькое серое облачко, неторопливо расплывающееся по палате.

Монастырь святого Георгия издали походит на множество птичьих гнезд, тесными рядами прилепившихся к скале. Сложенное из песчаника, а может, и выдолбленное в нем, длинное плоское здание висит на большой высоте. Мы поднимаемся в гору по узкой тропинке, вдоль которой тянется арык, переполненный свежей, торопливой, ликующей водой. Вчера над Иерусалимом пролился сердитый и сочный ливень, а сегодня потоки,

обгоняя друг друга, несутся в сторону Иерихона. Кто только не прокладывал и не выбивал эти аккуратные каменные ложа! Турецкий акведук, римский акведук, хасмонеийский акведук, а может, и ханаанейский... И ни один не засорился на протяжении веков и тысячелетий, не порушился, не заглох в песках. Все существуют, действуют, собирают драгоценную влагу. Хасмонеийский акведук ведет в крепость Кипрос. Имеется еще вторая крепость – Дагон. Царь Ирод, великий злодей и великий строитель, не обошел своим вниманием и эти знойные округлые горы – позаботился о реставрации и углублении водосборной системы.

Под нами ущелье – вادي Кельт, по дну которого тоже вьется и переливается звонкая сверкающая вода. Над нами синее певучее небо. Юное февральское солнце ласкает поблескивающие от влаги золотистые склоны и заставляет распускаться первые цветы. Разогретая, распаренная земля дышит пряными запахами. Узкий каменный мостик ведет на ту сторону, к подножью монастыря.

Нас встречает высокий молодой монах и объясняет, что в настоящее время в монастыре святого Георгия проживают одиннадцать братьев, в основном греки, но сам он серб, прибыл из Югославии. Я объясняю ему, что хочу поставить свечку и передать немного денег на помин души моего отца.

– Ваш батюшка был православный? – осторожно интересуется монах.

– При рождении был православным, а потом уже стал коммунистом, – объясняю я.

– О, это не важно, это не страшно! – утешает он. – Мой отец тоже был коммунистом. Он сражался против немцев в партизанском отряде и погиб. – Последние фразы он произносит по-русски.

Я протягиваю ему деньги, он отказывается взять.

– Не нужно, нет, никаких денег, не нужно! – бормочет он. – Я буду молиться за спасение души вашего родителя. Как его имя?

– Сергей, – говорю я.

Он вытаскивает из глубокого кармана своей темной тяжелой одежды скомканный лист бумаги, разглаживает его тонкими пальцами и записывает.

В помещении сумрак, робкое пламя желтеньких свечек не позволяет как следует разглядеть ни лицо монаха, ни старинные фрески на стенах. От пола и от стен тянет зимним холодом, особым южным холодом и вековой сыростью. Я благодарю молодого послушника, мы прощаемся, я не знаю, что можно и следует пожелать монаху. Здоровья? Душевного покоя?

Просветления? Стойкости перед лицом всех искушений?

Как хорошо, думаю я, выходя на свет, под яркие солнечные брызги, под высокие своды Иудейской пустыни. Какая удача, что в Израиле нет советского посольства...

– Не бойся, Мартин, супруг мой возлюбленный, – говорю я, поглаживая его исхудавшую руку, – никуда я тебя не отдам, ни в какую Америку, никогда не откажусь от тебя. Ты даже представить себе не можешь, как ты нужен нам, мне и детям... Что ожидает нас без тебя? Пустота и отчаяние... Ты, может быть, не догадываешься, но ты и есть самый настоящий праведник, чистая, непорочная душа – нет, не из тех прелестных невинных и несмышленных ангелочков, которые направляются на землю лишь затем, чтобы вызвать в зачерствелых сердцах слезы умиления и тягу к возвышенному, и тут же, в неполные три года, вновь призываются в небесные чертоги. Нет, Мартин, ты из тех рабочих лошадок, которые всю свою долгую и не слишком веселую жизнь обречены влачить тяготы ангельского чина, безропотно везти воз, груженный мелким хламом бытия, и со смирением принимать любой удар судьбы. Если бы не было таких, как ты, жизнь сделалась бы невыносимой и невозможной...

В один из дней в палате появляется Натан Эпштейн. Бесшумно всплывает в двери и останавливается возле фру Брандберг. Мне кажется, что я уже видела когда-то эту картину, и по какой-то причине она мне неприятна: два инвалидных кресла впритык друг к другу. Дурацкий фарс, думаю я... При совершенно неподходящих обстоятельствах. Сколько можно терпеть эту старуху, эту окостеневшую мумию? Пора положить этому конец.

Несколько мгновений Эпштейн сидит молча и задумчиво разглядывает Мартина, потом придвигается ко мне поближе, касается кончиками пальцев моей руки и дружески заверяет:

– Не бойтесь, мы не оставим вас.

– Спасибо, – благодарю я, не пытаясь уточнить, кто же это скрывается за собирательным местоимением “мы” и чего, собственно, мне не следует бояться.

Видимо из приличия, он проводит в палате минут пять или даже больше и произносит еще одну фразу:

– Я могу быть чем-нибудь полезен вам?

– Да, – говорю я. – Если не трудно... Вы ведь на машине? Было бы хорошо, если бы вы отвезли фру Брандберг домой. Ей здесь абсолютно

нечего делать.

– Разумеется, – отвечает он, повеселев, и, кажется, даже подмигивает мне, – разумеется, тотчас отвезу.

И прежде чем фру Брандберг успевает очнуться, медбрат уже подталкивает ее вместе с прической к дверям. Я ощущаю вдруг такое облегчение, словно все наши горести отступили, растаяли, рассыпались, словно на улице выглянуло солнышко и следует вот-вот ожидать наступления весны. А там, глядишь, и сирень расцветет...

Под Новый год пришла открытка от Анны-Кристины. Собирается к нам, почитает своим долгом навестить Мартина. Давно бы приехала, да сама совсем расхворалась. Сейчас получше, так что на днях выезжает. Если Эндрю обещает встретить ее на станции, то она захватит несколько баночек маринованных грибочков, очень уж они в этом году удались. Такие крепенькие и ровненькие – один в один.

Хорошо, хорошо, что выезжает. Я рада. Это облегчит ситуацию. Глядишь, и с Мартином посидит, и с детьми поможет. Мальчики после нашей летней поездки нет-нет да и вспоминают тетку. Наверно, поладят с ней – почему бы и нет? Родной, понятный, душевный человек.

А я отдохну немного. Хоть немного отдохну... Может, даже отважусь проглотить заветную таблеточку. Позволю себе такую вольность – погружусь на сутки в блаженное беспмятство, усну без всяких снов и кошмаров. Забуду, что было допрежь сегодня. Чего так уж бояться? Необходимо ведь хоть один раз выспаться по-настоящему. Какой от этого может быть вред?

Материальные предметы, по мере нашего удаления от них в пространстве и во времени, склонны увеличиваться в размерах. Вот тот же самый, с детства знакомый коридор, но как растянулся за время моего отсутствия – километры, километры! Завален, как всегда, всякой рухлядью, по-прежнему ершится остатками ободранного в войну паркета, но бесконечен и безграничен... Горы почерневших керосинок, детских ванночек, помятых корыт, дырявых ведер, безногих табуреток, разошедшихся раскладушек, драных одеял, из которых торчат клоки свалявшейся и пожелтелой ваты, и многого, многого другого, не менее мерзкого и удушливого. И электричество экономят по-прежнему: все та же одна-единственная тусклая и засиженная мухами лампочка Ильича свисает на закопченном шнуре над разбухшим до вселенских масштабов развалом коммунального хлама. Хилое блокадное дитя, хватаясь иссохшей ручонкой

за попадающиеся навстречу предметы, пробирается из комнаты в кухню. Привычный ежедневный маршрут – в облаке керосинного чада, вдоль липких от грязи и сырости стен. Умильная картина!

Мальчик, замурзанный и посинелый от холода. С запиской в ручонке – подайте грошик. Копеечку какую-нибудь, выигрышный билетик. Нельзя, миленький, невозможно! Ведь если подать тебе этот грошик, так и вся фабула улетучится. Не останется ничего... За что же тогда жалеть бедного Макара? Нет, заботливый и участливый автор иначе решил нашу участь, давно все обдумал и последнюю черту подвел окончательно: если и отпустит единоразово на счастливую прогулку на острова, то лишь затем, чтобы после яснее указать на отставшую подошву и бедную матушку... Нет, нипочем не допустит никакого облегчения – проследит, позаботится, как вручить тебе насморк и желтый дом...

Дитя явилось, чтоб вступить в права наследства. Надеюсь избежать, позабыть и отречься, но не посмело. Некий голос предостерег: не вздумай отречься. Если и ты отречешься, то что же от всех нас останется, кроме капли расплавленного олова?..

Только с кем же тут обсудить договор, вступить в переговоры? Ни единой живой души... Неужели и вправду городские власти затеяли капитальный ремонт? Тогда почему же не потрудились выкинуть весь этот мусор? Ведь нужно же и паркет привести наконец в порядок...

Мама сидит на кровати, отец широкими твердыми шагами меряет пространство от двери до стола и обратно – шумно вздыхает, словно собирается приступить к какому-то важному разговору, да все не решается. В руке пожелтевший, мелко исписанный листок. Останавливается наконец посреди комнаты, кидает листок на стол и прилепывает ладонью.

– Откуда это у нас? Кто это мог оставить?

– Что, Сереженька? – любопытствует мама.

– Эту контру!

– Покажи-ка, – просит мама и, не выдержав, сама поднимается и заглядывает в листок. – А, ну ты бы сразу спросил! Я думаю, это Гриша Немировский. Помнишь его? Работал журналистом в нашей областной газете. Ну конечно, это его почерк. Я уверена. Такой был ужасный выдумщик!

Темно-коричневое трикотажное платье замечательно идет к ее пышным рыжеватым волосам. Она бодрая, молодая, подтянутая, уверенная в себе. А отец... Отец, в общем-то, такой, как обычно: невеселый и молчаливый.

– Наверно, вложил в мои конспекты, – размышляет мама. – Чтобы я после дома нашла и прочитала. Вот чудак! Он, между прочим, перед войной был весьма известен. Сережа, неужели ты не помнишь? Ты должен помнить. Поэт и журналист – Григорий Немировский! Его дедушка действительно был из Немирова.

– При чем тут дедушка! – злится отец.

– Ах, мой дорогой! – кокетничает мама и лукаво прищуривается. – Ты потрясающе наивен. Абсолютнейший младенец! Не все же девичьи секреты открываются мужьям! – Но вдруг умолкает и задумывается. – Ты знаешь, он ведь погиб на фронте, не то в сорок третьем, не то в сорок четвертом. Так что все это уже не имеет никакого значения...

– Ну нет! – говорит отец. – Тут-то ты определенно ошибаешься. Именно теперь это все приобретает особенное значение.

Я подхожу к окну и выглядываю наружу. Улица – весенняя улица, тихая и влажная, ни людей, ни машин. Не проведенная по линейке, как большинство ленинградских проспектов, а изящно, томно изогнувшаяся вдоль набережной. Кроны деревьев почти касаются окна, клейкий запах только что лопнувших почек... Я вдыхаю этот запах, цепенею, задыхаюсь от него, падаю грудью на подоконник и заливаюсь слезами.

А когда отрываюсь наконец от окна, не вижу уже ни буфета, ни маминой кровати, вообще ничего... Комната пуста и еле освещена уличным фонарем. В углу, за отцовским столом, разместились трое. Темные капюшоны надвинуты на глаза. Напрасно, напрасно они пытаются спрятаться, я все равно узнала их. Кто же их не знает? Три величавые фигуры, три мужа, вершащих грозный беспристрастный суд.

– Вам предоставляется право последнего желания, – возвещает сидящий в середине.

Желания?..

– Ну что же вы? Пожелайте же чего-нибудь, – настаивает елейным голоском его сосед справа.

– Не стесняйтесь! – подбадривает третий. – Ведь чего-нибудь вы, надо думать, желаете? Все чего-нибудь желают...

– Да, – отвечаю я. – Желаю. Верните мне эту комнату.

– Эту комнату? Только и всего? – доносится едкий смешок из-под левого капюшона. – А больше ничего?

– Больше? – удивляюсь я, слегка отступаю назад и вновь обвожу пустую комнату долгим недоуменным взглядом. – Нет, больше ничего... Да и этого, собственно... – То ли из-за их присутствия, то ли по какой-то иной причине комната вдруг становится совершенно чужой и ненужной.

Совершенно бессмысленной и неважной. – Нет, больше ничего. Да и этого... не надо. Вот только, если уж так получилось... Если вы все равно... Если уж, как говорится, довелось повстречаться... Меня это давно смущает – насчет мундира, помните, пуговицы?

– Не помню! – отшатывается он. – Не помню никакого мундира и никаких пуговок!

– Ну как же – я это сто раз читала, можно сказать, наизусть выучила. У меня мама больная была, без ног – то есть ноги-то были, да распухли, как ведра, не могла ходить, я около нее сидела, вот тут как раз ее кровать стояла, у этой стены... Она любила, чтобы я читала. Особенно в последний год, когда уже совсем не вставала. Не только ноги, совсем уже вся разбухла. Знаете, отвар из еловых игл... Я рассказывала... Вредное зелье. Кто-то постановил, чтобы пить, дескать, в этих еловых иглах все необходимые человеку витамины. Наверно, даже не врач, чиновник какой-нибудь – чтобы хоть видимость была какой-то помощи. Может, он и не виноват – не особенно виноват. Я его не осуждаю, он, наверно, так рассуждал: все равно им помирать, так пусть хоть надежда у них останется, хоть мнимая, а все же согреет... Не сердитесь, но эта сцена, с мундиром... Такое впечатление, что вы это нарочно утрировали – чтобы пожалостливей вышло. Вот – возьмем уж мы его, Макара Алексеевича, двумя перстами за шкуру и выставим на всеобщее обозрение! Причем именно в тот момент, когда он даже и умыться не успел, когда одна нога в штанине, а другая вовсе снаружи – а ведь нижнего-то белья и не водится!.. Господи, ведь это – как же это и назвать-то прикажете?.. Тут лучше бы не заметить, отвернуться, обойти молчанием. Понятно, сюжет, замысел, защита прав человека. Но ведь и уважение надо иметь к публике. Зачем же так ярко подчеркивать позор и убожество? Можно бы как-то поприличнее, поделикатнее. Если уж такая дружба, и переписка, и милостивый государь, и все эти нежности, то почему бы не подлатать несчастный мундир? Подлатать, и дело с концом. Ну, хоть бы и лоскутики какие-нибудь под локотки подшить – если уж прохудились, светятся локотки. Люба, я думаю, обязательно подшила бы, придумала бы, как скрыть посрамление. А то ведь вся репутация потеряна, весь человек пропал... Уж пуговицы-то, вы меня извините, совсем несложно закрепить – чтоб не болтались на одной ниточке, не обсыпались чуть что. Чтобы не ползать за ними по полу. Это даже и я смогла бы. Ну хорошо, ну, на обед она его пригласила – это трогательно, благородно с ее стороны, но почему бы заодно и пуговицы не пришить? Швея ведь, иголка всегда при ней...

Содержание

[Светлана Шенбрунн Пилюли счастья](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

[8](#)

[9](#)

[10](#)

[11](#)

[12](#)

[13](#)

[14](#)

[15](#)

[16](#)

[17](#)

[18](#)

[19](#)

[20](#)

[21](#)

[22](#)

[23](#)

[24](#)

[25](#)

[26](#)

[27](#)

[28](#)

[29](#)

[30](#)

[31](#)

[32](#)